

Niklas Luhmann

Einführung in die Systemtheorie

Dirk Baecker (Hrsg.)

Carl-Auer-Systeme Verlag

Heidelberg 2002

НИКЛАС ЛУМАН

**ВВЕДЕНИЕ
В СИСТЕМНУЮ
ТЕОРИЮ**

Под редакцией Дирка Беккера

Пер. с нем. – К. Тимофеевой



ΛΟΓΟΣ

Москва 2007

Перевод с немецкого – К. Тимофеева
Редактор перевода – О. Никифоров
Оформление – А. Ильичев

Издание осуществлено при поддержке
Фонда “Общественное мнение” (ФОМ), г. Москва

Никлас Луман

Введение в системную теорию (Под редакцией Дирка Беккера).
Пер. с нем./ К. Тимофеева. М.: Издательство “Логос”. 2007. – 360 стр.

Никлас Луман (1927-1998) – один из выдающихся социологов прошлого столетия. Его важнейшим достижением является включение социологической теории в контекст современной системной теории, а также разработка теории общества.

Лекционным курсом 1991/92 гг. Н. Луман предлагает живое введение во внутреннюю механику своей “системной теории”, получившей признание как в академических, так и в самых широких кругах в качестве “единственной за последние 30 лет серьезной попытки объяснить общество” (Gnostika).

ISBN 5-8163-0076-8 (978-5-8163-0076-6)

Печатается по изданию:

Niklas Luhmann. Einführung in die Systemtheorie. (Hrsg. v. Dirk Baecker)
© Carl-Auer-Systeme Verlag. Heidelberg 2002

© Издательство “Логос”(Москва), 2007 – перевод, рус.изд., серия.

Содержание:

Предисловие.....	7
I. Социология и системная теория.....	11
1. Структурный функционализм	12
2. Парсонс.....	18
II. Общая системная теория.....	42
1. Теория открытых систем.....	42
2. Система как различие (анализ форм).....	68
3. Оперативная закрытость.....	94
4. Самоорганизация, аутопойесис.....	104
5. Структурная сопряженность.....	122
6. Наблюдение.....	147
7. Повторное вхождение (Reentry).....	173
8. Комплексность.....	174
9. Идея рациональности.....	190
III. Время.....	203
IV. Смысл.....	229
V. Психические и социальные системы.....	256
1. Проблемы «теории действия».....	256
2. Два способа действия аутопойесиса.....	267
VI. Коммуникация как самонаблюдающая операция.....	299
VII. Двойная контингенция, структура, конфликт.....	327
Предметный указатель.....	356

Предисловие

Данная книга основана на транскрипции магнитофонных записей лекций, прочитанных Никласом Луманом в зимнем семестре 1991-1992 гг. в Билефельдском университете в рамках курса «Введение в системную теорию». Луман не писал текстов своих лекций, а составлял лишь краткий тезисный план. В книге мы постарались сохранить, насколько это возможно, устный характер лекций. Устная речь Лумана отличалась ясностью формулировок, однако отдельные предложения пришлось изменить, чтобы они соответствовали правилам письменной речи. Своеобразие устной формы изложения подчеркивает рабочий характер этих лекций, присущий и всем другим лекциям Лумана. Впрочем, у данного курса была основа в виде книги *«Социальные системы: очерк общей теории»* (1984), и Луман мог бы ограничиться ее объяснением. Однако этого не произошло, поскольку, во-первых, за шесть лет, прошедших с момента публикации этой книги, которую Луман называл своим первым «главным произведением», акценты в его теоретической работе сместились, так что задумай он написать эту книгу в 1991 г., она была бы несколько иной. Во-вторых, в своих лекциях он гораздо большее значение придавал вводному характеру изложения. Это значит, что он рассчитывал на слушателей, которые впервые сталкиваются с данным материалом, даже если предполагал, что студенты-социологи, для которых главным образом предназначались его лекции, уже более или менее знакомы с основами социологии.

Луман считал, что в вводных лекциях, по сравнению с печатными изданиями, необходимо больше внимания уделять тому обстоятельству, что теория есть результат конструирования, которое в разные моменты сводится к решениям относительно выбора конкретных понятий. Причем для этих решений нет однозначных критериев, выводимых из предмета или теории, т.е. эмпирических или дедуктивных. Поэтому если в книге он принимал определенное решение, то в лекциях стремился если не предложить другие, альтернативные решения, то, по крайней мере, показать их возможность. Книга *«Социальные системы»* – это его версия общей теории социальных систем, хотя она тоже приглашает читателя менять архитектуру теории и экспе-

риментировать с другими возможностями. В лекциях это приглашение слышится еще отчетливее. В каждой своей формулировке Луман экспериментирует, хотя легко заметить, что эти эксперименты имеют своей целью не столько незначительные изменения в деталях, сколько непротиворечивость построения теории в целом.

Таким образом, смещение акцентов, которое имеет место в этих вводных лекциях по сравнению с изложением материала в книге, обусловлено не только предметом и методом, но и ситуацией. В лекциях «наблюдателю» отводится гораздо более значимая роль. На разработке теории это отразилось в виде постепенного смещения акцента с понятия аутопойесиса Умберто Матураны к исчислению различий в теории Джорджа Спенсера Брауна. И это позволяет нам представить самого Лумана в образе наблюдателя теории, в создании которой он принял непосредственное участие. Он приглашает других наблюдателей – публику – тоже включиться в игру в качестве наблюдателей со своими собственными различиями.

Вместе с тем Луман не был бы социологом, если бы завершил эти операции с открытыми вопросами построения теории пустой игрой с абстракциями. Та конкретная ситуация, в которой происходит работа над теорией: лекционный зал, университет, социологическая наука, контекст западной цивилизации и – в самом широком смысле – экологическая угроза саморазрушения мирового общества – все это оказывало влияние на его размышления так же, как и постоянное стремление различить точки зрения других наблюдателей как альтернативные различия. Каждое понятие должно обладать и эмпирической убедительностью. Луман как социолог настаивает на этом, хотя он и отказался от представления о том, что понятие, будучи образованным, уже в силу того, что оно образовано, обозначает вещь, которая фактически существует. Заблуждению, которое Альфред Норт Уайтхед назвал «ошибкой неуместной конкретности» (*“fallacy of misplaced concreteness”*) и которое заключается в предположении, что из абстрактных понятий можно вывести конкретные факты, Луман не подвержен уже в силу того, что он разделяет мнение Канта и Грегори Бейтсона, согласно которому понятия помогают описывать и сортировать объяснения, но сами не являются готовыми объяснениями. Именно этим

объясняется осторожность Лумана в вопросе введения наблюдателя. Наблюдатель – это не просто новый факт, который необходимо принять во внимание. Это объяснительный принцип, и его включение в науку имеет непредсказуемые последствия, поскольку все другие бесчисленные объяснительные принципы необходимо согласовать сначала с этим новым принципом.

Другая сложность связана с тем, что наблюдатель – это не только некая фигура, возможно, наиболее понятная и близкая именно для социологов. Дело в том, что Хайнц фон Фёрстер, Умберто Матурана, Франсиско Варела и другие вводили наблюдателя на уровне общей системной теории, т.е. он должен был пройти проверку на феноменальном уровне организма, в нейронных системах, в сознании, в искусственных системах и, возможно, даже в физических системах. И еще неизвестно, выдержит ли различие этих феноменальных уровней такую проверку. Исходя из этого, можно себе представить, какая именно проблема начиная с 1960-х гг. вдохновляла, но вместе с тем осложняла и зачастую делала невозможной междисциплинарную дискуссию вокруг концепций кибернетики второго порядка, самоорганизации, аутопойесиса и формы различия.

Я почти уверен, что Луману никогда не пришла бы в голову идея издать транскрипцию какой-то из своих лекций в виде книги. Слишком недоработанным и непроверенным представлялся ему материал, изложенный в лекциях. Но, как мне кажется, он вряд ли возражал бы против их публикации в виде сборника рабочих материалов. Ответственность издателя за книгу – другого рода, чем ответственность автора. Но эта книга выходит, однако, за авторством Лумана. В конце концов, он действительно читал лекции, запись которых здесь представлена. И все же издатель несет ответственность за то, что издает книгу, которую сам Луман не стал бы публиковать. Осознавая эту ответственность, издатель обращает внимание на то, что данная книга, дополняющая аудиозапись лекций, как никакая другая дает представление о живой работе над теорией и позволяет не поддаваться обманчивому ощущению догматичной замкнутости теории. В целом же я исхожу из того, что читатель, желающий узнать больше по каким-то конкретным темам, обратится к другим публикациям Лумана и в первую очередь к его *«Социальным системам»*.

Моя работа над текстом ограничивается приведением в соответствие устных лекций с общепринятыми нормами письменного языка. При желании текст лекций можно читать с одновременным прослушиванием аудиозаписи, но в этом случае можно будет заметить, что некоторые слова я переставил местами, а некоторые вводные слова типа «разумеется», «действительно», «собственно говоря», «вообще-то», «для начала», «первым делом», которые уместны в устной речи, в письменный текст я не включил. Все сноски сделаны мной, но и здесь я, как правило, ограничивался тем, что добавлял выходные данные к названиям изданий, на которые указывал Луман. Предметный указатель ограничивается основными понятиями, так что он может использоваться как дополнение к оглавлению.

Особой благодарности заслуживает аудиовизуальная лаборатория Университета г. Билефельда, обеспечившая запись лекций на магнитофон, а также Кристель Рех-Зимон, которая транскрибировала магнитофонную запись.

Эта книга является свидетельством той предельной концентрации, личной скромности и ровной спокойной веселости, с которой Луман читал свои лекции.

Дирк Беккер, июль 2002 г.

I. Социология и системная теория

Первая лекция

Дамы и господа! Курс лекций *«Введение в системную теорию»*, который мы начинаем сегодня, будет прочитан на социологическом факультете и адресован он в первую очередь социологам. Впрочем, вопрос, который мы должны иметь в виду уже в самом начале, заключается в том, существует ли вообще такая вещь, как системная теория при нынешнем состоянии исследований в социологии. Социология находится в глубоком теоретическом кризисе. Я полагаю, это утверждение не нуждается в каких-то особых оговорках. Каждый, кто посещает лекции или семинары по теоретическим вопросам или читает соответствующую литературу, видит в основном обращение к классикам, т.е. дискуссии о Максе Вебере, Карле Марксе, Георге Зиммеле или Эмиле Дюркгейме. Современные социологи вполне критичны по отношению к классическим основам их науки, однако среди них господствует представление, что контуры их дисциплины раз и навсегда определены этими классическими истоками. Существует несколько теорий *среднего уровня* (middle-range Theorien), которые выходят за их пределы и возникли на основе эмпирических исследований, но по сути нет ни одного теоретического описания проблем, которые стоят перед современным обществом сегодня. Это касается, например, вопросов экологии. Это касается проблем отдельного человека, индивида. Это касается всего того, что нуждается в исправлении, а также многого другого.

Собственно говоря, сегодня увлекательные интеллектуальные разработки проводятся вне социологической дисциплины. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, и я из него исхожу. Поэтому вначале, в короткой первой части, я попытаюсь показать, как раньше социологи работали с системно-теоретическими направлениями и как, в какой форме они при этом наталкивались на ограничения, неразрешимые тупиковые вопросы, принципиальную критику их теории и потом отказывались от своих начинаний.

В следующей, большей по объему части я постараюсь проанализировать междисциплинарные или трансдисциплинарные теоретические усилия, чтобы выяснить и показать, что интерес-

ного для социологии они могли бы предложить. В своих завершающих размышлениях я попытаюсь сделать выводы из этих теоретических рассуждений – это могут быть математические, психологические, биологические, эпистемологические, кибернетические и тому подобные источники – для построения социологической теории.

Я завершу курс сравнительно абстрактными теоретическими концепциями, которые в обыденной социологической практике должны быть приспособлены к формату конкретных исследований. Это касается таких понятий, как время, смысл, действие, система, двойная контингенция, структура и т.д.

1. Структурный функционализм

Для начала попытаемся обрисовать возникшее в 1940-1950-е гг. в социологии (причем в первую очередь и даже преимущественно в американской социологии) направление, получившее название «системная теория». При этом следует обратить внимание на две отдельные области. Первая может быть озаглавлена как «структурный функционализм» или «Bestandsfunktionalismus», а вторую составляют теоретические разработки Талкотта Парсонса. В конце 1960-х гг. обе эти области оказались под ударом массивной идеологической критики, направленной на системно-теоретический подход. Уже эта критика имела под собой скорее идеологическое, чем предметно-теоретическое обоснование, но этого хватило, чтобы в той или иной степени остановить дальнейшую работу над социологической системной теорией.

Если сегодня вы приедете в Соединенные Штаты и в беседе с американскими социологами признаетесь, что вы сторонник системно-теоретического подхода, вы, вероятно, услышите удивленные комментарии, как если бы вы отстали от развития социологической дисциплины как минимум лет на двадцать. Я же, напротив, считаю, что именно те социологи, для которых системная теория уже отработанный материал, не восприимчивы к изменениям, произошедшим в междисциплинарном поле за последнее время.

Конечно, здесь определенную роль играют междисциплинарные барьеры, но это отнюдь не значит, что их нельзя преодолеть. Без сомнения, если смотреть с позиций сегодняшнего времени, подходы, разработанные в 1940-1950-х гг., имеют существенные недостатки. Но для начала я хотел бы кратко рассказать о том, какое значение тогда вкладывали в понятия «ориентация на сохранение состояния», «функционализм сохранения состояния» или «структурный функционализм».

Все началось с этнологических, социально-антропологических исследований, которые имели дело с конкретными племенами. Будучи так или иначе изолированными, они представлялись обозримым, имеющим границы объектом исследования и вместе с тем казались доступными для исследования и познания в своем историческом своеобразии, со своими определенными структурами, в конкретном объеме и величине. Совершенно очевидно, что эти исследования не вели напрямую к общей социологической теории, т.е. к постановке общего вопроса о том, как вообще возможен социальный порядок или чем социальная система, социальный порядок отличается, к примеру, от психических или биологических явлений.

Парсонс в своей книге *«Социальная система»* (The Social System, 1951 г.) дал убедительное объяснение этого налагаемого ограничения одним предзаданным объектом. Дело в том, что социолог, чтобы он вообще начал исследование, должен иметь перед глазами четко очерченный, ограниченный объект. Социология на данном этапе развития просто не в состоянии представить что-то вроде ньютоновской модели переменных, согласно которой отдельные переменные уже даны, но их комбинации пока не объяснены. Дело в том, что в социологии нет эквивалентов для законов природы, даже, как полагает Парсонс, в чисто статистическом смысле. Поэтому нужна была вторая наилучшая теория: теория, которая исходила бы из определенных структур системы и пыталась бы выяснить, какие функции служат поддержанию этого структурного образца. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. это сопровождалось постановкой следующих вопросов: Каковы условия сохранения состояния социальной системы? Каковы в особенности условия сохранения общества? Какие минимальные требования в отношении поддержания стабильного состояния и решения проблем долж-

ны быть выполнены, чтобы общество вообще могло существовать? А оно, разумеется, должно существовать, если мы хотим его изучать. Впрочем, тогда анализ этих вопросов завершался в лучшем случае составлением списков или каталогов таких условий сохранения состояния, которым исследователи не могли дать теоретического обоснования, а включали их *ad hoc*, хотя, разумеется, смутно осознавая, что в теорию общества должна войти также сфера экономики, политики, семьи, религии и фундаментальных ценностей.

Помимо этого недостатка, который до сих пор кажется мне неустранимым, была еще одна проблема, которая заключалась в том, что работа с понятиями была ограничена структурно-функциональным подходом. Не имело особого смысла задаваться вопросом о функции структуры или раскрывать такие понятия, как сохранение состояния, условия сохранения состояния, переменные и объяснять в целом весь методологический аппарат. Это означает, что понятийная разработка теории была ограничена допущением изначальной заданности конкретного структурированного объекта.

И, наконец, было выдвинуто еще одно возражение относительно того, что нет четких критериев сохранения состояния. С самого начала было ясно, что подобная теория должна включать в себя две вещи: во-первых, отклонения от заданных норм или структурных образцов. Весь спектр девиантного, отклоняющегося поведения, преступность, дисфункции – все это должно содержаться в теории и не может быть оставлено без внимания как нечто внешнее по отношению к социальной системе. С другой стороны, был еще более важный – исторический – вопрос, а именно, на протяжении какого периода времени, собственно говоря, поддерживается одно и то же состояние и структурные изменения какого масштаба подтолкнул социолога или наблюдателя, или просто участника социальной системы к тому, чтобы признать возникновение другой социальной системы, т.е. признать смену идентичности.

Эту проблему можно уяснить себе на примере революции как понятия или явления. Было ли европейское общество до французской революции другим, нежели после нее? Или: будет ли общество после революции, которая, как надеются марксисты, должна когда-нибудь произойти, другим, нежели оно было

до нее? Приведет ли ликвидация капиталистического порядка производственных отношений к возникновению другого общества, как это обычно утверждается? Но изменения какого масштаба должны произойти, чтобы наблюдатели могли в один голос сказать: старое общество было таким-то и таким-то, а в новом обществе такие-то и такие-то структуры совсем другие?

Это проблема критериев сохранения состояния обсуждалась также применительно к биологии, и там ученые увидели, что проблема сохранения или несохранения состояния в отношении живого организма четко определена возможностью смерти. Пока организм живет, его состояние сохраняется. Живое воспроизводит себя своими собственными средствами, но смерть кладет конец этой системе, и это проводит ясную границу идентичности с очень небольшими пограничными зонами, в отношении которых нельзя с уверенностью сказать, живо ли еще живое существо или оно уже умерло.

В социологии таких четких критериев нет. Это может означать, что вопрос об идентичности системы должен ставиться и получать ответ внутри самой системы, а не со стороны внешнего наблюдателя. Система сама должна прийти к решению о том, изменились ли ее структуры настолько, что система уже не та, что была раньше.

Эти уточнения помогают нам понять, почему в 1950-х и в начале 1960-х гг. различие между традиционными и современными обществами играло такую большую роль. Тогда полагали, что современное общество уже не такое, каким предстает в наших описаниях традиционное общество. Однако одновременно с этим ученые снова стали размышлять о модернизации. Они размышляли о том, какие меры необходимо принять для того, чтобы традиционные общества, еще оставшиеся на земном шаре, превратить в общества современные. И это снова внесло неясность в вопрос о том, где, собственно, проходит граница идентичности системы. Функционализм сохранения состояния или структурный функционализм неизбежно подводит нас к этому вопросу. Если на него можно ответить, только прибегнув к самоописанию, к внутренней тематизации идентичности системы в системе, то возникают проблемы самореференции, которые в классических концепциях не рассматривались и не осознавались на теоретическом уровне. Все это были, если можно

так выразиться, слабые стороны социологической системной теории первого типа. Они широко обсуждались, и в научной литературе 1960-х гг. можно найти наглядные свидетельства этих дискуссий. Но этого было явно недостаточно, чтобы в принципе отказаться от системной теории как от теоретического подхода. Ведь в конечном итоге она существенным и плодотворным образом расширила познания, причем именно в области девиаций и дисфункций, в вопросах структурных противоречий, ценностных конфликтов и обращения с ними внутри социальной системы, в вопросе о том, как системы справляются со структурными трансформациями, в вопросах изменения и пределов изменения структур внутри общественных порядков.

Чтобы остаться в нормальном русле научного прогресса, эту теорию со всеми ее исследовательскими достижениями нельзя было просто сдать в архив, не найдя ей адекватной замены, т.е. необходимо было перевести все то, что было исследовано в рамках ее концепций, в новые теоретические рамки. Однако этого не произошло, и поэтому у меня сложилось впечатление, что определенные вещи мы потеряли, т.е. отказавшись от структурного функционализма, от его принципа ограничивать исследования условиями сохранения состояния, мы просто утратили некоторые знания. При этом мы по-прежнему не в состоянии встроить знания, приобретенные структурным функционализмом, в другой теоретический комплекс. Поэтому истории социологии приходится заниматься не только классиками, которые, если можно так сказать, основали эту дисциплину, но также относительно успешным (в том числе с междисциплинарной точки зрения) исследовательским подходом, который развивался в 1940-1950-е гг. прежде всего в Америке.

Причины, почему от него отказались, относятся скорее к сфере идеологии, чем к технике построения теории. Слабые стороны, как я уже говорил, были известны, но не в этом была причина отказа от теории. Отвержение этой теории основывалось в первую очередь на предположении, что, исходя из этих теоретических принципов, нельзя прийти к достаточно радикальной критике современного общества. Нормализация социальной ситуации после Второй мировой войны сначала обеспечила некоторые положительные моменты. Соответственно, появилась вера в возможность улучшить ситуацию в рамках общей струк-

туры современного общества. Однако в 1960-1970-е гг. становилось все более очевидным, что этого можно достичь только за счет больших затрат или при сохранении пограничных зон принципиальной невозможности. В отношении политики развития и модернизации развивающихся стран стало ясно, что задуманные проекты терпят неудачу, бедность и обнищание становились все более заметными, и все чаще и настойчивее возникал вопрос, не действуют ли в структуре современного общества такие факторы (тогда говорили о «капитализме»), которые не дают достичь справедливого режима распределения и прогресса, который охватывал бы население всей Земли. Конечно, и в самих индустриальных обществах легко можно было найти подобные недостатки, ограничивающие положительные моменты. Здесь тоже сохранялись классовые явления, и равномерное распределение благосостояния было невозможно. Здесь тоже, несмотря на то, что установилась демократия, она превратилась в партийную демократию, неспособную трансформировать в реальную политику все импульсы, поступающие в систему в качестве политических. Здесь тоже, особенно с социологической точки зрения, было очевидно, что при всей открытости политической или другой прикладной системы для исследования все же практически невозможно перенести социологическое и особенно критическое знание на практику.

Оглядываясь назад, мы можем отметить множество понятных причин, почему возникла потребность в гораздо более радикальной, критической теории, и это привлекало все большее внимание и вызывало интерес у интеллектуалов. В связи с этим подробное изучение деталей, заслуг и проблем, достоинств и недостатков системно-теоретического подхода к социальным вопросам стало казаться излишним. Система понималась – впрочем, не безосновательно – как что-то техническое, как инструмент планирования, как инструмент моделирования социальных институтов, как инструмент в помощь плановикам, которые, впрочем, не думали ни о чем другом, кроме как повторить, улучшить и рационализировать существующие отношения.

В общем, подводя итоги и завершая эту тему, отметим, что были разные причины того, почему прекратилось дальнейшее развитие функционализма сохранения состояния или струк-

турно-функциональной теории. С одной стороны, это были внутренние присущие ей недостатки, но с другой стороны, и в этом кроется основная причина, была идеологическая критика, потребность в критической теории общества, адекватной современным обстоятельствам – ответом же на эту потребность стало довольно неуклюжее обращение к марксистскому идейному наследию.

2. Парсонс

Сегодня многие полагают, что теорию Парсонса легко можно отнести к структурному функционализму такого рода. В 1960-е гг. я и сам так думал. Однако в действительности Парсонс никогда не принимал эту версию. Позднее, особенно в 1960-е гг., он совершенно открыто отошел от структурного функционализма, проведя разделительную черту между ним и своими собственными теоретическими разработками. Впрочем, и это верно лишь отчасти. В конце 1940-х гг. и в тот период творчества, который завершился книгой *«Социальная система»* (1951), Парсонс способствовал тому, чтобы структурный функционализм получил теоретическое оправдание, хотя сам всегда называл его «второй наилучшей теорией». В Гарварде Парсонс был инициатором исследований, посвященных условиям сохранения социальных систем, и некоторые результаты этих исследований вошли в его собственные работы. В своих рассуждениях в рамках структурного функционализма Парсонс старался включить в теорию проблемы девиантности, границ социального контроля, ценностных противоречий и так далее. Таким образом, он внес очень существенный вклад в развитие этого структурного функционализма. Тем не менее, мне кажется неправильным безоговорочно причислять Парсонса к этому направлению системной теории, так как и на начальном этапе, отмеченном работой *«Структура социального действия»* (The Structure of Social Action, 1937), и в 1950-е гг., в разрез доминирующим тенденциям теоретического развития, Парсонс разрабатывал независимую и своеобразную версию системной теории, которую я хотел бы сейчас кратко изложить.

Все работы Парсонса можно рассматривать как некий бесконечный комментарий к одному-единственному предложению, и это предложение звучит так: Action is system, т.е. действие есть система. Я не знаю, существует ли это предложение в печатном виде в какой-либо из работ Парсонса. Мне оно известно в виде устного высказывания, но мне кажется и всегда казалось, что в нем содержится квинтэссенция послания Парсонса.¹ Теоретиков часто просят сформулировать в одном предложении квинтэссенцию своей теории. Если бы этот вопрос был обращен к Парсонсу, то он, если я его правильно понимаю, должен был бы ответить: «Action is system». Этот тезис заслуживает внимания, поскольку после Парсонса теория действия снова вошла в моду, когда социологи обратились к идейному наследию Макса Вебера и некоторых теоретиков *рационального выбора* и на этих позициях разработали программу, контрастирующую с системной теорией, если не противоположную ей, как если бы теория действия и системная теория представляли собой различные, как принято говорить, «подходы», несовместимые друг с другом. Считалось, что теория действия в большей мере ориентирована на субъектов, на индивидов и скорее способна воспринять и включить в социологию психические, а также физические состояния. Системная теория, напротив, более абстрактна и, возможно, больше подходит для отображения макроструктур. В любом случае, отдельные представители теории действия полагают, что действие и система – это две несовместимые парадигмы. Всех, кто так считает, следовало бы заставить прочитать Парсонса. Может быть, это еще не окончательное решение проблемы. Конечно, можно считать теорию Парсонса неприемлемой саму по себе и, отвергнув ее, вернуться, скажем, к основным положениям Макса Вебера или к другим подобным основам. И все-таки именно Парсонс со всей ясностью понял

¹ В своей статье «Как возможен социальный порядок?» (Luhmann Niklas. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. S. 195-285; см. S. 260) Луман цитирует предложение «Action is system», правда, без кавычек, по работе Парсонса «Значение идентичности в общей теории действия» (Parsons Talcott. The Position of Identity in the General Theory of Action // Gordon Chad, Gergen Kenneth J. (Eds.) The Self in Social Interaction. Bd. I. New York: Wiley 1968. P. 11-23.

— и попытался создать теорию, которая учитывала бы это, — что действие нельзя отделить от системы или, другими словами, что действие возможно только как система.

Исходной точкой для этого парсонсовского тезиса послужила ревизия социологической теории, т.е. попытка понять, что общего есть у таких разных классиков, как Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Альфред Маршалл и Вильфредо Парето. Результат заключался в том, что общим являются взаимосвязи между системными образованиями, надындивидуальными порядками, с одной стороны, и действиями как базальными операциями, с другой стороны. Грубо говоря, те компоненты теории, которые относятся к действию, Парсонс берет из работ Макса Вебера, а компоненты, относящиеся к системе, он заимствует у Дюркгейма. Однако вместе с тем он подчеркивает, что Вебер был вынужден включить в свою систему также системные компоненты, а Дюркгейм, в свою очередь, не мог избежать вопроса о том, из какого же материала образованы общества. Ведутся бесконечные споры о том, является ли эта интерпретация классиков чересчур произвольной или она действительно адекватно отражает то, что думали данные авторы. Об этом можно спорить, но это не так уж интересно и имеет значение разве что для истории социологии. Нас интересует, как, при помощи какого понятийного аппарата, каких понятийных и методических усилий Парсонсу удалось создать впечатление (будем осторожны в формулировках), что речь идет об одной и той же теории.

Парсонс исходит из того, что действие, отдельное действие, *unit act*, является лишь эмерджентным свойством реальности — *emergent property*. Другими словами, есть некие компоненты, которые должны соединиться, чтобы отдельные действия стали возможны. Задача социолога-аналитика тогда заключается в том, чтобы идентифицировать эти компоненты и исходя из этого разработать аналитическую теорию действия. Парсонс говорит об «аналитическом реализме», имея в виду, что «реализм» здесь существует постольку, поскольку речь идет об эмерджентности фактического действия. Речь идет не о понятийной конструкции, а о теории, которая учитывает условия возможности действия и может применяться во всех случаях, в которых действие происходит как действие. «Аналитической» эта теория является постольку, поскольку идентифицирует компоненты осущест-

вления отдельного действия, которые, в свою очередь, сами не являются действиями. Она в некотором смысле разлагает феномен действия на отдельные элементы, которые не могут быть в качестве некоего минидействия наряду с прочими включены в цепочку действий или в систему, состоящую из действий.

Понятия, с помощью которых проводится этот анализ, несколько варьируются. Сначала, вслед за Вебером, исследователь использует различие цели и средства: для первичного понимания действия, еще до структурного или какого-либо другого анализа, необходимо выделить цель и средство. На что действующий направляет свое действие (1), чего он хочет этим достичь (2) — вот эти два компонента. Но это подводит к следующему вопросу: какая схема норм лежит в основе выбора целей и допустимых средств? Этот вопрос Парсонсу диктует Дюркгейм, а именно его положение о том, что общество — это прежде всего нравственное единство, т.е. оно возможно только тогда, когда достигнут достаточный уровень нравственного консенсуса. Это, в свою очередь, означает, что и выбор целей, и ограничение средств не предоставлены самому действующему лицу, а существуют социальные стандарты, например, известные недоговорные основы договоров. Общество, еще до того, как в нем кто-то сможет действовать, всегда уже интегрировано — либо нравственно, либо посредством ценностей, либо на основе нормативных символов. Оно возможно только в виде системы. Но крайней мере, из этого исходил Парсонс. Другими словами, речь идет не только об оптимизации отношения цели и средств, а об условиях возможности и степенях свободы, которая предоставляется индивиду или другим единицам социального порядка при выборе целей и средств.

Вопрос, который таким образом проникает в теорию, с позиций социологии знания нужно или можно рассматривать в контексте кризиса мировой экономики, на который Парсонс реагирует в своей теории. Парсонс всегда недвусмысленно выступал против чисто утилитаристского обоснования социологии. Его интересовал вопрос, с помощью каких ценностей общество ограничивает индивидуальную свободу выбора целей и средств.

Этот вопрос влечет за собой еще одну проблему, а именно, какое место занимает в этом контексте теории действия, собственно говоря, сам действующий, «actor». Если исходить из

понятия действия, то следует полагать, что действующий – это тот, кто действует; без действующего действие не состоится. Действие – это в определенном смысле выражение, проявление воли действующего, и в этом значении оно субсидиарно. Однако у Парсонса все наоборот. Парсонс считает, что действие происходит тогда, когда выполнены необходимые условия, т.е. когда можно различить цели и средства, когда есть коллективные ценностные стандарты и когда имеется «актор» для того, чтобы осуществить действие. Действующий – это лишь один аспект в совершении действия. Его присутствие как бы акцидентально. Кто-то другой тоже мог бы осуществить это действие, но чтобы оно вообще состоялось, в обществе должна быть некая готовность к действию, какая-то конкретизация потенциала действия. Таким образом, не действие подчинено действующему, а действующий – действию. Вот кратко исходный тезис книги «Структура социального действия» (1937 г.).

Впоследствии, в 1940-е и в начале 1950-х гг., Парсонс как социолог обратился к теории социальных систем и именно на этой почве сблизился со структурным функционализмом. Последующее освобождение его теории от этой близости происходило очень медленно, постепенно и, как мне кажется, в связи с возвратом к общему положению о том, что действие – это система. Полученные результаты были представлены в знаменитых и пресловутых перекрестных таблицах. Парсонс полагает, что есть четыре компонента, взаимодействие которых и обеспечивает совершение действия. Эти четыре компонента он, в соответствии со своей техникой построения теории, конструирует посредством перекрестных классификаций, т.е. сопоставляя различные переменные попарно. В одном ряду переменных – на схеме это ось абсцисс – проводится различие *instrumental/consummatory*. «Инструментальное» обозначает средства действия. «Консумматорное» обозначает то удовлетворительное состояние, которое должно быть достигнуто, т.е. достижение цели. Здесь имеется в виду не просто представление о цели, а то, что наступает, когда цель достигнута, когда удовлетворительное состояние, можно даже сказать, совершенство системы, установилось. Таким образом, в тезисе «Action is system» ось *инструментальное/консумматорное* представляет компоненты, относящиеся к действию. Другой, вертикальный ряд пе-

ременных различает внешнее и внутреннее, т.е. внешние связи системы и внутренние структурные данности. Это системно-теоретическая сторона парадигмы «Action is System».

Если составить из этих крайних переменных перекрестную таблицу, то получится четыре ячейки, которым Парсонс дал соответствующее название. Относительно этих названий нет никаких дедуктивных указаний, никаких четких методологических установок. Парсонс сам пребывал в нерешительности, не зная, как сформулировать эти указания, но на прямой вопрос честно признавался, что здесь речь идет не о логической дедукции, не о дедуктивном методе, а скорее об убедительных обозначениях того, что в конечном итоге должно быть понятно и так, когда видят, какие именно переменные комбинируются (Рис. 1).

		Инструментальное	Консумматорное	
	L			I
Внутреннее (ситуация человека)			Действие Система	
Внешнее				
	A			G

Рис. 1: Система действия в «Общей парадигме ситуации человека»².
A – адаптация, G – целедостижение (Goal Attainment), I – интеграция,
L – поддержание латентного образца (Latent Pattern Maintenance).

То, что получается при комбинации инструментальной и внешней ориентаций, Парсонс назвал «адаптацией». Система, если можно так сказать, инструментализирует внешние связи и пытается достичь состояния, которое могло бы стать средством для установления удовлетворительных отношений между

2 Parsons Talcott. A Paradigm of the Human Condition // Parsons Talcott. Action Theory and the Human Condition. New York: Free Press, 1978. P. 352-433. Я не привожу здесь три другие поля, поскольку Луман лишь называет их функции, но не рассматривает их содержание. Парсонс назвал их так: система целесопоставления (L – «Telic System»), физико-химическая система («Physico-Chemical System» – A) и система человеческого организма («Human Organic System» – G).

системой и средой. В случае социальной системы это, согласно Парсонсу, функция прежде всего экономики.

Затем идет комбинация внешних связей и осуществления консумматорных ценностей. Здесь речь идет о «достижении цели», как это называет Парсонс. Здесь тоже важно понять, что имеется в виду консумматорном состоянии, т.е. достижение целей, а не только проектирование будущих состояний. Если инструментальные ориентации представляют будущее, то консумматорные ориентации относятся к настоящему. Другими словами, действие должно приводить к удовлетворительным состояниям или оно не состоится. В сфере социальных систем эту функцию выполняет политика. Благодаря своей способности «добиваться того, чтобы дела были сделаны» («to get things done», как пишет Парсонс), политика достигает удовлетворительных состояний, или же она обнаруживает свою несостоятельность в качестве политики.

Далее идет комбинация «консумматорного» и «внутреннего». Здесь речь идет о достижении удовлетворительных внутренних состояний. Парсонс называет это «интеграцией». Система интегрирует действия и, соответственно, действующих, обеспечивая им возможности удовлетворительных комбинаций. В теоретическом анализе понятие «интеграция» осталось довольно неясным и стало также объектом критики. Например, различали интеграцию системы и социальную интеграцию, которая вводила в систему действующих [людей]³, но эта критика касалась лишь названий этих ячеек. Если посмотреть на теоретическую структуру, становится ясно, что в каждой системе при определенных данных условиях есть в настоящем времени такое состояние, которое должно быть внутренне реализовано и приемлемо в качестве настоящего.

И, наконец, последняя из возможных комбинаций относится к паре «инструментальное» и «внутреннее». Здесь Парсонс использует странное словосочетание «поддержание латентного образца» («latent pattern maintenance»). За ним скрывается следующее рассуждение: структуры должны быть доступны на протяжении длительного времени, однако они не актуализиру-

ются постоянно. В банк ходят лишь время от времени, чтобы снять со счета деньги. Влюбляются тоже не постоянно. В церковь тоже ходят не все время. И тогда встает вопрос, что происходит в остальное время или как можно гарантировать, что структуры есть, что они доступны, их можно активировать, актуализировать, даже если в промежуточные периоды они остаются латентными. Отсюда проблема «поддержания латентного образца», стабилизации структур также в том случае, если они не используются. Для Парсонса это характеризует комбинацию «внутреннего», поскольку речь здесь идет о структурах, внутренне присущих системе, и «инструментального», поскольку необходимо обеспечить доступность подобных структур и в будущем.

Результатом этих размышлений, изложенных в виде перекрестной таблицы, стала знаменитая схема AGIL, схема из четырех функций – адаптации (A), целодостижения (G), интеграции (I) и поддержания латентного образца (L). Парсонс решительно настаивает на том, что могут существовать только эти четыре функции и что данная схема позволяет представить все возможности действия, которые есть у системы действия, и что вся последующая работа заключается в артикуляции этого комплекса из четырех составляющих. Более того, в поздний период своего творчества он считал, что данная перекрестная таблица может описать положение человека в мире («human condition»).

Таким образом, схема AGIL – это парсонсовский комментарий к девизу «Действие – это система» или его реализация теоретической программы, которая могла бы носить такое название. Соответственно, техника теоретизирования – это техника перекрестного табулирования, техника, сознательно применяемая для того, чтобы подчеркнуть закрытость комбинаторного пространства. Подобная техника гарантирует, что ничего не упущено, что нужно каждый раз спрашивать, что происходит с четвертой ячейкой или какова ситуация во второй ячейке.

Это гарантия полноты для Парсонса, по-видимому, свидетельствует о притязании его теории на своего рода универсальность. Если учтено все необходимое для того, чтобы действие состоялось, это гарантирует полноту и, следовательно, универсальность теории. Тогда все, что можно сказать о действии,

3 См., например: Lockwood David. Social Integration and System Integration // Zollschan Georg K., Hirsch Walter (Eds.) Social Change: Explorations, Diagnoses, and Conjectures. Boston: Houghton Mifflin, 1964. P. 244-257.

должно и может быть встроено в эту теорию. В этом и состоит определяющая характеристика менталитета Парсонса: он смотрит, каким образом он может разместить в своей схеме из четырех ячеек, из четырех ящичков те импульсы, которые поступают извне, определив им ту или иную функцию.

Если мы учтем эту особенность, то мы увидим, что Парсонс является одним из величайших архитекторов теории, который испытывает свою необычную конструкцию и затем может наглядно показать, чего можно достичь с помощью теории этого образца, какие последствия имеет дизайн теории и как он контрастирует с теориями другого образца, например, с диалектической теорией. Таким образом, Парсонсу мы обязаны очевидностью и наглядностью определенной теоретической архитектуры. А очевидность и наглядность, естественно, всегда означают, что другие теоретики усматривают для себя возможность раскритиковать ее и вынести свое суждение, на что способна и на что неспособна теория этого типа. Можно сказать, что речь здесь идет о логическом пространстве возможностей. И тогда вопрос заключается в том, что дает нам гарантии, что все эти возможности действительно используются, что все места, которые предоставляет нам схема, в реальности тоже заняты. Эти вопросы становятся еще более актуальными, когда схема детализируется и четыре ячейки превращаются в шестнадцать и более, в зависимости от того, по какому принципу делится система. Впрочем, для Парсонса этот вопрос не встает, так как он исходит из того, что каждый раз, когда действие происходит, все эти ячейки должны быть заняты. В этом и заключается суть аналитического реализма, реализма в том смысле, что теория демонстрирует, что действие возможно только так и никак иначе.

Вторая лекция

Каковы дальнейшие действия Парсонса? Что он делает с этими заданными переменными? Во-первых, его схема дает возможность определить основные задачи исследования. Я уже указывал на это обстоятельство. В случае, когда отдельное действие или комплекс действий сосредоточены на одной из этих функций, Парсонс говорит о примате одной функции («functional primacy»). В этом случае возникает соответствующая система, или, другими словами, соответствующая система дифференцируется вокруг отдельной функции. Так, при сосредоточении, скажем, на функции адаптации в области социальной реализации действия образуется система экономики.

Но каким образом такая система может быть «системой»? Как в таком обособленном комплексе может совершиться «действие»? Согласно Парсонсу, это возможно только за счет того, что в сфере, отвечающей за адаптацию, точно так же должны быть выполнены все четыре функции. Экономическое действие также должно выполнять свою адаптивную функцию, оно должно достигать своей цели, например, удовлетворительного экономического дохода, быть интегрированным и поддерживать образцы – собственные структуры – в латентном состоянии, т.е. уметь создавать такие структурные образцы, которые можно было бы передавать из поколения в поколение. Внутри единичной отдифференцировавшейся системы, специализирующейся на одной функции, снова встречаются все четыре функции.

Это ведет к общей теореме, что система может повториться в самой себе, т.е. в каждой ячейке могут возникнуть четыре подраздела, и в каждой подсистеме может возникнуть четыре – и только четыре – подподсистемы. Вопрос о том, как далеко это может пойти, может ли система из шестнадцати подсистем быть подвергнута очередному четырехкратному делению, – это практический вопрос, касающийся достижимой комплексности системы, достижимой комплексности реального действия (*Handlungswirklichkeit*). Стоит ли это делать? Дойдет ли до этого дело? Достаточно ли материала для того, чтобы в процессе бесконечного совершенствования можно было создавать все новые подсистемы? Нет необходимости принимать окончательное решение по всем этим вопросам. Теория в какой-то мере оставляет их открытыми, отдавая на откуп социальной реальности.

Это значит, что нужно наблюдать за тем, возникнет ли – и если да, то в каких обществах – специальная система, отвечающая за экономику или политику.

Здесь мы видим, что данную теорию отличает высокая степень исторической, эволюционной открытости. Она может описывать различные исторические состояния с точки зрения того, выделились ли для выполнения специфических функций особые системы, т.е. имеется ли денежная экономика или политика территориального государства, а также как далеко продвинулась дифференциация самой экономической системы и формирование соответствующих подсистем. Если исходить из этой теории, то сначала возникает ощущение ужасающей сложности этих процессов: 4 умножить на 4 умножить на 4 *ad libitum*, без предписанных теорией ограничений этого развития. Однако по сути Парсонс всегда может на это ответить, что мы должны посмотреть, используются ли эти возможности или нет. Фактическое ограничение заключается в том, что это всегда могут быть только четыре функции, т.е. любая эволюция должна идти по проложенному пути совершенно определенной дифференциации, но при этом, правда, может возникать дисбаланс. Например, при сильно отдифференцировавшейся экономике может отставать интеграция. Это как раз случай описанной Дюркгеймом проблемы солидарности в обществе с развитым разделением труда. Но эти состояния дисбаланса, как надеялся опять-таки Дюркгейм, временные, и в какой-то момент возникает необходимость в коррекционном догоняющем развитии в других функциональных системах. Таким образом, у этого, на первый взгляд запутанного и даже раздражающего правила умножения систем вполне могут быть исторические, актуальные, реалистичные интерпретации. Парсонс тоже пытается использовать эти возможности в своих рассуждениях, которые можно отнести скорее к историческому подходу или к теории развития. Эти попытки могут быть успешными лишь постольку, поскольку ячейкам удастся дать названия или обеспечить их большую правдоподобность, т.е. всегда уметь объяснить, какая реальность скрывается за той или иной комбинацией. Мне кажется, именно в этом заключается действительная трудность для данной системы, потому что, как уже было сказано, эта проблема не может быть решена дедуктивно, но требует фантазии, изобретающей

все новые и новые списки, а также большой доли теоретической креативности. Чтобы понять это, стоит проследить и проверить, как действовал Парсонс в каждом конкретном случае, какие названия он давал ячейкам, а также какие новые познания и какого рода реализм скрываются за этим методом. В рамках данной краткой презентации теории мы не можем этого сделать в полной мере. Я вынужден ограничиться тем, что «просклоняю» всего два случая.

В первом случае речь идет о самой общей версии системной теории, т.е. о системе действия как таковой. Второй случай, примеры из которого я уже приводил, – это социальная система. Парсонс, кстати, использует применительно к этим уровням или степеням детализации теории понятие «системной референции» («system reference»). Одно из наиболее примечательных его воззрений заключается в том, что необходимо всегда различать системные референции, т.е. нужно всегда знать, на каком системном уровне детализации всего комплекса разворачивается аргументация и применяются определенные механизмы, определенные возможности обмена (interchange) и так далее.

Итак, мы пока находимся на уровне общей системы действия, на самом общем уровне, который предусмотрен в этой теории, если не принимать во внимание более позднее развитие общей теории «ситуации человека». Итак, действие как таковое: что гарантирует возможность отдельного действия как такового (Рис. 2)?

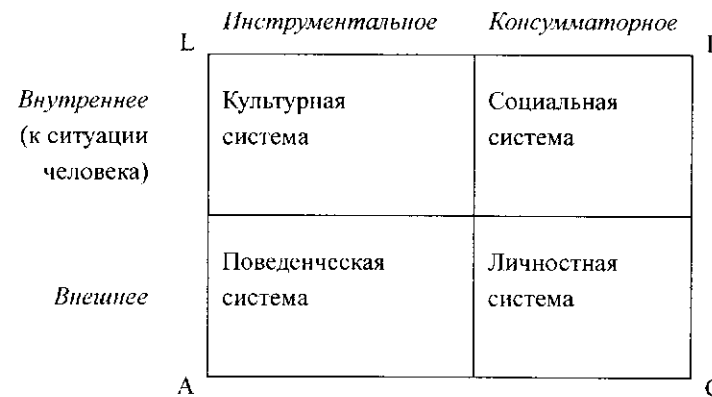


Рис. 2: Система действия.

A – адаптация, G – целедостижение (Goal Attainment), I – интеграция,
L – поддержание латентного образца (Latent Pattern Maintenance).

Адаптивную функцию («adaptation») здесь выполняет нечто, что Парсонс именует «поведенческим организмом» или «поведенческой системой». Под этим подразумевается не вся биология в целом, скажем, химия клетки или то, что мы знаем о гормонах, а также не анатомия человеческого тела или что-то в этом роде, но всегда лишь то, что организм должен совершить, чтобы поведение стало возможно, т.е. чтобы обеспечить поведенческие компоненты действия. Кстати, здесь вы видите, что так называемый субъект, действующий, здесь растворяется; одна его часть как раз и является «поведенческим организмом». Почему «поведенческий организм» помещен в эту ячейку, какую роль сыграла фантазия в том, что именно ему вменено осуществление инструментальных функций и направленного вовне поведения, — по этому вопросу могут быть самые разные мнения, как и в случае всех других отнесений, которые оставляют определенный простор для критики. Пока будем считать, что Парсонс так решил. Он рассматривает организм как ту компоненту действия, с помощью которой действие приспосабливается к внешним условиям или стремится к долгосрочному равновесию с внешними экологическими условиями. Это положение небезынтересно как раз на фоне нынешнего интереса к связям между действием или обществом и экологией. Оно, в частности, говорит нам, что экология, окружающая среда воздействует на действие только в том смысле, что она влияет на «поведенческий организм», т.е. создает препятствия только в одном аспекте действия (причем не в культуральном) и требует приспособления на этом уровне. Общество не сможет выжить как общество действия, если организм не будет обеспечивать возможность постоянно приспосабливаться к экологическим условиям и не будет соответствующим образом устроен. Так, например (Парсонс часто приводит этот пример), он должен уметь поддерживать постоянную температуру, чтобы обеспечить регулярное кровоснабжение мозга, и это происходит в процессе приспособления к температурным колебаниям окружающей среды.

Если задаться вопросом, могло бы у этой ячейки быть другое содержание, то сразу возникают сомнения. Однако если следовать указаниям Парсонса, то его решение выглядит довольно убедительным и дает своеобразные новые перспективы позна-

ния, которые без этих решений вряд ли можно найти в социологии — по крайней мере, в контексте, свободном от других перспектив познания, т.е. в контексте целостной теории.

Следующая ячейка, отведенная под «достижение цели», занята личностью — «personality». Здесь сосредоточены субъективные функции — в значении психических или сознательных. Почему именно здесь и почему именно они? Для Парсонса, очевидно, важно ввести психическую систему как такую систему, которая следит за тем, протекают ли действия удовлетворительно («consummatory»): они могут удовлетворять либо в процессе действия (в значении аристотелевской *praxis*), или соответствовать представлениям о цели и способствовать ее достижению. Опять-таки довольно странный взгляд на психологию. Субъект как бы конденсируется на функции контролера удовлетворительных состояний системы действия, а не только самого субъекта. Он ориентирован вовне. Как же так? Наверное, можно сказать (правда, это уже выходит за рамки того, что можно прочесть у самого Парсонса), что психическая система в состоянии постоянно передавать внутренние предпочтения, т.е. самосознание, сознание сознания, с помощью внешних референций, т.е. с помощью восприятия. Если принять эту мысль, можно увидеть, что собственно психическая деятельность, в противовес долгой европейской традиции, переносится с мышления на восприятие; и что ориентацию на окружающий мир, который здесь играет важную роль и контролируется в отношении удовлетворительности значений (*Werte*), можно обнаружить в восприятии, возможном благодаря психической деятельности. Ведь «поведенческий организм» может контролировать только собственные состояния. Нервная система служит лишь наблюдению за организмом или, возможно, за самой собой. Она полностью герметична и только благодаря эволюции, эволюционному отбору адекватна условиям окружающего мира. Однако психическая система может, с точки зрения наслаждения и страдания (кстати, это тема парсонсовских исследований 1950-х гг.), контролировать саму себя по отношению к изменчивому окружающему миру.

Итак, мы снова имеем необычный двойной эффект. С одной стороны, возникает вопрос, почему именно эта опция выбрана для этой ячейки; с другой стороны, это дает стимул попытаться

выяснить, что можно увидеть с помощью этой опции. Я имею в виду, что, если решение о тематизации психической системы преимущественно через восприятие или о тематизации ее вклада в систему действия через возможность восприятия уже принято, тогда можно найти аспекты, придающие убедительность этому выбору Парсонса в этой части общей модели.

В следующей ячейке комбинируются консумматорные и внутренние ориентиры, связи, функции, переменные и тому подобное. Сюда Парсонс помещает «социальную систему». На первый взгляд, это тоже странно. Почему это социальная система служит интеграции отдельных действий и почему интеграция понимается как создание внутреннего порядка в консумматорном аспекте, т.е. в аспекте настоящего времени? По-видимому, по мысли Парсонса, речь здесь идет о координации действий различных организмов и личностных систем, т.е. о том, как включить отдельных людей с их индивидуальными вкладами в сеть действий, состоящую из нескольких людей. Обращает на себя внимание четкое разделение личностных и социальных систем. Обе системы очень близки с точки зрения их вклада в осуществление действия. Обе представляют одну сторону в контексте внутренней дифференциации среды системы действия. Если, кроме того, учитывается «поведенческий организм», то можно увидеть, что имеет место разложение единства человека, его видимого, осязаемого единства, на три компонента. Все рассматривается с точки зрения того, какие компоненты каким образом способствуют осуществлению действия. Речь не идет об антропологии. Это своеобразный ответ на вопрос, который всегда в моде и возникает снова и снова: «Куда девается человек в социологической теории?»

И, наконец, на уровне общей системы действия остается еще «поддержание скрытого образца» или, иначе говоря, координация инструментальной ориентации – не-отказ, не-пренебрежение структурными образцами – с внутренними ориентациями, т.е. с ориентацией на саму систему действия, а не на окружающий мир. Сюда Парсонс помещает «культуру». В целом, в качестве теоретического решения, мне это представляется вполне убедительным. Культурные образцы отвечают за возможность реактивировать поведенческие образцы, в частности, роли и отдельные типы действия в ситуациях, разделенных большими

временными промежутками. В любом случае, это одно из возможных определений культуры. Самого Парсонса использование такого понятия культуры привело к полемике, которую я не буду здесь рассматривать подробно, по вопросу о том, возможно ли – и если да, то в какой степени – включить в это понятие культуры технические артефакты, например, ремесленный инструмент, письменность и тому подобное. Нередко этнологи, антропологи и археологи склонны считать культурой все, что может быть найдено при раскопках, тем самым недооценивая семантическую компоненту культуры или же тематизируя ее всего лишь как инструмент, т.е. исключительно через язык. Для Парсонса это различие не так важно. Его понятие культуры охватывает и возможность повторного использования того или иного инструмента, и возможность повторного использования языковых комбинаций, т.е. объединяет то обстоятельство, что мы помним слова и грамматику, и то, что мы можем повторно использовать молоток, после того как на протяжении нескольких недель его никто не использовал, но нам известно, где он лежит и для чего он нужен. Все это очень удачно называется условием интегрируемости совокупной системы действия. При этом интегрируемость понимается не в значении отдельной функции интеграции, а в значении системной интеграции без опоры на знаки.

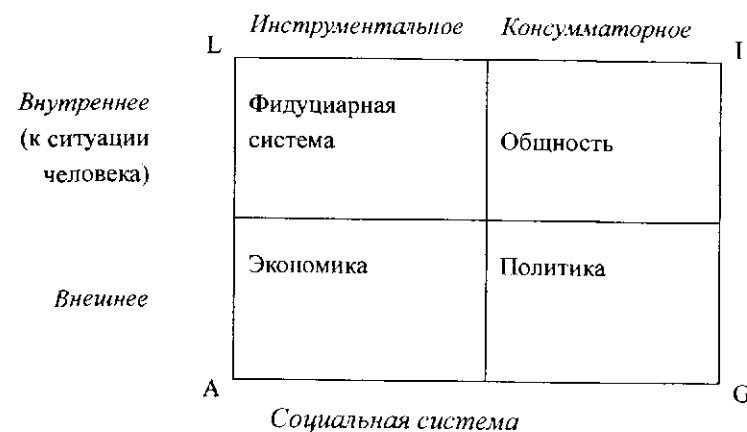


Рисунок 3: Социальная система. А – адаптация, G – достижение цели, I – интеграция, L – поддержание латентного образца.

Теоретическая программа гласит, что сначала должна произойти первичная дифференциация этих четырех подсистем или функциональных систем, прежде чем может начаться дальнейшая дифференциация уже внутри отдельных функциональных систем. Чтобы более наглядно представить эту сферу вопросов, я хотел бы теперь рассмотреть социальную систему и попытаться показать, как Парсонс здесь представляет себе внутреннюю дифференциацию в соответствии со схемой AGIL. Это самая проработанная часть теории или, если хотите, самая ранняя ее часть, так как, в конечном итоге, Парсонс строил всю эту систему ради социологических целей (Рис. 4).

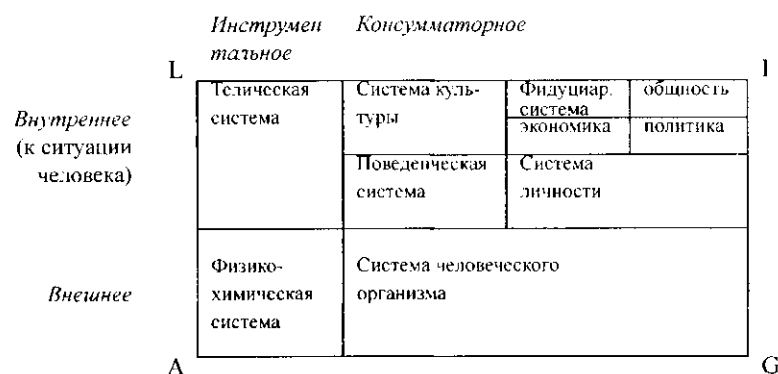


Рисунок 4: Социальная система в системе действия (*Handlungssystem*) в рамках «общей парадигмы ситуации человека». A – адаптация, G – достижение цели, I – интеграция, L – поддержание латентного образа.

Рисунок 4 наглядно отображает тот уровень, на котором мы сейчас находимся⁴.

Я уже указывал на то, что адаптивная подсистема социальной системы – или, другими словами, адаптивная подсистема интегративной подсистемы системы действия – называется экономикой. Выделение этого комплекса происходит тогда, когда адаптация системы действия к ситуациям окружающего мира приобретает большое значение в долгосрочной перспективе, т.е., грубо говоря, когда образуется капитал и вводится денежный механизм, который всегда обеспечивает возможность реагировать на непредвиденные ситуации, которые складываются

ся в окружающем мире, посредством использования капитала, будь то с целью производства, покупки, извлечения ресурсов из среды или, как сегодня, ликвидации отходов. Реализм этой концепции заключается, на мой взгляд, в том, что денежный механизм играет решающую роль в выделении данной системы, т.е. что только деньги как итог эволюции (Парсонс в этой связи говорит о символически генерализованном медиуме коммуникации) привели к тому, что экономика выделилась в качестве подсистемы, что позволило улучшить условия адаптации к среде, т.е. обеспечить непрерывность системы действия на длительную перспективу.

Функция «достижения цели» в рамках социальной системы определяется Парсонсом как политика. Это положение тоже вызвало споры, которые интересны сами по себе, однако здесь я не могу уделить им достаточно внимания. Возражение вызывало расхождение либо с классическими, т.е. аристотелевскими, староевропейскими и прочими представлениями о политике, которые ожидают от политики реализации истинно человеческого начала, либо с критическими теориями, которые видят в политике лишь придаток экономики. Согласно Парсонсу, политическая система является самостоятельной системой в социальной системе системы действия. Особенность политики заключается в обеспечении консумматорных, т.е. удовлетворительных на данный момент состояний. Это тоже странным образом контрастирует с понятием политики, к которому мы привыкли и в котором политика рассматривается как инструментальный институт, постоянно пытающийся добиться лучших результатов, лучшего состояния социальной сферы. Перед Парсонсом встает вопрос, действительно ли в этом заключается смысл политики. Парсонс описывает функцию политики в узком смысле как «принятие общеобязательных решений» («collectively binding decision making»). Это значит, что политика должна быть в состоянии принимать решения, которые, я бы сказал, являются общеобязательными в момент самого решения, т.е. признаются всеми, находят поддержку и в этом смысле удовлетворительны, которые также основываются на вере в эффективность и правильность решений, возможно, также в авторитет политика и в этом смысле являются консумматорными, хотя речь в них идет – и это второй компонент – о внешних функциях, т.е. об отношении системы и окружающего мира.

В то время как оба ориентированных на окружающий мир функциональных комплекса – «адаптация» и «достижение цели» – имеют, так сказать, известные, понятные обозначения, что как раз и послужило причиной столкновений Парсонса с общепринятыми представлениями экономической или политической теории, две другие ячейки получили новаторские и относительно неопределенные названия. Сложно сказать, почему здесь проявилась подобная терминологическая недостаточность. Возможно, это связано с односторонностью перспективы в современных социальных науках или в целом в современной теории общества, которая всегда придавала очень большое значение различению государства и экономики или государства и общества, как говорили в XIX в., а другими сферами пренебрегала, т.е. науке, искусству, воспитанию, праву и так далее не придавала такого же значения. В любом случае, Парсонс вынужден дополнить эту дихотомию политики и экономики, государства и общества еще двумя функциями, а больше их быть не должно.

Функцию интеграции для социальной системы выполняет то, что Парсонс называет «общностью» и описывает с помощью таких выражений, как «система общности» (communal system) и других, эмоционально нагруженных выражений, не усиливая и не прорабатывая этот компонент на теоретическом уровне. Необходимо понимать, что здесь имеет место странное сочетание, что речь здесь идет об интегративной функции внутри интегративной функции. Ведь уже сама социальная система служит интеграции системы действия, и теперь эта функция повторяется внутри этой функции. Это следует из вопроса о том, каким образом интегрирована сама социальная система, т.е. как удается социальной системе мотивировать отдельные действия ради чисто социальных функций – несмотря на то, что здесь задействованы люди, которые хотят действовать от своего имени или под свою ответственность, а также несмотря на то, что здесь задействована культура, которая хочет действовать исходя из проблем собственной согласованности и последствий определенных семантических схем именно для культуры, не учитывая при этом никаких социальных последствий. Здесь можно вспомнить о теологических спорах эпохи Средневековья, которые привели к Реформации и, усугубленные изобретением книгопечатания,

уже не могли быть остановлены на социальном уровне.

Таким образом, с одной стороны, в социальной системе обеспечивается интеграция для системы действия, а с другой стороны, социальная система сама должна уметь выполнять интегративные функции в таких социальных компонентах, как экономика, политика и так далее. Это и обозначается выражением «социальная общность» («social community») и тому подобными понятиями.

И, наконец, четвертый случай: в рамках социальной системы должна выполняться и функция «поддержания латентного образца». В социальном порядке тоже возникает проблема сохранения структурных образцов в латентной фазе. Парсонс называет эту сферу «системой попечительства» («Treuhandlungssystem»), «фидуциарной системой», в том смысле, что она представляет культуру, которая обладает внутренней динамикой и изменяется гораздо медленнее – или быстрее, если речь идет, например, о моде, – чем это может быть воспроизведено в социальной системе, так что в социальной системе существуют связи с культурой, ориентированные на переформулировку, интернализацию культуры в социальные образцы, на встраивание культуры в социальные образцы.

Здесь возникает вопрос, какой вообще может быть смысл в различении культуры и социальных систем. Это не совсем привычное различение, поскольку практически невозможно представить себе социальные операции, четко ориентированные на исключительно культурные аспекты, а с другой стороны, вряд ли можно представить себе социальные действия, которые обходились бы без этой функции «поддержания образца». И тем не менее Парсонс допускает возможность того, что в будущем может произойти что-то такое, в результате чего станет возможной специализация социальных функций и социальных сфер действия, которые бы отвечали за фидуциарные функции в отношении культуры. Он написал целую книгу об американском университете преимущественно с этих позиций. Таким образом, Парсонс имел в виду, что существуют такие социальные системы, которые подготавливают культуру – или то, что от нее в этом случае остается – для социальных функций, делают культуру приемлемой. Одна из интересных версий этой концепции представлена в тезисе о том, что, очевидно, уже сегодня

существуют «интеллектуалы», которые берут на себя задачу социального представительства культуры.

Этим анализом системы действия в целом и социальной системы в частности я хотел бы ограничиться. Здесь для меня важно показать вам аргументационные возможности подобной теории, показать, с какими она сталкивается трудностями, которые сама же и порождает, и как рассуждения, размышления над этими трудностями приводят к новаторским решениям, конечно, если мы имеем дело с таким креативным теоретиком, каковым был Парсонс. Однако одновременно с этим проявляется определенная герметичность теоретической концепции. Понятия неизменно определяются лишь внутри этой схемы из четырех функций. Необходимость заполнять ячейки так, чтобы это выглядело убедительно, управляет теоретическими решениями. И тогда все меньше смысла в рассуждениях о том, как парсонсовское понятие культуры связано с этим же понятием в культурной антропологии или с проблемами герменевтики *à la* Гадамер и тому подобным. Сравнить теории становится тем сложнее, чем отчетливее выделяется отдельный, специфический образец теории.

Если вы до сих пор следили за моими рассуждениями, у вас могло сложиться мнение, что теория Парсонса занимается в основном определением, наполнением и толкованием ячеек. Однако такое понимание было бы совершенно неправильным. Во всяком случае, это затрагивает лишь один аспект обсуждаемой теории. Существенная часть последующих рассуждений касается отношений между этими ячейками, отношений между подсистемами. Все остальные теоретические инструменты предназначены для изучения последствий функциональной дифференциации. Это создает особый стиль теории. Она рассматривает дифференциацию системы действия и последствия постоянно прогрессирующей дифференциации, и это связывает ее с идеей Дюркгейма о разделении труда и в целом с социологической традицией, которая описывала современное общество как дифференцированное общество.

У меня нет возможности останавливаться подробно на отдельных попытках установить связь между подсистемами. Я лишь назову основные подходы. Первый подход связан с представлением об иерархии контроля. Системы упорядочены

в виде двойной иерархии – сверху вниз и снизу вверх: AGIL и LIGA⁵. Культура, как говорит Парсонс, управляет системой «кибернетически», оказывая, при небольших энергетических затратах, влияние на социальные системы, которые, в свою очередь, влияют на личностные системы, а те влияют на организм. С каждым уровнем, если двигаться сверху вниз, энергетические затраты возрастают, но собственно средством управления является информация. В обратной перспективе речь идет об обусловливании, т.е. об обеспечении энергетических возможностей для осуществления действия – в частности, возможностей физического перемещения и движений, сенсомоторных способностей, мотивационной энергии со стороны личностных систем и, если угодно, способности к взаимопониманию в области социальной системы и, наконец, обусловленных всем выше перечисленным основ для передачи и распространения культуры. Вот в чем состоит идея иерархии контроля.

Далее, есть еще одна, возможно, даже более важная идея, а именно идея символически генерализованного медиа обмена. Между системами существуют отношения взаимообмена (*interchange*) (Парсонс пишет даже об отношениях двойного взаимообмена («double-interchange»)) на более общем и более конкретном уровне, и каждая система имеет свои собственные коммуникативные медиа, с помощью которых регулируются отношения обмена. Например, у экономической системы это деньги, у политической – власть, у социальной – влияние («influence»), авторитет, а у системы культуры внутри социальной системы это ценностные обязательства («value commitments»), обязательства перед определенными ценностями. Существует очень тщательно разработанная теория конструирования таких медиа обмена по «сопоставимым критериям»⁶. Этот поиск масштабов для сравнения представляется мне грандиозной попыткой – попыткой соединить в одной теории тождество и различность. Далее, это также интересная попытка применить проблему рациональности – которую Макс Вебер поставил в отношении действия вообще, действия как такового, а затем разложил на

5 См. Parsons Talcott. A Paradigm of the Human Condition // Parsons Talcott. Action Theory and the Human Condition. New York: Free Press, 1978. P. 362 и далее и P. 374 и далее.

6 См. об этом: Parsons Talcott. Zur Theorie der sozialen Interaktionsmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1980.

типы, так и не обосновав их, — к данной дифференцированной системе и увидеть, что в экономической сфере, в политической сфере, в общности, в фидуциарной сфере и вообще во всех системах, которые образуют свои медиа, действуют совершенно различные критерии рациональности.

Наконец, была еще одна попытка установить связь между системами, которая получила название «взаимопроникновение» («interpenetration»)⁷. В ней тоже есть очень интересные дополнительные идеи. Согласно этой концепции, между системами существуют отношения, основанные на частичном пересечении, на внедрении комплексных результатов деятельности других подсистем в подсистему, выступающую в данном случае в качестве реципиента. Понятие взаимопроникновения позволяет интегрировать части теории, абсолютно не связанные между собой. Например, проникновение *L*-функции в *I*-функцию, т.е. взаимопроникновение «поддержания латентного образца» и «интеграции», или же культуры и социальной системы происходит посредством институционализации. Культура должна быть институционализирована, т.е. пройти социальную обработку, стать годной к социальному потреблению. Проникновение культуры в личностную систему происходит через социализацию. Личности должны пройти социализацию в социальных контактах для того, чтобы внести свой вклад в систему действия. И, наконец, — и это представляется мне особенно интересным — взаимопроникновение личностной системы и «поведенческого организма» происходит посредством научения. Тело должно научиться подчиняться личностной системе, т.е. поддерживать осанку, вести себя подобающим образом, выполнять движения в точном соответствии с психическими командами и так далее.

Эти три аспекта межсистемных отношений — иерархия кибернетического контроля, медиа коммуникации или медиа обмена и взаимопроникновение — плохо интегрированы между собой, а кроме того, их сложно сочетать с внутренним подразделением систем на четыре составляющие. Парсонс вложил много труда в разработку этого вопроса и представил более или менее убедительные, но в конечном итоге очень сложные вари-

анты решений, что само по себе показывает, что в процессе развития своей теории он все больше увязает в проблемах, которые сам же и создал, все больше отклоняется от общепринятого словоупотребления, все чаще вынужден реагировать на проблемы самой теории и постепенно утрачивает связь с общепринятым языком социологической науки. Если не принимать во внимание идеологическую критику его теории, которая никогда не искала аргументативного взаимодействия, т.е. никогда не вникала в теорию, эта, в некотором роде мелкоформатная самодисциплина в работе над теорией представляется мне одной из основных сложностей, и прежде всего потому, что именно эта сложность нанесла урон кругу учеников Парсонса, сильно сократив его, поскольку перед ними было поставлено требование сконцентрироваться на отдельных ячейках или отдельных специальных проблемах этой теории, а в противном случае они вообще не могли продолжать с ней работать.

Конечно же, мало смысла в том, чтобы просто сказать, что Парсонс со своей теорией потерпел неудачу или что в теории изначально содержатся принципиальные ошибки, которые сегодня уже можно распознать, но все равно, она была в некотором роде тупиковым путем в развитии социологической системной теории. Никогда ни до, ни после Парсонса такое обилие социологических знаний и идей не было обобщено в такой тщательно проработанной конструкции. С другой стороны, герметичность его теории свидетельствует о том, что с этих позиций уже невозможно следовать за междисциплинарным развитием общей системной теории.

Парсонс, как никакой другой социолог, умел интегрировать результаты и идеи несоциологических теорий. Это касается не только экономической теории, но и теории Фрейда. Это касается также использования в системной теории терминологии «вход/выход» (Input/Output), некоторых аспектов лингвистики, кибернетики и так далее. Однако то, насколько системная теория переключилась на самореференцию, свидетельствует о неспособности парсонсовской теории к дальнейшему восприятию. Поэтому я вижу здесь скорее завершение самостоятельного развития социологической теории, что дает нам повод сначала поближе познакомиться с междисциплинарным контекстом.

7 См., например: Parsons Talcott. Social Systems // Parsons Talcott. Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York: Free Press, 1977. P. 177-203.

II. Общая системная теория

1. Теория открытых систем

Третья лекция

Эту лекцию я начну с попытки сформулировать некоторые размышления об общей системной теории. Используя это выражение «общая системная теория», мы сильно приукрашиваем факты. Собственно говоря, общей системной теории не существует. Правда, в социологической литературе на системную теорию всегда ссылались, как будто речь шла о чем-то, что существует в единственном числе, однако если приглядеться повнимательнее и принять в рассмотрение не только социологическую литературу, то сложно найти соответствующий объект, соответствующую теорию. Есть несколько общих системных теорий. Есть попытки обобщить системно-теоретические подходы, т.е. перешагнуть границы той или иной отдельной дисциплины, но и в этом случае легко можно понять, к какой дисциплине относится отправная точка этих абстракций. Кроме того, в целом существуют трудно преодолимые барьеры между различными дисциплинами или различными теоретическими моделями, которые пытаются обобщить материал, исходя из какой-то определенной отправной точки. Возможно, эта ситуация обусловлена исторически. В 1950-е гг. была предпринята попытка сформулировать общую системную теорию. К этому времени относится возникновение соответствующей терминологии. Тогда же было основано Общество общих системных исследований (Society for General System Research – SGSR)⁸. Издавался ежегодник SGSR со статьями по этому научному направлению. И была также идея, что можно с разных позиций объединять и комбинировать мысли, которые в результате и должны создать что-то вроде системной теории. Это предприятие было небезуспешным. Однако стоит для начала вернуться к истокам этих рассуждений и сопоставить различные отправные точки, чтобы увидеть, на чем фокусировалась критика, в чем были проблемы

подобного обобщения и почему не удалось преодолеть определенный порог в развитии системной теории.

В течение этого часа я намереваюсь сначала продемонстрировать это развитие и его границы, чтобы затем, с помощью нового подхода, попытаться сформулировать отдельные моменты теории второго поколения, «кибернетики второго порядка» (second order cybernetics), «теории наблюдающих систем» и тому подобного.

Итак, сначала об исходных положениях. Одно из направлений развития было связано с метафорой или моделями, работавшими с понятием равновесия. Сначала они имели математическое основание, поскольку пытались работать с математическими функциями, однако эта метафорика интересна и сама по себе, являясь, кстати, одним из самых древних источников системного мышления, который использовался задолго до того, как слово «система» приобрело некоторую значимость, и, разумеется, задолго до того, как вообще можно было говорить о «системной теории» в прямом смысле слова. Я не знаю точно, когда это началось, но в XVII в. метафора равновесия уже используется как понятная и само собой разумеющаяся применительно к идее «торгового баланса», а на рубеже XVII-го и XVIII-го веков стимулирует представление о международном, в частности европейском равновесии наций (или политических факторов), а кроме того, в относительно неопределенном значении используется в более общем контексте.

Оглянувшись на это направление развития, можно сказать, что для него характерно одно различие, а именно различие между стабильным состоянием и его нарушением. Обычно акцент делается на стабильность. Равновесие представляется стабильным, лишь время от времени реагирующим на нарушения, причем таким образом, что либо восстанавливается прежнее равновесие, либо достигается новое состояние равновесия. Метафора предполагает определенные механизмы, определенные имплементации, определенную инфраструктуру, которые в совокупности должны обеспечивать поддержание равновесия. В связи с этим доминирует представление, что теории равновесия – это теории стабильности. Однако если посмотреть повнимательнее, а соответствующие указания обнаруживаются уже в XVII в., то это положение покажется спорным. Если ориенти-

⁸ Сегодня это международное общество системных наук – International Society for the Systems Sciences (ISSS). См. сайт: <http://www.iss.org>.

роваться на образ весов в состоянии равновесия, то сразу становится ясно, что это равновесие чрезвычайно легко нарушить. Нужно лишь слегка увеличить вес содержимого одной чаши, и вот уже равновесие нарушено.

Следовательно, идею равновесия можно рассматривать как теорию, которая определяет чувствительность системы к нарушениям, а также определяет наиболее уязвимые места – и тогда ясно, что нужно делать, если хочешь нарушить равновесие. В одном аспекте, который будет неоднократно упомянут по ходу нашего курса, данная теория является не столько теорией желаемого состояния или определенного рода объектов, сколько теорией специфического различия. Понятие равновесия включает в себе теорию, которая стремится понять, каким образом можно регулировать отношение стабильности и нарушения. Наверное, можно даже сказать (хотя в таком виде этот тезис не встречается в литературе), что она хочет понять, как можно усилить соотношение нарушения и стабильности, так чтобы система, несмотря на высокую уязвимость, все-таки была стабильной. Если спроецировать эту теорию на математику, то ее интерес будет направлен на вопрос о том, по каким математическим уравнениям можно вычислить подобное соотношение. И тем не менее, хотя этот момент нарушения всегда учитывался и в традиционном, и в более современном применении теорий равновесия, основной акцент явно делался на стабильность, как если бы поддержание системы в стабильном состоянии было ценным само по себе, а механизмы, гарантировавшие равновесие, должны были заботиться о том, чтобы поддерживать систему в этом состоянии. Это касается, прежде всего, экономической теории, идеи экономического равновесия, сбалансированности различных экономических факторов. Здесь же зародилось сомнение, можно ли вообще говорить о равновесии как о стабильном состоянии, если при этом учитывать также реальность, а не только математические функции, т.е. если представить себе, как могут быть стабильными реальные системы, в частности экономические и в том числе производственные системы.

С этого же начались размышления о том, не является ли как раз наоборот неравновесие условием стабильности. Согласно этому воззрению, экономическая система может быть стабильной только в двух случаях: если она производит слишком много

товаров, чтобы ей было что предложить всякий раз, когда на рынке возникает спрос на тот или иной товар, и, наоборот, если она порождает излишне много покупателей и мало товаров, чтобы всегда находились покупатели, которые покупали бы эти товары, когда их избыточно много. Такую концепцию антиравновесия разработал венгерский экономист Янош Корнай⁹. Очевидно, что здесь схематично представлены западная и восточная экономики в период противостояния капиталистической и социалистической систем. Итак: или должен поддерживаться дефицит товаров, а покупатели (спрос) должны быть в избытке, и тогда это социалистическая система; или, наоборот, при недостатке покупателей должен существовать избыток товаров, и тогда это капиталистическая система. В любом случае мы здесь имеем дело с одной из версий теории неравновесия, которая отличается от классической и неоклассической экономики тем, что переносит стабильность с равновесия на неравновесие.

В любом случае модель равновесия лежит в основе одного из путей развития в направлении к разработке общей системной теории. Правда, в 1950-е гг. она не была новым открытием, а скорее лишь вариантом, к которому при необходимости можно было обратиться. Новыми были два других круга проблем, которые еще сильнее, чем теория равновесия, повлияли на дальнейшее развитие системной теории. Новым был в первую очередь вопрос, происходящий из области термодинамики: как вообще возможно сохранение систем, если приходится исходить из того, что физическое устройство, по крайней мере, физическое устройство закрытых систем, имеет тенденцию порождать энтропию, т.е. стирать все различия, приводить к состоянию вне различий или, если говорить языком физики, к состоянию, в котором больше нет полезной энергии – энергии, которая может создавать какие-то различия? Если это общий физический закон, то как вообще можно объяснить факты физического, химического, биологического, социального мира? Как объяснить существование порядка и тот факт, что если взять период, ограниченный несколькими миллиардами лет, не видно никаких проявлений этой тенденции к энтропии? Другими словами, как объяснить негэнтропию, понимаемую как отклонение от со-

⁹ Kornai János. Anti-Equilibrium: On Economic Systems Theory and the Task of Research. Amsterdam: North-Holland, 1971.

стояния энтропии, если физические законы как таковые неизбежно указывают на энтропию? При такой постановке вопроса имелось в виду, что законы энтропии предполагают закрытую систему, и, например, мир представляли в виде закрытой системы, в которую ничего не попадает извне и из которой ничто не может выйти наружу.

Возможно, в качестве модели мира эта модель и верна, но адекватно отразить условия внутри мира она не в состоянии. Речь здесь идет о модели закрытой системы, а в мире таких систем не найти, во всяком случае, если мы говорим о живых системах, о психических или социальных системах, т.е. если мы рассматриваем область, которая нас интересует в данной лекции. Поэтому представление о закрытых системах применительно к сфере биологии и социологии было отвергнуто, а вместо него была разработана теория открытых систем. Об открытых системах стали говорить потому, что хотели объяснить, отчего же не наступает энтропия и отчего формируется порядок. Открытость в любом случае означает обмен с окружающим миром, но в зависимости от того, рассуждаем ли мы о биологических или органических системах или о системах, ориентированных на смысл, т.е. о социальных (коммуникативных) и психических системах (сознание и тому подобное), эта идея обмена принимает разные формы. Если имеются в виду биологические системы, то думают в первую очередь о притоке энергии и о выходе ненужной энергии; в отношении смысловых систем думают прежде всего об обмене информацией. Смысловая система берет из окружающего мира информацию, интерпретирует, если можно так сказать, сюрпризы и неожиданности и встраивается в сеть, которая состоит из других систем и реагирует на данную систему, занимающуюся переработкой информации. Основное условие, объясняющее энтропию, в обоих случаях одно и то же, а именно отношения обмена между системой и средой. Таково значение понятия «открытая система».

Я еще раз подчеркиваю это сейчас, потому что в дальнейшем мы перейдем к противоположной теории – теории операционально закрытых систем, в которой, однако, эта концепция открытости не опровергается, а трансформируется. В любом случае, открытые системы – это ответ на провокацию, источником которой был закон энтропии.

В этом контексте можно увидеть связь с эволюционной теорией, которую нужно учитывать. Начиная с Дарвина, эволюционная теория взяла на себя задачу объяснить структурное разнообразие, а в области биологии – разнообразие видов. Как объяснить то, что однократное биохимическое порождение жизни привело к появлению таких разных форм – червяков, птиц, мышей, людей и так далее? Разумеется, такой же вопрос можно задать применительно к социальной системе: как объяснить тот факт, что сразу после того, как развилась языковая коммуникация, одновременно могло существовать такое множество разных языков и, если взглянуть на это с точки зрения истории, такое множество разных культур, развитых в большей или меньшей степени? Как возникает многообразие экземпляров и типов вследствие простого однократного изобретения эволюции, а именно биохимии жизни, с одной стороны, и коммуникации, с другой стороны? Для того чтобы это объяснить, тоже нужна теория открытых систем, т.е. теория, описывающая, как стимулы, поступающие в систему из окружающего мира, могут изменять ее структуру, иначе говоря, как нечто, что сначала было простой случайностью, никак не предполагалось в самой системе, например, мутация на клеточном уровне или вводящая в заблуждение, вредная информация, может в этом качестве быть замечена в системе и привести к структурным изменениям, т.е. к отбору новых структур и к проверке того, могут ли эти структуры быть стабильными. Это означает, что дарвинское различие вариации, отбора – в смысле изменения структуры и стабилизации или рестабилизации – тоже основывается на теории открытых систем и, в дополнение к общей теории открытых систем, раскрывает исторический аспект или аспект развития структурной сложности вопреки ожиданиям, которые вытекают из закона об энтропии.

Если мы принимаем эту общую теорию открытых систем, то к ней добавляются теории второго порядка, вспомогательные теории и прежде всего концепция модели *Input/Output*. На уровне общего понятия системы теория открытых систем не дает ответа на вопрос о том, какого рода отношения существуют между системой и окружающим миром. Она работает с общей идеей окружающего мира, а не с представлением о том, что в нем есть специфические условия, в том числе некоторые

другие системы, которые могут быть особенно релевантными для данной системы. На этом уровне следует различать, с одной стороны, парадигму *система/среда*, т.е. общий тезис о том, что системы могут предотвратить энтропию только в том случае, если они существуют в среде и контактируют с этой средой; и, с другой стороны, межсистемные связи, вопросы определенной зависимости от условий окружающей среды или определенной зависимости внутри социального порядка от некоторых других систем (например, зависимость политической системы от функционирующей экономики, как в отношении поступления налогов, так и в отношении готовности населения выбирать определенное правительство). Если обобщить, то мы говорим здесь о различии между различием *система/среда*, с одной стороны, и межсистемными отношениями. Модель *Input/Output* занимается как раз вторым случаем. Она предполагает, что система может себе позволить высокую степень безразличия по отношению к среде, что среда в общем и целом не имеет значения для системы, но что тем большее значение имеют отдельные факторы среды. Очевидно, что среда не может решать, какие именно факторы являются значимыми, а делает это сама система. В этом отношении система обладает относительной автономией, поскольку она может сама решать, в зависимости от внутренних условий и от собственного типа, с одной стороны, в чем она нуждается, а с другой стороны, что она отдает окружающему миру в качестве «выхода», отхода, результата деятельности или готовности способствовать чему-то другому.

Грубо говоря, такие модели *Input/Output* существуют в двух разных вариантах. В первом варианте это скорее идеальная или математическая модель, в которой предполагается, что есть определенные «входы» и что система реализует трансформационную функцию, которая ведет к определенным результатам. Эта трансформационная функция структурно предопределена. В этом случае говорят также о механизмах – или в реалистическом смысле, или в значении математической функции, – которые трансформируют определенные «входы» в определенные «выходы». Речь идет о в высшей степени технической модели, о модели механизма или фабрики, которая предполагает, что при одном и том же «входе» с одинаковой функцией можно произвести один и тот же «выход». Эти представления легли в основу

критики, когда системную теорию называли механистической теорией и упрекали ее в неспособности адекватно отражать реалии социальной жизни. Разумеется, можно усложнить эту теорию трансформационной функции. Можно выдумать систему, выполняющую одновременно несколько трансформационных функций, или же систему, которая внутренне дифференцирована на несколько подсистем, так что отношения *Input/Output* внутри самой системы могут быть взаимосвязаны. Но главным все равно остается представление о прозрачной, понятной для системного аналитика трансформационной функции. И в результате получается условие или прогноз, что при одном и том же «входе» производится один и тот же «выход», т.е. что мы имеем дело с надежной системой.

Сложности начались тогда, когда попытались перенести подобные модели на социальную действительность или реализовать их на уровне психики, т.е. представить себе, что психическая система работает с «входом» и «выходом». Так, например, в психологии еще раньше существовала бихевиористская концепция «стимул-реакция», в которой это представление уже было реализовано без использования терминологии модели *Input/Output*. Психологи уже в 1930-х гг. поняли, что не может быть простой трансформационной функции, но что надо задействовать промежуточную переменную, которая тогда получила общее название «генерализация». Психическая система генерализирует связи с окружающим миром, так что различные «входы» могут подпадать под один и тот же тип и производить одинаковый «выход», и наоборот, система, в зависимости от настроения, может по-разному реагировать на одинаковые «входы». Эти усложнения заставляют отказаться от простых математических функций и более подробно изучить систему.

То же самое происходит при попытках социологической реализации модели *Input/Output*, на этот раз с использованием социологической терминологии. Я имею в виду, например, попытку Дэвида Истона применить аналитический подход *Input/Output* к социальным системам, в первую очередь к политической системе, и разработать модель, предусматривающую несколько «входов»: с одной стороны, официальное предоставление поддержки правительству путем всеобщих выборов, а с другой стороны, особый «вход» интересов через организации

интересантов, лобби и так далее¹⁰. Сама политика рассматривается как трансформационный механизм, а «выход» описывается у Истона как «распределение ценностей» («allocation of values»), предложение преимуществ, относительно которых принято политическое решение, или ценностей населению. Это приводит в замкнутом цикле к тому, что население реагирует на политику, изменяя свой выбор и декларируя другие интересы. В рамках этой модели тоже не удалось перевести объяснение в цифры или дать математическую формулировку, которая бы показывала, как политика всегда делает одно и то же при неизменно одинаковых условиях.

На этот пробел в объяснении внутренних процессов, происходящих в системе, отреагировала теория «черного ящика», которая отчасти заимствована из кибернетики, но здесь нашла самое широкое применение. «Черный ящик» («black box») означает, что внутреннее содержание системы, в силу его чрезвычайной сложности, невозможно познать и проанализировать и что только исходя из закономерностей отношений системы с внешним окружением можно сделать вывод, что должен существовать какой-то механизм, который, вероятно, может объяснить надежность системы, предсказуемость, прогнозируемость «выхода» при определенном данном «входе». О том, что внутри системы все в порядке, можно узнать по внешней регулярности функционирования системы. При этом все еще сохраняется возможность определенных структурных исследований внутренних процессов; неслучайно данная концепция «черного ящика» близка структуралистскому варианту системной теории. Например, можно задуматься, какое значение в процессе преобразования «входа» в «выход» в политической системе имеет тот факт, что в конце XIX в. возникают политические партии и, соответственно, теперь парламент уже не основывается на свободном волеизъявлении депутатов, как это мыслилось изначально, а вместо этого политические *вопросы* (*issues*) как бы заранее группируются политическими партиями, которые, в свою очередь, конкурируют за благосклонность избирателей. Можно себе представить, что тем самым задается направление развития от классического правового государства, которое реагирует

¹⁰ См. Easton David. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf, 1953.

на нарушения равновесия, на социальные проблемы, к тому, что мы сегодня называем государством всеобщего благосостояния, т.е. к государству, которое активно изменяет социальные условия и делает политику, предлагая населению такие перемены.

Модель «черного ящика» – это прежде всего рамочная модель, которая в принципе не исключает возможности более глубокого структурного анализа, но которая в первую очередь разрушает представление о жесткой, механической или математической сопряженности «входа» и «выхода».

Наверное, в этой связи имеет смысл взглянуть на правовую систему, так как именно здесь, по всей видимости, анализ «входа» и «выхода» должен функционировать на деле. Было принято на удивление мало попыток приложить эту теорию к правовой системе. Мне известно лишь несколько работ в этом направлении, написанных в конце 1960-х гг.¹¹ Эта мысль кажется очевидной, во-первых, потому что можно себе представить, что по своей сути право – это программа, ориентированная на «выход»: всякий раз, когда поступает определенная информация, должны быть приняты определенные решения. Когда-то я назвал это «кондициональной программой»¹², и с тех пор эта терминология вошла в употребление. Кондициональной программа является в том смысле, что система всегда ориентируется на полюс «выхода» и, неважно с какими последствиями, фабрикует решения, нацеленные на определенный «выход». Ходатайства, оправданные с точки зрения закона, решаются положительно, ходатайства, не оправданные с точки зрения закона, решаются отрицательно. Иски удовлетворяются, если они юридически оправданы, и не удовлетворяются, если они юридически неоправданы. Правовая система, если бы она в действительности функционировала таким образом, была бы идеальным случаем для анализа по схеме *Input/Output* и, следовательно, механизмом, функционирование которого предска-

¹¹ Luhmann Niklas. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. Там в примечании 10 Луман называет работу Д. Зиглера и еще несколько работ: Sigler Jay A. A Cybernetic Model of the Judicial System // Temple Law Quarterly 41 (1968). P. 398-428.

¹² Luhmann Niklas. Zweckbegriff und Systemrationalität: Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen. Neuausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. S. 101 и далее.

зуюмо для стороннего наблюдателя, но который вместе с тем является невероятно сложным, так как существует очень много юридических предписаний, а соответственно, и великое множество дверей, разнообразных потенциальных «входов», которые можно предложить, самых разных допустимых типов исков, с помощью которых можно добиваться правосудия, множество разнообразных потенциальных полномочий, которые можно реализовать, но всякий раз, когда есть такая возможность, они реализуются автоматически.

Однако при более тщательном анализе выяснилось, что в правовую систему все больше проникают целевые ориентации. Это означает, что право – или, если угодно, хороший юрист – всякий раз, когда представляет определенную юридическую позицию и считает определенную интерпретацию законов правильной или неправильной, думает также о последствиях. Хороший юрист, если говорить о современном понимании юридической деятельности, никогда не упускает из виду также полюс «выхода». Это, согласно модели – а я думаю, что так оно и есть в действительности – делает правовую систему в некотором смысле непредсказуемой. Последствия правового решения разнятся от случая к случаю. Они обусловлены многими эмпирическими обстоятельствами и поэтому непредсказуемы для того, кто хочет видеть в правовой системе машину. Кроме того, если проследить историю права или юридической догматики в XX в., то можно увидеть, что усиливается тенденция изменения права таким образом, чтобы оно учитывало интересы; чтобы юристы не просто методом дедукции на основе понятий или закона делали вывод о том, чего требует право в том или ином случае, а также каждый раз думали о том, в чьих интересах то или иное принятое решение, каковы фактические шансы реализации этих интересов, или привлекали к делу конфликты интересов, которые не учитываются непосредственно в правовой норме, чтобы понять в каждом конкретном случае, какое может быть принято правомерное решение, учитывающее чувство справедливости судьи и, возможно, широких слоев населения. Эта тенденция усиливается в той мере, в какой мы реализуем публичное право, ориентируясь на цели государства всеобщего благосостояния. Сегодня даже конституционный суд считает оценку ценностей и сопоставление интересов своей задачей, что приводит к зна-

чительной интерференции с политикой.

Я довольно подробно изложил ситуацию, чтобы показать, на что следует обращать внимание при переносе моделей *Input/Output* на теорию социальных систем и как мало информации социологическая теория может получить из общей теории систем через эту терминологию «входа», преобразования и «выхода». Возможно, это тоже повлияло на то, что ориентация на «вход», «преобразование» и «выход» в 1970-е гг. утратила свое значение. С одной стороны, было подозрение и идеологическое утверждение, что речь здесь идет о механистической, чисто технической теории; разумеется, так оно и было на математическом уровне, на уровне модельных схем. Но, с другой стороны, возникал вопрос, какая конкретная польза от обозначения границ системы в категориях «входа» и «выхода». Другими словами, ученые задавались вопросом, что такое система, если она способна преобразовывать «вход» в «выход». Что лежит в основе этого преобразования или этого отбора подходящих, важных, релевантных «входов» в подходящие, релевантные «выходы»? Что это за механизм? Что это за устройство из структур и операций? И это и есть тот самый вопрос, который в модели *Input/Output* считается уже решенным, хотя на самом деле ответа на него не дается.

И вот теперь мы возвращаемся к третьей линии развития общей системной теории, к ее третьей надежде – кибернетике¹³.

Это относительно молодая теория. Она возникла в 1940-е гг. из технических рассуждений о том, как в изменяющихся условиях среды можно поддерживать системы, в том числе «выходы» систем, в стабильном состоянии. Ответ на этот вопрос был дан в известной модели обратной связи (*feedback*), основанной на представлении, что существует некое устройство, которое может измерять удаленность от желательного состояния системы, т.е. получать информацию из окружающего мира и запускать или выключать механику системы в зависимости от того, каковы результаты этих измерений удаленности – удовлетворительные или неудовлетворительные. Вы знаете это на примере термостата. В литературе этот пример всегда называют также

¹³ См., прежде всего: Ashby W. Ross. Einführung in die Kybernetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. [Рус. пер.: Росс Эшби У. Введение в кибернетику. М., 2006 – здесь и далее в квадратных скобках даны примечания переводчика]

«парадигмой» в исходном значении этого слова – примера, прототипа. Но в 1940-е гг. было много других задач, которые пытались решить с помощью этих моделей, например, в области военной техники. Если раньше для поражения самолетов из орудий ПВО приходилось пользоваться механическими устройствами, в частности, прицелом, в который нужно было смотреть и нацеливать орудие на мишень с учетом упреждения, то теперь этот процесс был автоматизирован, так что можно было измерять и перерасчитывать удаленность и увеличивать точность попадания независимо от глазомера артиллериста. Это было одной из задач того времени. Однако ученые сразу распознали, что здесь заложен общий принцип, который встречается также в биологии, когда нужно, например, поддерживать на постоянном уровне температуру крови или содержание сахара в крови. Таким образом, существуют некоторые устройства, которые не функционируют постоянно, а начинают выполнять свою функцию только тогда, когда определенные дефекты, определенные дистанции или определенные различия принимают слишком большие значения.

Почему же эта модель так важна? Ну, во-первых, она поддается обобщению. Это один момент. И было заманчиво испытывать ее в разных новых областях. Во-вторых, можно было надеяться, что таким способом можно переформулировать старую телеологию – старую теорию целей¹⁴. В контексте старой Европы телеология выражала представление о том, что есть определенные цели, которые запускают определенные каузальные процессы и, таким образом, сами являются составляющей процесса, хотя речь здесь идет о будущих состояниях. От этой идеи отказались еще на заре Нового времени и заменили ее ментальными причинами, когда стало считаться, что цели – это актуальные, существующие сейчас, хотя и обусловленные прошлым опытом представления о будущих состояниях и что эти представления, поскольку они уже существуют, могут механическим путем дать ход определенной двигательной активности. И вот, если угодно, за счет этой механизации телеологической каузальности кибернетика могла точнее, чем прежде, объяснить, как можно добиться стабильности определенных состоя-

14 См. Rosenblueth Arturo, Wiener Norbert, Bigelow Julian. Behavior, Purpose, and Teleology // Philosophy of Science 10 (1943). P. 18-24.

ний системы или какие приспособления для этого необходимы. Надежды возлагались не только на обобщение как таковое, но также на реконструкцию классического идейного наследия с помощью, скажем так, технологизируемых средств. И, наконец, были еще идеи управления, которые дали название этой сфере. *Cybernetes* – это штурман на корабле, и можно себе представить, что если он хочет, чтобы корабль шел прямым курсом, он должен корректировать условия, создаваемые ветром и волнами, т.е. при необходимости либо сопротивляться природным условиям, либо следовать им, если их направление совпадает с курсом корабля. *Cybernetes* – это штурман, а кибернетика – это наука об искусстве управления техническими системами, возможно, также психическими и уж точно социальными.

Вот в чем был смысл этой идеи. Странно, что от этой идеи остались такие понятия, как «управление», «social guidance», «steering» и так далее, которые снова и снова рождали иллюзию, что с помощью кибернетических технологий или, может быть, других средств, трактуемых сегодня скорее в русле теории действия, можно управлять системой. Но что именно означает «управление» в этом кибернетическом контексте? Оно ведь не означает, что будущее состояние системы может быть определено вплоть до конкретных деталей или даже в общих, сущностных чертах, если использовать староевропейскую формулировку, так чтобы уже сейчас можно было сказать, как система будет выглядеть в будущем. Речь идет лишь о поддержании определенных различий, чтобы они не слишком увеличивались и не слишком сокращались. Речь идет о том, чтобы уменьшить отклонения от курса, отклонения от желаемого состояния, отклонения от определенной температуры, которую хотят поддерживать в доме, и так далее. И если температуру в доме можно поддерживать на постоянном уровне, то это вовсе не означает, что в дом не проникнут воры, что не будет испорчена мебель или ковры или что электрические приборы на кухне будут нормально функционировать. Итак, кибернетика всегда имеет отношение только к специфическим константам, к специфическим различиям. Если вы хотите хоть немного продвинуться в направлении того, чтобы суметь предсказать состояние системы в будущем, вам придется изобрести очень сложную систему многовариантных механизмов управления и даже управления механизмами управления.

При заимствовании теории управления из кибернетики и внедрении ее в теорию действия, как это принято сегодня, например, в политологических кругах, эту проблему, на мой взгляд, оценили неправильно и из необходимости политического управления сделали вывод, что оно, наверно, каким-то образом возможно. Я вовсе не отрицаю, что сегодня, так же как и раньше, можно добиться уменьшения различий. Например, если есть определенные болезни и мы можем создать вакцину против нее, очевидно, что предписанная правительством или рекомендованная медиками вакцинация уменьшит масштаб заболевания. Аналогичную ситуацию можно себе представить и для современного монетарного управления экономикой средствами денежной политики. Но и в том, и в другом случае при использовании понятия «управление» было бы лучше в точности придерживаться первоначального кибернетического смысла, т.е. представлять себе, что есть определенное различие, некий разрыв, который необходимо сократить, и это такое различие, которое не может полностью контролироваться системой, а претерпевает изменения под влиянием внешних воздействий, которые должны корректироваться внутри системы.

Эта дискуссия проходит под эгидой таких понятий, как отрицательная кибернетика и отрицательная обратная связь. В конце 1950-х – в 1960-е гг. было изобретено антонимичное понятие положительной обратной связи; положительная обратная связь означает усиление отклонений¹⁵. Кибернетический цикл используется для изменения определенного состояния, порожденного самой системой, в сторону отклонения от первоначального состояния. Таким образом, речь идет не о сокращении, а об увеличении различия. Подобное усиление отклонений или подобная положительная обратная связь ставит совершенно иные проблемы, нежели отрицательная обратная связь. Здесь речь идет не о стабильности системы, не о поддержании стабильности определенных показателей, а об изменении системы, причем в специфических направлениях. На этом пути очень скоро сталкиваешься с вопросом, до какой степени можно увеличивать определенные различия, чтобы система при этом не подвергала

15 См., например: Maruyama Magoroh. The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual Casual Processes // American Scientist 51 (1963). P. 164-179 и 250A-256A.

опасности саму себя. Или этот вопрос можно сформулировать по-другому: если есть механизмы положительного усиления отклонений, до какой степени мы можем позволить им развиваться, чтобы при этом не попасть в затруднительное положение? Я полагаю, этот вопрос вряд ли нуждается в объяснении ввиду определенных экологических проблем современного общества. Но можно задать аналогичный вопрос и в отношении проблем внутри общества: как долго можно увеличивать определенные расходы в рамках политической программы государства всеобщего благосостояния и тратить на эти цели все большую часть национального дохода? Дискуссия о положительной обратной связи обращает внимание на вопрос о том, до какой степени можно увеличивать определенные переменные, если эти переменные по-прежнему являются лишь переменными среди других переменных. Как долго еще может возрастать число людей, поступающих в вузы? Как долго еще может возрастать число чиновников? Как долго может продолжаться рост населения? И так далее. Вопрос заключается в том, располагает ли система механизмами торможения или возможен лишь катастрофический сценарий развития, блокирующий однажды запущенную положительную обратную связь, однажды запущенную тенденцию к усилению отклонений.

Другое, тоже важное применение эта идея положительной обратной связи находит в контексте эволюционной теории. Здесь с помощью механизма усиления отклонений можно объяснить, как из зародышей незначительных, как бы случайных явлений получают большие значимые результаты, которые постепенно закладывают структуры определенной системы и впоследствии являются уже исторически необратимыми. Почему, например, мы видим Мехико-Сити в том относительно неблагоприятном месте, где сейчас расположен Мехико-Сити? Почему город с 20 миллионами жителей расположен там, где по климатическим условиям, с точки зрения транспортного сообщения, почвы и по многим другим причинам нецелесообразно строить город? Может, причина в том, что ацтеки, переселяясь в эту местность, обнаружили необитаемый остров, на котором и обосновались? Может, причина в том, что испанцы обнаружили там уже сформировавшуюся культуру и центр власти, который они могли захватить и подчинить своим целям? Может, причи-

на в том, что испанская империя была вынуждена опираться на центры такого рода? И так далее, и так далее.

Эта теория не дает прогнозов. Она не объясняет, почему Мехико-Сити расположен на месте Мехико Сити; она лишь объясняет, почему происходит так, что развитие в определенных направлениях осуществляется именно благодаря механизму самоусиления и не может контролироваться из перспективы последствий или целесообразности. В отличие от классической теории эволюции, здесь появляется момент скептицизма. Правда, здесь тоже говорят об «аттракторах», когда хотят показать, что определенные состояния системы обладают способностью притягивать последующие изменения и что если исходить из определенного состояния системы, оно усиливается, становится как бы неизбежным, но здесь у аттракторов уже не положительный смысл; они являются скорее опасными факторами или, по крайней мере, такими факторами, которые нельзя упускать из виду, если у вас вообще есть возможность контролировать эволюцию.

Мое изложение генерализирующих тенденций, которые в 1950-е гг. были объединены или должны были быть объединены в общую системную теорию, подошло к концу. Я надеюсь, что сумел показать, каким перспективным, каким многообещающим, но вместе с тем каким ограниченным был этот инструментарий. То, о чем я рассказал, относится в общем и целом к 1950-1960-м годам. После того как стало ясно, что из этого получится, а чего не получится, это привело к серьезной критике всей системной теории. У этой критики были также идеологические корни. Она была направлена на якобы существующую связь, во-первых, между системой и техникой, системой и механикой и, во-вторых, между системой и предпочтениями стабильности. Мне кажется, я ясно показал, что эта критика не всегда оправданна. Наверное, следовало бы сказать, что ее логика понятна, но по сути она не обоснованна. Однако если мы хотим дать оценку критике, было бы неправильно со своей стороны наблюдать ее объект. В этом отношении гораздо полезнее наблюдать самих критиков, чтобы понять, какие системы практикуют подобную критику. Но, говоря о наблюдении наблюдателей, я забегаю вперед.

Для начала я хотел подвести некоторые итоги и показать, что в рамках этого направления развития вырисовались опреде-

ленные границы и вопросы, так и оставшиеся без ответа. Один такой вопрос касается того, что подразумевается под понятием «система». Когда говорят об открытых системах, т.е. о преобразующих механизмах, о возможности преобразования «входа» в «выход», о возможности с помощью кибернетических механизмов поддерживать постоянную величину некоторых переменных или контролировать их равномерное изменение, то при этом практически ничего не сказано о том, что есть система, способная делать то, что она делает. Этот пробел не удалось по-настоящему заполнить и путем обращения к математическим функциям, уравнениям или техническим ухищрениям, в частности, в сфере кибернетических инфраструктур. Этот способ не оправдал надежд прежде всего социологов: общая системная теория не была приспособлена для того, чтобы ее можно было применить в социологии к теории социальных систем, не говоря уже о теории общества. Были важные и непреходящие прозрения о способе функционирования систем, но не было ответа на вопрос, что есть система, способная делать то, что она делает. Что лежит в ее основе? С этого вопроса начинается последующее развитие системной теории практически во всех направлениях.

В этой и в последующих лекциях я попытаюсь, отталкиваясь от этого вопроса, более точно описать, что подразумевается под понятием системы. Здесь есть как минимум два момента, к которым я хочу вернуться и рассмотреть их более подробно. Первый момент касается смещения акцента с вопроса о системе как объекте к вопросу о том, как осуществляется различие (дифференция) между системой и окружающим миром, когда система располагается на одной стороне этого различия, а окружающий мир — на другой. Как возможно воспроизводство и поддержание различия такого рода и, может быть, даже эволюционное развитие, в результате которого постоянно увеличивается внутренняя комплексность системы, т.е. развитие одной стороны этого различия? Другой момент касается вопроса о том, как системы воспроизводят такие различия или какой способ оперирования лежит в основе этого воспроизводства? На этот вопрос ответила теория закрытых систем. На первый взгляд это выглядит так, как будто теория открытых систем деградировала, и ученые снова вернулись к началу. Но это не так. Речь

здесь идет о том (чуть позже я объясню это более подробно), чтобы рассматривать закрытость, оперативную рекурсивность, самореференцию и циркулярность как условия открытости, т.е. задавать более конкретный вопрос: как система ссылается на саму себя? Как она может различать саму себя и окружающий мир, так чтобы посредством этого различения ее собственные операции могли соединяться друг с другом?

Итак, из одного вопроса, что такое открытая система, получилось два вопроса. Это, во-первых, вопрос о том, как производится и воспроизводится различие между системой и окружающим миром, и, во-вторых, вопрос о том, какой тип операции делает это и каким образом эти операции могут быть объединены в сеть внутри системы. Как тип оперирования может, находясь внутри системы, определять, что некоторые операции относятся к системе, а другие – нет? В конце 1960-х гг. этот вопрос стал значимым, например, для иммунологии – теории иммунной системы.

Вопрос о том, как система распознает, что та или иная операция относится к системе, а не к окружающему миру, указывает на еще одно критическое замечание, которое тоже послужило отправной точкой для дальнейшего развития. Речь идет о наблюдении или об умении различать. Вопрос в том, следует ли в целом или, по крайней мере, для определенных систем предполагать, что они имеют в своем распоряжении операции, которые могут наблюдать – если понимать наблюдение в самом общем смысле как умение различать. Нужно ли предполагать наличие у системы способности наблюдения, и какого рода операции выполняют эту функцию в системе? В непосредственной связи с этими вопросами возник другой вопрос: могут ли внутри системы, в результате процессов дифференциации, появиться наблюдатели, которые наблюдают саму систему, которые еще раз проводят границу внутри системы и могут провести различие между собой и тем, что они наблюдают, т.е. системой. Например, нервная система, по-видимому, может проводить различие между собой и организмом, который она наблюдает. Существуют ли более крупные системы, которые в ходе дифференциации выделяют внутри себя функцию наблюдения, чтобы повысить свои способности в отношениях с окружающим миром? Есть ли биологическая, психологическая, социологичес-

кая реализация таких систем? Каким был бы, например, наблюдатель социальной системы, если подразумевается не только то, что каждая отдельная операция, каждое отдельное действие, каждая коммуникация должна знать, что она делает, т.е. должна актуализировать свою когнитивную способность, но если, кроме того, представить себе, что есть особые рефлексивные инстанции, рефлектирующие единицы, которые, будучи частью системы, обладают большей способностью рефлексии, чем система в целом? Такова новая постановка вопросов. И свои последующие рассуждения, а также использование системной теории для социологических целей я постараюсь основывать на теоретических концепциях этого типа.

Однако сначала, наверное, имеет смысл еще раз обратиться к развитию системной теории в 1950-1960-е гг., чтобы посмотреть, как эту проблему решила бы теория наблюдателя. Мне кажется, что тогда в ученом или в науке видели внешнего наблюдателя, обладающего когнитивной способностью, некоего субъекта или некий научно-исследовательский контекст вне систем, которые он рассматривает. Наука была феноменом, расположенным где-то за пределами систем, так сказать, субъектом по преимуществу, который сам должен был решать, какие аспекты реальности он будет рассматривать как систему, а какие – нет. Это можно увидеть на примере столь важного прежде различения между «аналитическим» и «конкретным» понятиями системы. «Аналитической» является такая системная теория, которая позволяет самому системному теоретику как внешнему наблюдателю решать, что он считает системой, а что – окружающим миром. Он решает, какие аспекты реальности он объединит в систему, а какие аспекты исключит, или, другими словами, где он проведет границы системы. И наоборот, «конкретной» системная теория считалась в том случае, если она исходила из того, что системы формируются в самой реальности, а системный теоретик должен описать эти системы такими, какие они есть.

За этим различением стоят эпистемологические опции. Всякая теория познания, имеющая трансцендентально-теоретическую основу, т.е. предполагающая, что любое познание фильтруется и определяется понятиями познающего субъекта, автоматически «скатывается» к опции «Аналитическая систем-

ная теория». Так думают те, кто уже изучал эпистемологию и методологию науки; они знают, что все, что мы видим, определяется в том числе точкой зрения наблюдателя, и поэтому не склонны верить в то, что нечто подобное системам существует в реальности до того, как их наблюдают, и трактуют понятие системы как конструкт системного теоретика. С другой стороны, в повседневной научной практике эпистемологическая рефлексия такого рода встречается нечасто. Обычно ученый исходит из того, что то, что он исследует, существует и тогда, когда он это не исследует. Например, политическая система, организм или нервная система, согласно этому представлению, существуют и обладают свойствами, которые позволяют назвать их системами, еще до того, как начинается исследование, и они продолжают существовать после того, как исследование завершено.

Между этими двумя вариантами теорий наблюдателя сложно сделать выбор, поскольку оба они в равной степени предполагают, что наблюдатель находится вне системы. Против аналитической теории можно возразить, что нельзя просто так предоставить аналитику свободу самому решать, какие элементы он объединит в понятие системы. В утверждении, что все стаканы с белым вином образуют одну систему, а стаканы с красным вином – другую, мало смысла. Для этих целей достаточно концепций, основанных на теории множеств. По-видимому, не так много смысла и в утверждении, что все женщины – это одна система, а все мужчины – это другая система, или что все дети, вероятно, образуют третью систему. Системная теория должна задавать ограничения, критерии, должна указывать, при каких условиях реальность должна называться системой. Но если кто-нибудь спросит об этих критериях, он сразу же столкнется с проблемой, поскольку выбор этих критериев оправдывается целями познания. Нужно пытаться вступить в контакт с реальностью. По крайней мере, так это выглядит, если вводить наблюдателя как некое внешнее существо. Аналогичным образом теорию конкретных систем можно критиковать в связи с тем, что она не отдает себе должного отчета в том, как сильно ее собственное видение влияет на само явление, которое она описывает как конкретное, существующее, данное в действительности. На этом уровне спор между аналитической и конкретной системными теориями кажется неразрешимым. Вопрос в том,

не лежит ли в их основе какая-то общая ошибка, что означало бы, что и в том, и в другом случае необходима некоторая корректировка.

Я хотел бы объяснить эту необходимость в корректировке или эту ошибку в двух аспектах. Первый касается вопроса, можно ли исходить из того, что есть некий внешний наблюдатель, если мы говорим о физических, химических, биологических, психических, когнитивных или социальных системах. Не является ли этот наблюдатель изначально физически, химически, биологически и т.д. обусловленным существом? Существует ли он вообще как внеземной, трансцендентный субъект? Или скорее следовало бы предположить, что он участвует в мире, который он наблюдает, во всех его существенных аспектах? Он должен функционировать физически, жить, иметь когнитивный аппарат, память и так далее, должен принимать участие в науке, в обществе, коммуницировать, подчиняться или каким-то образом приспосабливаться к характерным особенностям СМИ, прессы, издательств и так далее. Поэтому первый вопрос, который интересует прежде всего социологов, звучит так: есть ли разница между объектом и субъектом, между предметом наблюдения и наблюдателем, что не была бы уже изначально задана их общей оперативной основой? Или, другими словами, может быть, сам наблюдатель только и устанавливает эту разницу между наблюдателем и объектом наблюдения? Или, другими словами, может быть, следовало бы задаться вопросом, как мир делает так, что он может наблюдать сам себя, что он сам распадается в различие наблюдателя и наблюдаемое?

Задавая такого рода вопросы, мы снова приходим к последним тенденциям развития системной теории, к тем разработкам в области физики, которые были сделаны после того, как ученые поняли, что любое наблюдение физических явлений по физическим причинам изменяет эти явления и что наблюдатель, если он вообще хочет иметь возможность наблюдать, должен функционировать в физическом смысле и как человек, и как инструмент. Мы неизбежно приходим к тому, что по этому поводу сказали бы в биологической эпистемологии: что когнитивный аппарат должен быть, во-первых, обеспечен фактом существования живых организмов, что затем уже жизнь должна порождать своего рода когницию окружающего мира и что

все явления, которые мы в качестве живых существ когнитивно познаем, обусловлены в том числе тем фактом, что мы живем.

Это одна разновидность критики классического различения аналитического и конкретного. Такая критика в новом круге рефлексии приводит дифференцию к своеобразной оперативной непрерывности, которая разрывается лишь искусственной цезурой между наблюдателем и наблюдаемым в мире – цезура, которая должна функционировать сообразно физическим, химическим, коммуникативным или какими бы то ни было другим обусловленностям реальности.

Второй вопрос, напрямую связанный с первым, касается непосредственно системной теории: как представить себе наблюдение, если не рассматривать самого наблюдателя как систему? Как осуществится некий когнитивный контекст, некая память, некое ограничение перспектив, ограниченный интерес, ограниченная способность присоединения последующих когнитивных операций, если не мыслить самого наблюдателя как систему? Например, с психологической точки зрения обоснован вопрос, почему субъект не должен быть системой или, другими словами, как можно мыслить субъект, не имея перед глазами систематичность его операций. Классический трансцендентально-теоретический ответ гласит, что нужно различать между данными *a priori* условиями опыта, которые одинаковы у всех субъектов, и эмпирической реализацией, которая различна у разных субъектов. Но это не освобождает нас от вопроса, как эмпирически реализованный индивидуальный объект сам отмежевывается от своих наблюдений. И также не освобождает нас от сомнений насчет того, можно ли вообще дедуктивным способом вывести из трансцендентально-теоретических априори то, что наблюдается в каждом конкретном случае.

Это тем более верно, когда в качестве наблюдателя мыслится наука. Как можно думать, что наука может наблюдать, сама не будучи системой, системой с разветвленной сетью коммуникаций, системой с определенными институциональными регуляторами, системой с определенными ценностными предпочтениями, системой с индивидуальными карьерами, системой с социальной зависимостью? Нет необходимости более подробно объяснять это в аудитории, состоящей преимущественно из социологов. Но если это так, если наблюдатель сам всегда являет-

ся системой, то все то, что он приписывает системе – не только понятийный аппарат, но и эмпирические результаты его исследований – вынуждает его на этом основании делать выводы о себе самом. Он никак не может действовать чисто аналитически, если он сам всегда должен быть конкретной системой, чтобы иметь возможность действовать таким образом. Различие между аналитическим и конкретным понятиями системы в определенной степени стирается или даже полностью снимается, если помнить об этом принуждении к автологическим выводам – «автологическим» в том смысле, что в отношении меня самого верно то, что верно в отношении моего объекта.

[Разрыв магнитофонной ленты. В этом месте Луман, по-видимому, описывает тот исследовательский комплекс, в котором впервые возник вопрос о наблюдателе и была разработана теория наблюдающих систем. Он рассказывает о Хайнце фон Фёрстере, инженере и физике из Вены, который вскоре после Второй мировой войны эмигрировал в США и там с 1956 по 1972 г. руководил Лабораторией биологических компьютеров в Иллинойском университете. По приглашению Фёрстера в лаборатории проводили исследования почти все ведущие разработчики этой теории. Кроме того, он руководил одним из первых центров по испытанию и развитию так называемых когнитивных наук на стыке биологии, нейрофизиологии, математики, философии, музыки, хореографии и других искусств¹⁶. (Дополнение редактора – Д. Б.).]

Затем следует, наверное, назвать Готтхарда Гюнтера. Готтхард Гюнтер – философ. Немец по происхождению, он эмигрировал в США, где ему было довольно сложно найти свое место в науке. Истоки его теории – это Гегель, диалектика, проблемы рефлексии, субъективности, а в контексте американской жизни – проблема объединения диалектики и кибернетики, имеющей более выраженную операциональную направленность¹⁷. Готтхард Гюнтер внес значительный вклад в изучение вопроса,

16 См. Foerster Heinz von. *Observing Systems*. Seaside, CA: 1981; Foerster Heinz von. *Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. О работе Лаборатории биологических компьютеров см. von Foerster Heinz (Ed.) *Cybernetics of Cybernetics: The Control of Control and the Communication of Communication*. Reprint Minneapolis: Future Systems, 1995.

17 См. Gotthard Günther. *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*. 3 Bde. Hamburg: Meiner, 1976, 1977, 1980.

какого рода логика необходима для описания ситуаций, в которых взаимодействуют несколько субъектов, т.е. несколько независимых когнитивных центров. Довольно просто представить, как на этом основании мог стать актуальным вопрос о наблюдении наблюдателей.

Другим ученым, который время от времени принимал участие в исследованиях Лаборатории, был Умберто Матурана¹⁸. Он хотел создать такую биологическую теорию, которая бы поместила цикличность воспроизводства жизни в центр эпистемологической, т.е. когнитивной теории. Ключевое слово здесь — это «аутопойесис», что означает самовоспроизводство жизни с помощью элементов, произведенных в самой живой системе. Я еще вернусь к этой мысли, чтобы рассмотреть ее более подробно. Пока же речь идет лишь о том, чтобы описать те области взаимодействия, которые привели к очень плодотворному дальнейшему развитию.

И, наконец, следует упомянуть Джорджа Спенсера Брауна¹⁹. Насколько я знаю, он никогда не был членом этой исследовательской команды, но он был тем, чья принципиально важная книга «Законы форм» (Laws of Form) 1969 г. была сразу же высоко оценена Хайнцем фон Фёрстером, о чем он и написал в своей комплиментарной рецензии²⁰. И, вне всякого сомнения, именно он оказал решающее влияние на то, что системная теория сконцентрировалась на теории наблюдающих систем. Это связано прежде всего с тем, что он предложил математическую теорию исчисления форм, которая основывается на понятии различения.

В этом описании дискуссий, построенном преимущественно на характеристиках отдельных ученых и институтов, пока сложно без дополнительных объяснений разглядеть то, что можно было бы назвать общей системной теорией, но все-таки

18 См. собрание сочинений Умберто Матураны, которые оказали решающее влияние на Лумана: Maturana Humberto R. Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit: Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie. Braunschweig: Vieweg. 1982. Уже после смерти Лумана в свет вышла книга: Maturana Humberto R. Biologie der Realität. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 2000.

19 См. Spencer Brown G. Laws of Form. New York: Julian, 1972.

20 См. Foerster Heinz von. Laws of Form // Whole Earth Catalog. Spring 1969. P. 14.

уже можно увидеть, что системная теория в некотором смысле начинает реагировать на свое историческое положение и, следовательно, на то, что скрывается за ее названием. Системная теория стала неким самонаблюдающим, аутопойетическим, рекурсивным механизмом или, если угодно, системой, которая демонстрирует собственную интеллектуальную динамику. И, на мой взгляд, эта динамика относится к самым интересным и чарующим явлениям, которые мы сегодня видим в условиях очень проблематичной ситуации так называемого постмодернизма. На этом основании я собираюсь раскрыть дальнейшее развитие концепта общей теории.

2. Система как различие (анализ форм)

Четвертая лекция

Я начну с самой важной и, на мой взгляд, наиболее абстрактной части лекции, а именно с дифференциалистского подхода или теории различия (дифференции). Мы уже видели в случае теории открытых систем, что окружающий мир чаще оказывается в центре внимания, чем прежде. Это касается не только знания о том, что она существует, но и понимания, что сама открытая система основывается на отношениях между системой и средой и что эти отношения не статичны, а динамичны, являясь как бы каналами осуществления каузальности. Уже с этих позиций было ясно, что ни одна система не может существовать без окружающего мира. Система достигла бы состояния энтропии или вообще не реализовалась, потому что в момент возникновения она тотчас же распалась бы, достигнув состояния лишнего различий равновесия.

Парсонс уже писал о «поддержании границ», («boundary maintenance») тем самым смещая акцент с вопроса об определении системы через сущность, *essentials*, через ее неотъемлемые структуры к вопросу о том, каким образом различие между системой и окружающим миром может сохраняться в условиях одновременной смены структур. В таком случае для идентичности системы необходима только непрерывность, а не наименьшие, сущностные элементы на структурном уровне. Это было важно в первую очередь потому, что при переходе от биологической модели к вопросам теории общества нельзя было рассчитывать на критерий смерти и приходилось допускать непрерывность в развитии самых разных обществ, т.е. допускать структурное развитие, не укладывающееся в те критерии, на основе которых дается историческая характеристика или типологизация различных обществ. Уже на этом этапе упрек в консерватизме, выдвигаемый на структурном уровне, становится бессмысленным.

Что еще можно к этому добавить? Что изменилось по сравнению с той ситуацией, которая была достигнута к концу 1950-х – началу 1960-х гг.? По моему мнению, изменение заключалось в более радикальной формулировке. Теперь можно сказать: система «есть» различие между системой и окружающим миром.

Вы увидите, что эта формулировка, которая звучит парадоксально, а, возможно, таковой и является, нуждается в некоторых объяснениях. Итак, я исхожу из того, что система «есть» различие между системой и окружающим миром. В этой формулировке система упоминается дважды. К этой странности мы еще вернемся обходным путем, а пока скажем только, что в основе этой формулировки лежит дифференциалистский подход или подход теории различия (дифференции).

Теория, если она хочет быть системной теорией, начинается с различия, с различия системы и окружающего мира. Если она хочет быть какой-либо другой теорией, она должна положить в основу какое-нибудь другое различие. Итак, она начинается не с целостности, космологии, понятия мира, понятия бытия и тому подобного, а она начинается с различия. Этот подход имеет как минимум столетнюю историю. Я хочу назвать лишь нескольких его предшественников, чтобы вы увидели, что эта идея не возникла в 1970-м или 1980-м гг., но что ее в некотором роде «оживили» различные попытки более радикального, чем прежде, задействования понятий. Идея дифференции, различий, греческого *diapherein* всегда существовала, но это была ограниченная сфера, нечто среди многого другого. Как теология, так и онтология работали с понятием бытия. Около 1900 г. это становится проблематичным.

Один из предшественников этой теории – Фердинанд де Соссюр, лингвист, который в своих лекциях, опубликованных лишь после его смерти, отстаивал тезис, что язык дан в виде различия между разными словами или разными высказываниями, и сам по себе не может быть представлен в виде различия между словами и вещами, как это было в классической семиологии или семиотике (в зависимости от того, используем мы французский или англо-американский термин).²¹ Язык функционирует, потому что он, как язык, может, например, провести различие между словом «профессор» и словом «студент». При этом неважно, есть ли в реальности какие-нибудь различия меж-

21 См. Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. Публикация Шарля Балли и Альбера Сеше [1916 (Рус. пер.: Соссюр, Фердинанд де. Курс общей лингвистики. М., 1933)]; критическое издание Туллио де Мауро – Paris: Payot, 1972. [Ср. изд. проф. Н. Слюсаревой.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1998]

ду этими двумя экземплярами, обозначенными соответствующим образом. Используя язык, мы должны различать профессора и студента. Есть ли между ними помимо этого еще разница в возрасте, в стиле одежды, в смелости и готовности вести себя не так, как все, и так далее — это уже другой вопрос. Пока язык может провести только это различие, а различие между словами — это как раз тот инструмент, который поддерживает язык в рабочем состоянии и с помощью которого регулируется возможность последующих высказываний. Вопрос о том, существуют ли такие различия в действительности, может оставаться открытым. Конечно, не признавая того, что существует нечто, что можно обозначить тем или иным словом, никто бы, наверное, вообще не начал говорить, но для хода речевого действия, речевого процесса или, как мы будем говорить в дальнейшем, коммуникации решающее значение имеет различие внутри самого языка. Это различие отделено от проблемы референции, т.е. от того, о чем мы хотим говорить.

Эта проблема референции постепенно стала осознаваться все отчетливее, и особую роль в этом сыграла французская традиция. Становилось все очевиднее, что означаемое нельзя знать иначе, чем так, как оно представлено в языке, что без языка его не сделать доступным и поэтому им нельзя пренебрегать в теории языка. Это привело к развитию преимущественно структуралистских теорий об использовании знаков и о языке.

В это же время в социологии тоже высказывались похожие идеи, причем опять-таки во Франции, а именно французским социологом Габриелем Тардом. Я не знаю, встречалось ли вам имя Габриеля Тарда в обязательных курсах по истории социологии или по классике социологии. Классики у нас обычно представлены очень выборочно. Некоторые из них считаются очень значимыми, других, наоборот, игнорируют или недооценивают. Габриель Тард сегодня мало известен как во Франции, так и в Германии. Но он важен по крайней мере по одной причине. Он разработал теорию подражания, теорию распространения и консолидации социальности через подражание и при этом тоже начинал не с единства, а с различия²². Ведь если кто-то кому-то подражает, то для этого по меньшей мере должен быть

22 См. Tarde Gabriel. Les lois de l'imitation: Étude sociologique. Paris: Alcan, 1985. [Рус. пер.: Тард Г. Законы подражания. СПб, 1892]

кто-то другой. Невозможно постоянно подражать самому себе, хотя некоторые и умудряются так поступать, в особенности в области искусства. Но тогда ты сам для себя кто-то другой, кто нарисовал картину и настолько ею восхищен, что хочет еще раз создать нечто подобное. Во всяком случае, предполагается различие, и в книге «Законы подражания» 1890-го года на основе этого допущения разработана завершенная социальная теория.

Сегодня нечто подобное можно найти у Рене Жирара²³, хотя я не знаю, ссылается ли он на Тарда. Здесь тоже исходным пунктом является конфликт подражания. Человек вступает в конфликт с тем, кому он хочет подражать. Само по себе копирование — вполне дружеский жест. Считается, что подражают прежде всего тому, кем восхищаются. Но если блага на Земле ограничены, тем более если мало красивых желанных женщин, и кто-то начинает подражать тому, кто в своих желаниях, в своем вождлении, своим *désir* нацелен на что-то конкретное, то эти двое становятся конкурентами, и возникает конфликт. Теория Рене Жирара занимается вопросом о том, что нужно, чтобы преобразовать эти конфликты в социальный порядок. Речь может идти, например, об искупительной жертве, о «козле отпущения». Не вдаваясь в подробности, я хочу на отдельных примерах показать, что существует традиция, согласно которой за отпущенную точку берется различие, а вопрос о том, что получается из этого различия, становится проблемой объяснения социального порядка.

Теория информации сегодня тоже часто строится как теория различия. Истоки этого лежат в ставшей уже классической формулировке Грегори Бейтсона, что информация есть «различие, делающее различие» — *a difference that makes difference*²⁴. Информация является информацией, если это не просто имеющееся различие, но если система, реагируя на нее, изменяет

23 См. прежде всего: Girard René. Das Heilige und die Gewalt. Zürich: Benziger, 1987. [Рус. пер.: Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000]

24 Другой вариант перевода этого выражения — «небезразличное различие». См. Bateson Gregory. Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. [Рус. пер.: Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2006]

свое состояние, т.е. если восприятие различия – или нечто иное, в зависимости от того, как мы представляем себе «вход» – порождает различие в самой системе. Положим, кто-то о чем-то не знал. Потом этот человек получает информацию, сообщениие о том, что дела обстоят так, а не иначе; теперь он это знает; и тогда он уже вынужден согласовывать свои дальнейшие операции с этим знанием. *A difference that makes difference!* И в этом случае вопрос о том, как теория приходит к своему первому различию, остается открытым. Из различия исходят и примечательным образом к нему же и приходят. Весь процесс обработки информации располагается между исходным различием и различием, вытекающим из этого процесса. Появившееся различие может, в свою очередь, быть различием, которое запустит в ход дальнейшую информацию. Этот процесс протекает не от неопределенного единства к определенному, если можно таким образом перефразировать Гегеля, а от различия к различию.

Здесь дифференциалистский подход уже достигает такого уровня, что может войти в учебники. Существуют работы о состоянии философской дискуссии во Франции и тому подобном, в которых уже изначально предполагается знакомство читателей с данным подходом и его тезисы лишь повторно излагаются.²⁵ Это уже не эзотерическое знание, и в литературе его можно найти под рубрикой «теория различений». И в этой связи есть еще много вещей, о которых можно было бы сказать, но сейчас я хотел бы перейти к самой, на мой взгляд, радикальной форме дифференциалистского мышления, которая представлена в одной из работ Джорджа Спенсера Брауна.

Наверное, я сначала должен сказать, что вам будет сложно найти эту книгу – «Законы форм» – в библиотеке, потому что библиотекарши часто не знают, что Спенсер – это уже часть фамилии, и ставят книги Спенсера Брауна среди многочисленных Браунов, полагая, что Спенсер – его имя. Тогда, конечно, вы зря потратите время на поиски, если будете искать среди Браунов Спенсера Брауна. Лишь после того, как он сам это заметил и стал писать свою фамилию через черточку, проблема была решена для части его книг. Но на самом деле его зовут Джордж Спенсер Браун, фа-

²⁵ Descombes Vincent. *Das Selbe und das Andere: Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich 1933-1978*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Рус. пер.: Декомб В. Современная французская философия. М., 2000]

миллия пишется в два слова, и в библиотечный каталог его надо заносить под фамилией Спенсер – это на тот случай, если вам когда-нибудь придется составлять библиотечный каталог.

Текст книги представляет собой изложение исчислений. Спенсер Браун открыто заявляет, что речь здесь не идет о логике, поскольку под логикой он, по-видимому, подразумевает предложения, которые могут быть истинными. Это оперативное исчисление, т.е. такое исчисление, которое предполагает время на преобразование используемых знаков или знака, о чем я скоро расскажу. В содержательном плане речь здесь идет о том, что нас в данном случае не сильно интересует, а именно о попытке соединить двузначную схему булевой алгебры с арифметикой и при этом использовать только один-единственный знак («mark»). Это вот такой крючок, который я нарисовал на доске (Рис. 5).



Рис. 5. Угол «законов форм» Джорджа Спенсера Брауна.

Есть много примечаний, замечаний и комментариев к этому тезису, которые написаны на почти нормальном английском языке и вполне доступны для понимания. Однако суть его заключается в последовательности шагов по соединению знаков и их постепенному усложнению. Мне всегда легче – не знаю, так ли это у других – представлять себе сначала просто лист белой бумаги, на который затем наносятся знаки, которые затем приобретают своеобразную независимость. Один знак, потом еще знак, еще знак – так один за другим знаки последовательно копируются один с другого. Можно повторить первый знак, этот угол, и тогда мы получим первую форму (Рис. 6):

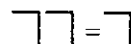


Рис. 6: «Закон наименования».

Однако знак можно нарисовать и внутри обозначенной границы, как бы снять ее, и тогда мы получаем вторую маркировку (Рис. 7):



Рис. 7: «Закон пересечения границы».

Здесь я хочу ввести еще одно параллельное рассуждение, основанное на сходной идее, но работающее с другим знаком – со стрелкой. Его автором является математик Луис Кауфман. Преимущество этого подхода в том, что с его помощью можно лучше изобразить самореференцию, при этом как бы загибая стрелку и замыкая ее в круг так, чтобы она указывала на саму себя (Рис. 8)²⁶:

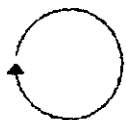


Рисунок 8: загнутая стрелка Луиса Кауфмана.

Когда мы только начинаем, у нас нет ничего, кроме стрелки, и Спенсер Браун сказал бы в этом случае: «Создадим еще одну стрелку! Скопируем стрелку со стрелки!» Луис Кауфман сказал бы: «Сначала стрелка должна указать на саму себя». Они оба включили в свою концепцию некую странность, которая потребует в дальнейшем нашего внимания. Дело в том, что их знаки состоят из двух частей. У Спенсера Брауна знак имеет одну вертикальную линию, т.е. разделяет две стороны, и одну горизонтальную линию, некий индикатор или указатель, который показывает на одну сторону и не показывает на другую. Он сознательно задуман как *один* знак, но при этом состоит из *двух* компонентов. Правда, если с этого начинать, то возникает вопрос, кто обозначает один, а не другой компонент, не имея для этого уже какой-то знак, с помощью которого он это делает. Приходится принимать это просто так, без каких-либо объяснений и считать уголок Спенсера Брауна единым знаком.

И только в ходе дальнейших исчислений может выясниться, что все было совсем не так просто, как задумывало начало, если оно тогда уже умело думать, в чем тоже есть сомнения. Способ обозначения, предложенный Кауфманом, обладает тем преимуществом, что наглядно показывает, что все рассуждение начинается с самореференции. Между самореференцией и различием (дифференцией), как это можно почерпнуть из его довольно загадочных формулировок, нет разницы. Или, если говорить на

26 Kaufmann Louis H. Self-Reference and Recursive Forms // Journal of Social and Biological Structure 10 (1987). P. 53-72.

языке, который я введу позже, нет разницы между самореференцией и наблюдением; ведь тот, кто что-то наблюдает, должен отличать себя самого от того, что он наблюдает. Чтобы отличать себя, он уже должен каким-то образом относиться к себе. Это фиксируется в форме окружности, а все остальное, в том числе математическая бесконечность, направленность процесса и тому подобное представляется как развитие самореференции. Здесь знак (в единственном числе) тоже состоит из двух частей: из тела (*body*), как пишет Кауфман, имея в виду длинную линию (т.е. здесь тоже нечто помещается в пространство), и указателя (*pointer*), который указывает направление (Рис. 9):



Рисунок 9: стрелка, тело и указатель.

Здесь все начинается с различия, но, поскольку его результат должен действовать как единство, само оно не может быть обозначено или названо, а просто есть, и все.

В логике, в математике, называйте это как угодно, в общем, в исчислении Спенсера Брауна это выражено в форме указания или предписания:

«Draw a distinction». Проведи различие, иначе вообще ничего не получится. Если ты не готов провести различие, то ничего и не произойдет. Это имеет интересный теологический аспект, который я здесь не хочу развивать²⁷, но все же замечу, что в теологии, которая представлена, например, в трудах Николая Кузанского, говорится: Богу нет нужды проводить различия. Очевидно, что творение есть не что иное, как указание: *Draw a distinction*. Небо и земля, затем человек и, наконец, даже Ева. Таким образом, творение – это навязывание различия, при том что Бог остается вне всяких различий. Здесь можно увидеть определенную связь с подходом Спенсера Брауна, но для его анализа она не имеет значения, так как он находится на земле, на твердой почве или, по крайней мере, на белом листе бумаги и отсюда начинает рекурсивное построение оперативных исчислений знаков по направлению к большей сложности.

Возвращаясь к двум аспектам одного знака и уточняя фор-

27 Luhmann Niklas. Die Unterscheidung Gottes // Luhmann Niklas. Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987. S. 236-253.

мулировку, Спенсер Браун утверждает, что разделение используется только для того, чтобы обозначить одну сторону, а не другую. Это выражается двумя терминами — «distinction» и «indication», которые я перевожу как различие (Unterscheidung) и обозначение (Bezeichnung). Для чего еще нужно проводить различие, как не для того, чтобы обозначить одно вместо другого? Различие — это граница, маркировка различия (Differenz). Тогда получается две стороны, но с тем условием, что обе эти стороны нельзя использовать одновременно, иначе различие теряет смысл. Если хотят провести различие между мужчинами и женщинами, то, наверное, следует спросить: «Это мужчина или женщина?» И если на это ответят: «Это микрофон», то тогда в различии нет необходимости. А если хотят смешать две стороны, то это тоже можно сделать, введя новый термин, который, в свою очередь, можно отличить от других сторон. Например, в данном случае это будет термин «гермафродит».

В принципе любое различие состоит из двух компонентов, а именно из самого различия (вертикальный отрезок) и обозначения (горизонтальный отрезок). Странно то, что различие содержит в себе различие и обозначение, т.е. различает различие и обозначение. Различие, если одно должно быть включено в операцию в качестве единства, всегда изначально предполагает различие в различии. Насколько я знаю дискуссию вокруг теории Спенсера Брауна, не совсем ясно, как это следует интерпретировать. Я сам понимаю его исчисление таким образом (хотя не вполне уверен, что мое понимание верное), что различие как бы извлекается из различия и в итоге становится очевидно, что в различии уже изначально было различие. В операции устанавливается единство, которое невозможно анализировать в момент начала операции. Лишь позднее, когда в исчисление введены возможности наблюдения, т.е. могут использоваться самореферентные фигуры, становится ясно, что уже с самого начала существовал скрытый парадокс — различие в различии.

Этого мне достаточно для изложения концепции Спенсера Брауна. Я не вдаюсь в детали самих исчислений. С технической точки зрения я никогда их по-настоящему не проверял. Эксперты говорят, что там все в порядке, что расчет гораздо элегантнее,

чем исходная математика, хотя при этом кое-что и теряется²⁸. Для нас — и я еще к этому вернусь — важна идея использования одного-единственного оператора. Что интересует меня лично и что будет интересовать нас в этой лекции, это приложение данной концепции к системной теории. Вы, наверное, уже догадались, что различие системы и среды может трактоваться как *distinction*, как дифференция. На указание «Проведи различие!» системный теоретик реагирует не каким угодно различием, а прежде всего различием системы и среды и при этом использует *pointer* и *indication* таким образом, что обозначенной становится система, а не среда. Среда остается снаружи. Система на одной стороне, а среда — на другой.

Чтобы объяснить дальнейшее применение этой идеи, я еще раз обращусь к Спенсеру Брауну, который называет эту разграничивающую линию, если она уже обозначена, «формой», и поэтому говорит о «законах форм». У формы две стороны. Это не только прекрасный образ или объект, который можно себе представить вне всякого контекста, но и вещь с двумя сторонами. Если мы хотим представить себе внеконтекстный объект, то это будет объект в «неразмеченном пространстве» («unmarked space»): знак, окружность или что-то еще на белом листе бумаги или нечто поддающееся определению в мире, в котором встречается нечто иное, что, однако, на данный момент не определено. Форма является двусторонней по своей сути; в нашем случае две стороны — это система и окружающий мир.

Это очень универсальная идея, и анализ форм может выходить далеко за рамки системной теории. С помощью этого инструментария можно было бы «обозначить» в общих чертах семиологию или семиотику, сказав, что на одной стороне «формы» находится знак, т.е. то, что нужно для обозначения чего-то, а на другой стороне — обозначаемое. Так мы подходим к трехчастной фигуре, которая играет большую роль у Пирса и других ученых²⁹. Если сформулировать это более точно, то знак — это различие между означающим и означаемым. По-немецки это звучит несколько тяжеловесно. На французском языке это будет

28 Правда, есть и критические отзывы. См. Cull Paul, Frank William. Flaws of Form // International Journal of General Systems 5 (1979). P. 201-211.

29 Peirce Charles S. Phänomen und Logik der Zeichen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983.

signifiant и *signifié*, и именно эти термины использует де Соссюр. Нечто обозначает нечто другое. В немецком языке мы склонны называть обозначающее, используемое в качестве знака, знаком. С помощью анализа форм можно увидеть, что знак – это форма с двумя сторонами, и что всякий раз, когда мы используем его как знак, мы должны перейти на внутреннюю сторону формы, т.е. на сторону означающего, *signifiant* и оперировать уже там. Таким образом, используя язык, мы допускаем, что слова обозначают нечто, что мы не знаем на все сто процентов.

Я полагаю, что с помощью этого очень общего понятия формы, которое мы можем отделить от его узко математического применения в работах Спенсера Брауна, можно было бы разработать универсальную теорию, которая выходила бы за рамки в том числе системной теории. Тогда мы имели бы дело с теорией двусторонних форм, которые могут использоваться только односторонне. Здесь я только укажу на это обстоятельство, потому что в нем заключена возможность еще раз релятивировать системно-теоретический подход, невзирая на его претензии на универсальность и на высокий уровень научности на данный момент (вспомните, сколько написано книг по системной теории), и задуматься над тем, нельзя ли разработать еще более универсальную теорию форм и потом применить ее к понятию числа и в целом в математике, семиотике, системной теории, к медиум/форма-различию между слабой и жесткой сопряженностью и ко многому другому. Но я пока ограничусь этим замечанием.

Вывод, который мы делаем отсюда для этой лекции, а значит, для системной теории, заключается в том, что «систему» можно назвать формой при условии, что понятием формы всегда будет обозначаться различие между системой и средой. Я повторяю этот тезис несколько раз, поскольку он не очень наглядный и его нужно просто запомнить. Судить о нем можно будет лишь тогда, когда будет понятно, что с его помощью можно сделать. Учитывая традицию открытых систем и дифференциалистских подходов самого разного рода, очевидно, что здесь можно достичь синтеза, который, вероятно, позволит включить в теорию знания из самых разных областей.

Итак, первое, что мы должны зафиксировать в рубрике «Применение к системной теории», это то, что система есть форма с двумя сторонами.

Второй стимул, который дает нам теория Спенсера Брауна, касается вопроса о том, есть ли смысл в определении системы, аналогично определению его исчислений, через одну-единственную операцию или тип операции. Если вы посмотрите на общепринятые описания и определения систем, то вы увидите, что этого не происходит. Как правило, системы описываются с помощью множества терминов. Например: системы – это отношения между элементами. Или: система есть соотношение структуры и процесса, единство, структурно управляющее самим собой в ходе внутренних процессов. Мы видим тут единство, границу, процесс, структуру, элемент, отношение, т.е. целую кучу терминов, и если спросить, что же их объединяет, то в конечном итоге это будет «и». Система – это *И-единство* (Undheit). Единство заключено в И, а не в элементе, структуре или отношении.

Вопрос в том, можно ли выйти из этого И-состояния в описании объекта «система». Я думаю, это возможно, если следовать радикально оперативному или операционалистскому подходу, т.е. если представить себе, что по сути есть только один тип операции, который создает систему при условии, что на это есть время. Дело не ограничивается событием, произошедшим единожды. Если вступает в действие операция определенного типа и если к ней могут, как я люблю говорить, подсоединиться другие подобные операции, т.е. если у нее есть преемники, если она получает продолжение в виде операций того же типа, то возникает система. Ведь когда операцию подсоединяют к операции, это происходит выборочно. Ничего, кроме этого, не происходит: *unmarked space* или среда остаются снаружи; система выстраивает себя как сцепление операций. Различие системы и среды возникает исключительно из того факта, что одна операция порождает следующую операцию того же типа.

Как это можно себе представить? Прежде всего я думаю, что таким образом можно хорошо описать биологию живых существ, если предварительно узнать из современных биохимических теорий, что жизнь есть однократное биохимическое изобретение. Это определенная циркулярная структура или, если использовать терминологию Матураны, аутопойесис, циркулярное самовоспроизводство. В один прекрасный день такая операция циркулярного типа была запущена – по причинам, ко-

которые уже неизвестны и которые можно установить, только уже будучи живым существом; затем в результате эволюции развилось многообразие форм этого типа операции, и вот теперь есть червяки, змеи, люди и всевозможные другие формы на базе по сути одного и того же — с точки зрения химии — типа операции. Что касается операции, то здесь гарантировано единство жизни в строгом смысле слова — при условии, что операция будет действовать системообразующе. Жизнь должна жить дальше; к жизни должна присоединяться жизнь; нельзя умирать сразу в момент рождения. Дополнительные изобретения, такие как разделение особей на два пола, центральная нервная система и прочее предполагают этот тип операции. Это, кстати, означает (и я еще вернусь к этому), что понятие аутопойесиса практически ничего не объясняет, кроме как раз этого запуска самореференции — операции, к которой могут быть подсоединены другие операции.

Эти идеи можно перенести на социальные системы, если удастся установить такую операцию, которая выполняла бы следующие условия: речь должна идти только об одной операции, это должна быть всегда одна и та же операция, к которой могут быть присоединены другие такие же операции. Таким образом, это то, что либо прекращается, либо продолжается посредством такой же операции. Я думаю, что у нас здесь не так уж много вариантов. По сути, только коммуникация представляется тем типом операции, который выполняет это условие: социальная система возникает, если из коммуникации развивается коммуникация. Мы не должны решать вопрос о первой коммуникации, так как вопрос «Что было первой коммуникацией?» возникает уже в коммуницирующей системе. Система всегда думает о своем начале из середины. Если она достигла достаточного уровня сложности, она может задать вопрос, как все начиналось. На него могут быть даны разные ответы, которые, однако, не мешают продолжению коммуникации, а, возможно, даже вдохновят его. Таким образом, вопросы о начале нас не интересуют, или, можно сказать, они интересуют нас как вопросы среди многих других вопросов.

В данной модели интересно то, что она обходится одним-единственным типом операции. При этом сейчас можно было бы много сказать о том, что подразумевается под «коммуни-

кацией», т.е. какое понятие «коммуникации» мы используем. Пока я хочу отложить этот вопрос. Значение понятия «коммуникация» равнозначно биохимическим данным о белках и так далее. Пока важно то, что есть шанс идентифицировать такой тип операции, который делает возможными все коммуникативные системы, сколь бы комплексными они ни становились в ходе эволюции общества, интеракции или организации. Все, что существует, основывается, согласно операциональному теоретическому подходу, на одном и том же базовом процессе, на одном и том же типе событий, т.е. на коммуникации.

Конечно, за использованием этого понятия коммуникации скрывается определенное намерение. Если мы дойдем до этого в ходе нашего курса, то в дальнейшем я хочу еще кое-что сказать о теории действия. Мы уже начали обсуждать этот вопрос в связи с Парсонсом. Я не думаю, что понятие действия годится для того, чтобы в нашем контексте заменить понятие коммуникации, потому что обычно оно предполагает актора, которому может быть приписано действие, и потому что его сложно сделать понятием, относящимся исключительно к социальной сфере. Действие имеет место и тогда, когда никто его не видит, когда никого нет рядом, когда человек не ждет реакции на свое действие, например, когда он наедине с самим собой чистит зубы. Он делает это лишь потому, что знает, что так нужно делать. Конечно, кто-то ему об этом сказал, кто-то поставил шетку в стакан, но в принципе можно себе представить действие как одиночную, индивидуальную, не вызывающую социального резонанса операцию, тогда как о коммуникации этого сказать нельзя. Коммуникация вообще происходит только тогда, когда кто-то, пусть в общих чертах, но понимает, возможно даже, понимает неправильно, но, во всяком случае, понимает настолько, что коммуникация может продолжаться, и это лежит за пределами того, что может быть гарантировано простым использованием языка. Кто-то должен находиться в пределах досягаемости, должен слышать или уметь читать.

Я еще раз резюмирую эти два момента. Первое высказывание касается анализа форм: система — это различие. Второе высказывание гласит: система нуждается только в одной-единственной операции, одном типе операций для того, чтобы, если она продолжается (и это «если», разумеется, тоже очень важно),

воспроизводить различие между системой и средой, воспроизводить коммуникацию посредством коммуникации.

Третий момент, который тоже восходит к Спенсеру Брауну, касается понятия «reentry», повторного вхождения формы в форму или различения в то, что различено. Я об этом не рассказывал подробно, когда излагал теорию Спенсера Брауна. Поэтому сейчас, задним числом, я дам несколько пояснений. Вы помните, что уже исходное указание — «*Draw distinction!*» или «Проведи различение!» — касается операции, состоящей из двух компонентов, а именно самого различения и обозначения одной из сторон, установки относительно того, где находится тот, кто проводит различение, где он должен продолжать различать. В различении уже предусмотрено различение. В терминологии Кауфмана оно уже скопировано в различение. По ходу развертывания исчислений Спенсер Браун, наконец, приходит к тому моменту, когда он эксплицирует эту посылку и представляет повторное вхождение формы в форму, или различения в различение, как теоретическую фигуру, которая не поддается математическому расчету, т.е. ее нельзя разрабатывать в форме арифметики или алгебры, но ввиду того, что определенные математические проблемы можно решить только с помощью этой фигуры, она является как бы одним из краеугольных камней всей системы. Это ведет к теории мнимых чисел.

На том уровне абстракции, который здесь необходим, нам, вероятно, будет сложно представить себе *reentry*, вхождение формы в форму. Спенсер Браун рисует в своей книге круги; при этом в качестве условия всегда предполагается наличие белой бумаги. Но как только мы переходим к теории социальных систем и можем предположить нормальный аппарат коммуникации, которая ведь тоже может быть коммуникацией о коммуникации, эта проблема перестает быть сложной и ситуация становится настолько прозрачной, что возникает вопрос, к чему вообще все эти теоретические усилия и сложности, если в итоге мы получаем то, что уже и так давно знали. Я еще вернусь к вопросу «Зачем?», так как он в некоторой мере связан с понятием парадоксальности. В данный момент я только хочу объяснить, что имеется в виду.

А в виду имеется то, что система может отличать себя от своей среды. Операция как таковая производит различие, и поэто-

му я здесь говорю о различии. Одна операция присоединяется к другой, потом добавляется третья, четвертая, пятая, потом к этому добавляется тематизация того, что было сказано до сих пор, и так далее. Все это происходит в системе. За ее пределами в это же время происходит что-то другое или не происходит ничего. Это мир, который имеет лишь ограниченное влияние на последствия коммуникации. Когда система должна принять решения или, скажем более осторожно, должна установить связь между коммуникацией и последующей коммуникацией, то она должна уметь выяснять, наблюдать, определять, что ей подходит, а что нет. Система, если она хочет контролировать свою способность подсоединения операций, должна иметь в своем распоряжении нечто, что мы для начала можем назвать самонаблюдением. Я еще вернусь к проблеме наблюдателя. Сложность заключается в том, что понятия взаимообуславливают друг друга, и я каждый раз вынужден исходить из чего-то, что смогу объяснить лишь позже. Это происходит в любом проекте подобного рода. Пока вам придется принять наблюдателя или наблюдение как нечто такое, что будет объяснено позже. Итак, система должна уметь контролировать свою способность к непрерывному присоединению операций. Во всяком случае, это касается системы, которая воспроизводит себя через коммуникацию. В первую очередь в случае вербальной коммуникации, но также при стандартизированном наборе знаков мы можем провести различие между тем, что является коммуникацией, а что ею не является. «Мы» в данном случае не обязательно означает отдельного индивида с его психической структурой; это тоже возможно, но вероятно также, что он в данный момент в мыслях далеко отсюда (*absent-minded*) и вообще не замечает, что происходит коммуникация.

Решающее значение здесь имеет то, что коммуникация сама проводит это различие между коммуникацией и некоммуникацией. Так, например, с помощью языковых средств можно отреагировать на то, что было что-то сказано и что обычно не приходится принимать во внимание возможность того, что будет оспорен сам факт говорения. Можно с головой увязнуть в сложностях интерпретации или выискивать лазейки в объяснении того, что, собственно говоря, имеется в виду, но коммуникация обладает рекурсивной гарантией того, что она может основыв-

ваться на коммуникации, а также может и должна ограничивать то, что может быть сказано в дальнейшем (то же самое относится к письменной коммуникации), и это дает ей возможность наблюдать различие между системой и окружающим миром, т.е. разделять самореференцию и внешнюю референцию. Это можно понять и по структуре коммуникации, так как коммуникация происходит только тогда, когда что-то сообщается, а именно, когда сообщается некая информация. Это уже два компонента. Кроме того, сообщение должно быть понято. Во-первых, можно сказать: о чем-то говорится. Рассматривается какая-то тема. Этой темой может быть сам говорящий. Он может сделать темой самого себя и сказать: «Вообще-то я хотел сказать нечто совершенно иное», или сделать информацией свое собственное душевное состояние: «Я больше не хочу, я прекращаю». Принципиальное значение имеет это деление на два компонента — сообщение и информацию. И коммуникация может продолжаться на одной или на другой стороне. Возможно два варианта: или темой коммуникации делают вопрос «Почему ты сообщил что-то, почему ты что-то сказал?» или вопрос «Может быть, ты врал?», т.е. или отталкиваются от сообщения, или отталкиваются от информации и коммуницируют о том, что было сказано.

Это показатель того, что в саму операцию всегда изначально встроено различие внешней референции через информацию и самореференции через сообщение. Это опять-таки объяснение общей темы «reentry»: система вступает в саму себя или копирует себя в саму себя. Коммуникация остается внутренней операцией. Она никогда не покидает систему, так как присоединение тоже предусмотрено внутри системы и должно происходить в системе. Я еще вернусь к этому в следующем разделе, посвященном операциональной или оперативной закрытости. Таким образом, необходимо различать между самореференцией в отношении того, что происходит в самой системе, и внешней референцией в отношении имеемых в виду внутренних или внешних, прошлых или нынешних состояний системы, различать сообщение и информацию.

Я полагаю, что таким образом можно убедительно показать также и при более подробном и обстоятельном рассмотрении, что в социальную систему, которая работает с этой операцией

«коммуникация», всегда уже встроено «reentry» и по-другому она вообще не могла бы функционировать. Внутренняя референция, самореференция и внешняя референция всегда происходят более или менее одновременно. Иначе говоря, система может в любой момент перейти с одной стороны на другую, но всегда только посредством внутренних операций. Этим объясняется различие между тем, что наблюдатель видит в качестве окружающего мира, и тем, с чем сама система обращается как с окружающим миром, совершая колебания между самореференцией и внешней референцией и выбирая на определенное время основные задачи в том или другом направлении, но при этом оставляя за собой возможность пересмотреть и изменить направление. Это также означает, что в зависимости от того, имеется ли в виду система, для которой нечто является окружающим миром (т.е. подразумевается внешняя референция определенной системы), или исходной точкой является внешний наблюдатель, для которого и система, и ее среда являются окружающим миром — в зависимости от этого мы имеем дело с тем или иным окружающим миром. Вполне вероятно, что внешний наблюдатель может видеть гораздо больше или нечто совершенно иное, чем то, что доступно самой системе. Кстати, биолог Якоб фон Икскюль³⁰ в своей области знания довольно рано пришел к пониманию того, что окружающий мир среда для животного — это не то, что мы бы описали как среду (Milieu) или окружение (Umgebung). Мы видим больше или, возможно, меньше, или что-то другое, нежели может воспринять и обработать животное. Таким образом, следует различать эти два понятия окружающего мира.

Пока я объяснил это только в отношении социальных систем, но теперь, снова забегая вперед, я хочу сделать экскурс в другую область и выдвинуть тезис о том, что и психические системы тоже работают с взаимосвязью между самореференцией и внешней референцией и что это можно продемонстрировать, не обладая обширными специальными знаниями, а четко представив это в терминах двухчастной формы, таких как внутренняя сторона, внешняя сторона, *reentry* и так далее. Эти те-

30 См. Uexküll Jakob Johann von. Theoretische Biologie. Berlin: Springer, 1928; Uexküll Jakob Johann von. Streifzüge von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten. Berlin: Springer, 1934.

оретические фигуры, эти понятия, без сомнения, подходят как для психических, так и для социальных систем.

В психологии и особенно в философии сознания долгое время это обсуждалось с точки зрения рефлексии. Существует психология самосознания (*self-awareness*). Изучаются вопросы формирования и сознания идентичности. Вы все это знаете из социально-психологической литературы – работ Джорджа Герберта Мида и других авторов³¹. Однако философская традиция изучения рефлексии гораздо старше и во многих отношениях, возможно, вразумительнее. Я хотел бы лишь коротко остановиться на трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля как, возможно, самом выдающемся примере. Согласно Гуссерлю, операции сознания могут происходить только в том случае, если они занимают феномены, т.е. направлены на какой-то феномен, независимо от того, каков внешний мир³². Внутри самого себя сознание занимается феноменами и одновременно самим собой. Терминология немного меняется. Так, «поэта» означает то, о чем думают, феномен, который себе представляют. «Noesis» означает подающийся рефлексии мыслительный процесс или сам процесс сознания, или же рефлексивность сознания и феноменальность мира, которым занимается сознание. Следующая характеристика – это «интенция» и «интенциональность» как сопряженные друг с другом процессы. От любой интенции можно перейти к дальнейшему исследованию феноменов или подумать: «Как это я сейчас размышляю, как это я сейчас занимаюсь тем, что, собственно говоря, делает мое сознание, когда у меня есть более насущные дела, например, я хочу есть или курить, а я вот сижу и занимаюсь феноменами?». И через эту рефлексию я прихожу к другому феномену – к бутерброду или к сигарете. Это строгое сопряжение. Сознание

31 См. Mead George H. Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968. [Рус. пер.: Мид Дж. Г. Разум, Я и общество (Главы из книги) // Социальные и гуманитарные науки (отечественная и зарубежная литература). РЖ, «Социология». 1997. № 4]

32 См. Husserl Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Einführung in die Phänomenologie. Husserliana Bd. III. Den Haag: Nijhoff, 1950. [Рус. пер.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1999]

никогда не может потеряться в окружающем мире, так чтобы не найти обратную дорогу к себе, и оно также не может в течение долгого времени заниматься лишь мыслью о том, что «я думаю, что я думаю, что я думаю», но в какой-то момент потребность в феномене становится очевидной.

Поэтому данная философия называется «трансцендентальной феноменологией». «Трансцендентальная» она потому, что, как утверждается, так дело обстоит во всех системах сознания или, другими словами, так должно быть у каждого субъекта, т.е. это характерно для субъективности как таковой, независимо от эмпирического разнообразия феноменов. Потому что людей много, и каждый думает о чем-то своем. Структура необязательно обеспечивается каким-то набором априори; она обеспечивается этой сопряженностью рефлексивности сознания и данности феноменов. Я считаю это точной теорией, т.е. такой теорией, которая в точности соответствует тому, к чему бы мы пришли, если бы хотели представить сознание с помощью системной теории, например, с помощью терминологии Спенсера Брауна. В этом случае мы пришли бы к аналогичным вопросам: как различие системы и окружающего мира повторно входит в систему? Происходит ли это вообще? Какова оперативная зависимость системы от *reentry*? Могла бы система оперировать без *reentry* – очевидно, нет – и в чем заключается ее своеобразная оперативная форма? У Гуссерля оперативная форма заключается в интенциональности, посредством которой проблема решается шаг за шагом, в каждый момент времени. Кроме того, на этих началах Гуссерль развивает четкое понимание значения времени. Любая операция работает с ретенцией, т.е. воспринимает боковым зрением то, что только что произошло, и с протекцией, т.е. предвосхищает то, что произойдет в ходе следующих двух-трех действий сознания. Так операция развивает вдохновленные опытом и теорией антиципации, своего рода долгосрочную память. И все-таки по сути сознание оперирует как бы в центре времени, поперек различия между самореференцией и внешней референцией.

Получается довольно сложное теоретическое построение. Если представить себе его во всей полноте, то можно увидеть, какими плоскими по сравнению с ним кажутся теории, которые сегодня разрабатываются под эгидой социальной феноменоло-

гии и могут сообщить нам только одно: «Тут что-то есть». В некотором смысле в качестве эмпирии здесь предлагается только «опыт здесь бывшего» (*Dagewesensein*). «Мы это видели и вот теперь описываем». Феноменология вдруг начала оправдывать дескриптивное отношение к объектам: «Это феномены, и поскольку мы их осознаем, значит, они должны где-то быть; точность описания феноменов оградит нас от возможного сомнения в их существовании — другие тоже могут пойти и посмотреть». Такое развитие, разумеется связано с переездом гуссерлевской феноменологии в США, но еще раньше с попыткой Альфреда Шютца создать единую теорию исходя из мотивационной структуры Макса Вебера и феноменологии Гуссерля³³. Можно было бы более точно проследить, что привело к подобному упрощению, но мы снова вернемся к системной теории сознания. Теперь нам лучше видно, какие фундаментальные теоретические решения лежат в основе феноменологии. У Гуссерля эти фундаментальные решения еще заметны как таковые, но его последователи их игнорируют, либо полагая как данность, либо считая, что они уже не представляют интереса.

Когда вы видите, что есть два случая, в которых функционирует это оперативное сопряжение самореференции и внешней референции, то, само собой, напрашивается вопрос, почему существуют только эти два случая и нет ли еще других. Можем ли мы обнаружить что-то подобное, например, в области биологии или хотя бы неврологии и нейрофизиологии? Я не хотел бы здесь связывать себя какими-то утверждениями, так как это потребовало бы точных знаний материала, но в общем позволил бы себе сказать, что различие мозга и сознания, или центральной нервной системы и феноменально представленного сознания заключается в том, что через сознание вводится различие внешней референции и самореференции. В своем сознании мы воображаем, что то, что мы воспринимаем, находится где-то вовне, тогда как в самом нейрофизиологическом процессе ничто не свидетельствует об этом, поскольку он действительно закрытый и чисто внутренний. И сознание тоже является внутренним благодаря сопряженности с самореференцией, причем

33 См. Schütz Alfred. *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: Eine Einleitung in die verstehende Soziologie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.

знает, что само оно является внутренним, и это хорошо, что оно является внутренним, потому что было бы ужасно, если бы любой мог забраться в сознание другого и надумать туда каких-нибудь своих мыслей или навоспринимать восприятий. Сознание также является закрытой системой, но его своеобразие, если использовать очень формальное описание, заключается, по-видимому, в переходе от чисто оперативной закрытости электрофизического языка нейрофизиологического аппарата к различию самореференции и внешней референции, так что само это центральное различие и конституирует сознание, разумеется, на основе нейрофизиологических коррелятов. Я не утверждаю, что сознание — это что-то такое, для чего уже не нужен мозг, но интересно то, что, возможно, мы имеем дело не просто с новой ступенью рефлексии, как это часто представляют, с научением научению или сопряжением сопряжения или с чем-то подобным, а с введением решающего различия.

Если оперативное управление самореференцией и внешней референцией действительно присуще определенной сфере реальности, то тогда можно было бы составить план относительно того, как можно связать это с понятием смысла. Пока я могу только указать на это, а в одной из последующих лекций курса я еще вернусь к понятию смысла. Пока для нас важно только то, что есть некоторые основания полагать, что в феноменологическом представлении мира или в информативных смысловых содержаниях коммуникации существуют образцы или структуры, которые мы воспринимаем как смысл и которые доступны как для сознания, так и для коммуникации, хотя и на абсолютно разной оперативной основе и с расхождениями, которые мы без специальных усилий, а просто исходя из языковых описаний мира не осознаем достаточно ясно. Мы пытаемся придать жесткости различию между системой сознания и социальными системами на оперативной основе и одновременно с этим утверждаем, что, несмотря на это, существуют соответствия, в частности в решающем, главном различии *иное/само* и в том, какие смысловые структуры из него следуют. Но пока я не хочу забегать слишком далеко вперед.

Есть еще один, четвертый пункт, которому мы должны посвятить хотя бы немного времени. Я уже упоминал о нем. Теоретический замысел Спенсера Брауна содержит хорошо за-

маскированный парадокс. Это *reentry* само по себе или, если сослаться на начало исчислений, на первое указание «Draw a distinction!», тот факт, что различие проводится и должно проводиться только для того, чтобы отличить одну сторону, так что в любом различии есть два компонента – *indication* и *distinction*, обозначение и различие. Различие содержит самое себя, но, очевидно, в очень специфической форме, как различие различия и обозначения, а не чего-то еще – большого и маленького или чего бы то там ни было, что можно было бы представить в качестве различия.

Соответственно, и повторное вхождение (*reentry*) формы в форму или различия в различие или различия системы и окружающего мира в систему тоже, по-видимому, следует понимать так, что дважды речь идет об одном и том же. Различие вступает в различное им. Повторное вхождение. То же ли это различие, каким оно было прежде? Есть ли тут еще то, что было прежде? Или первое различие исчезает и становится вторым? Ответ состоит в том, что здесь можно предположить наличие парадокса, что различие, которое повторно вступает в себя, есть то же самое и не то же самое одновременно и что в этом-то и заключается вся хитрость теории. Между двух столпов, парадоксальных самих по себе, создается чисто логическое – с точки зрения операций – пространство. Как это обычно бывает с парадоксами, их можно разрешить. Собственно говоря, в парадоксе мало смысла, если нет формулы разоблачения парадокса, формулы его решения. Я думаю, что в этом случае можно относительно просто разрешить парадокс через различие, которое проводит наблюдатель, который может различать, имеется ли в виду его различие системы и окружающего мира, – от какой-то другой системы или, если он рефлексивен, от его собственной системы в прошлом состоянии – или он говорит о различии, проводимом внутри системы. Наблюдатель может выступить дважды: как внешний наблюдатель, который видит, что какая-то другая система наблюдает саму себя, или как самонаблюдатель, т.е. как тот, кто наблюдает самого себя, соотносится с самим собой, говорит что-то о самом себе.

С помощью этого различия внешнего и внутреннего наблюдения можно разрешить – логики иногда говорят «развер-

нуть»³⁴ – данный парадокс, т.е. соотнести его с разными идентичностями и разными перспективами. С точки зрения логики, это сомнительный, небесспорный метод, но сами логики им постоянно пользуются, так что это не должно вызывать нареканий. Как правило, логики выделяют несколько уровней: если появляется парадокс, то чтобы его разрешить, нужно перейти на другой уровень. Правда, при этом не следует задавать вопрос, на каком едином основании различаются эти уровни. Парадокс раскладывается за счет того, что постулируется две идентичности, два уровня – метаяровень и низший уровень или внешний наблюдатель и самонаблюдатель, и потом это можно выдать за более или менее обоснованное решение. Или же парадокс используют для того, чтобы показать, какие феномены можно выявить с помощью этой стратегии решения и что дает такая теоретическая конструкция, которая различает между внутренним и внешним наблюдением.

Для социологического анализа, особенно на уровне теории общества, важно видеть всю эту генеалогию целиком: понятие формы, *reentry*, парадокс повторного вхождения, разрешение парадокса за счет различия наблюдателей. И теперь наступает, так сказать, наша очередь. Мы являемся внешними наблюдателями. Разумеется, мы знаем, что мы общественные существа, что мы живем в конкретную эпоху, получаем зарплату, надсемя на определенную пенсию и так далее, а еще читали книги, в которых другие уже написали большую часть того, что мы сами хотим написать. Разумеется, мы ведем общественное существование, но как социологи мы можем наблюдать общества так, как если бы находились вне его. Несмотря на тот факт, что мы сами коммуницируем с другими людьми, чтобы объяснить им это, мы можем сказать, что мы наблюдаем общество и видим, что общество представляется системой, которая описывает саму себя. У системы две стороны. С одной стороны, у системы есть внешние референции: она говорит не только о себе самой, но, как привило, о чем-то, что является не самой коммуникацией, а темой коммуникации. Я написал об этом в брошюре по экологической коммуникации, не упоминая об этой логической

34 Löfgren Lars. Unfoldment of Self-Reference in Logic and Computer Science // Jensen Finn V., Mayoh Brian H., Müller Karen K. (Eds.) Proceeding from 5th Scandinavian Logic Symposium, Aalborg, 17-19 January 1979. P. 205-229.

генеалогии³⁵. Я исходил из того, что экологическая коммуникация является именно коммуникацией об экологических вопросах и что социологическое описание коммуницирующей системы сводит беспокойство вокруг экологических проблем к коммуникативному феномену. «Мертвые рыбки по Рейну плывут». Это могли бы быть слова народной песни, но сегодня это сообщение об опасности. К чему приводит это сообщение об опасности, уже очевиднее. Есть определенные ожидания относительно подсоединения следующих коммуникаций, которые доступны для проспективно-манипулятивного использования. И тем не менее речь идет в первую очередь только о коммуникации. Что бы ни происходило в обществе, это все – коммуникация, и поэтому мы как социологи должны уметь различать, о чем, с одной стороны, говорят, пишут, сообщают в прессе и по радио и что, с другой стороны, происходит на самом деле, и видеть, что возможен выбор других тем.

Этим я ни в коем случае не хочу сказать, что выбор тем произволен и что с тем же успехом можно было бы делать что угодно еще. Я также не хочу сказать, что заикленность нынешнего общества на экологических темах – это чистая случайность, мода, которую выдумали журналисты. Нет, вовсе нет, но мы, конечно, должны понимать, по каким причинам наше общество внутри системы коммуникации ссылается на подобные факты и рассматривает эту тему как бы с особым предпочтением. Это открывает доступ к вопросам о том, что не обстоит ли дело так, что об этом только говорится в прессе, не является ли это лишь темой для школьных занятий или молодежных групп, как на это реагирует экономика, т.е. в каких из этих трех систем коммуницируется на эти темы и с какими последствиями для них самих. Вот что в этой теме представляет интерес для социолога, а не смерть рыбок.

С помощью этой двойной перспективы можно, наверное, также анализировать идеологическую нагруженность самоописания в обществе? Отчего общество в XIX и XX вв. описывает себя как капиталистическое? А во второй половине XVIII в. – как патристическое? Отчего в определенные эпохи отдается пред-

35 См. Luhmann Niklas. *Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?* Opladen: Westdeutscher Verlag, 1986.

почтение определенным схемам (*общество/общность, индивид/коллектив*), а потом о них снова забывают? Как появляются такие представления, как «модерн» или «постмодерн»? Почему для представления общества используется схема «традиция/современность»? Как социологи, занимая позицию сторонних наблюдателей, каковыми мы в действительности никогда не являемся, могут спросить, почему происходит так, что системы предпочитают какое-то определенное самописание? Таким образом, мы возвращаемся к традиции критики идеологии, а также социологии знания или социально-исторической семантики, как она представлена у Рейнхарта Козелека³⁶, но теперь у нас для такой точки зрения более надежное теоретическое обоснование, чем когда, например, предполагалась свободно парящая интеллигенция в духе Карла Мангейма³⁷ или когда тот способ, каким капиталистическое общество наблюдает самое себя, описывали, вслед за Адамом Смитом и Давидом Риккардо, через рыночные законы, показатели прибыли и тому подобное, не замечая, что тем самым аргументируют с позиции капиталиста и пренебрегают всем остальным, или чем когда работали с фрейдистскими комплексами или чем-то в этом роде.

Мы же будем исходить из социологии самоописывающих систем, систем, которые связывают самореференцию и внешнюю референцию, причем делают это избирательно, применительно к уже существующим структурам, исторической данности общества с его злободневными проблемами. Таким образом, мы можем занять позицию на некотором расстоянии как раз за счет фигуры reentry. В следующий раз я буду говорить об оперативной закрытости. Эта тема автоматически следует из того, о чем я говорил сегодня. Если есть какая-то операция, она функционирует только внутри какой-то системы, и это подводит нас к тезису оперативной закрытости системы.

36 См. Brunner Otto, Conze Werner, Koselleck Reinhart (Hrsg.) *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1972. [На русском языке см.: Козелек Рейнхарт. Теория и метод определения исторического времени // *Логос*. № 5. 2004 (44). С. 97-130]

37 Mannheim Karl. *Strukturen des Denkens*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.

3. Оперативная закрытость.

Пятая лекция

В предыдущей лекции мы говорили о принципе различия, или о дифференциалистском подходе, системной теории. Тезис гласил, что система — это не единство, а различие и что в связи с этим мы взваливаем на себя тяжелую задачу представить себе единство различия. Если что-то различено и вместе с тем не различено, т.е. должно быть одним и тем же, возникает парадокс. Я хотел бы снова оттолкнуться от вопроса о том, как можно обходиться с парадоксами, если их заметили. Есть много парадоксов, которых не замечают. Например, пару месяцев назад я был в небольшом апартамент-отеле в Брисбене, прямо на берегу реки Брисбен, и там на стене висел телефон, на трубке которого была прикреплена маленькая записка «If defect, call...» и дальше номер. Это означает: «Если не можешь действовать, то действуй». Что делают с таким парадоксом? Его решают с помощью различения исправных и неисправных телефонов, списывают номер, идут к другому телефону и звонят по указанному номеру. С парадоксами обходятся следующим образом: ищут адекватное ему различие, фиксируют идентичности — этот телефон, другой телефон — и за счет этого остаются по крайней мере дееспособными.

В системной теории все не так просто. Прежде всего, там сказали бы, что есть различие между системой и окружающим миром. Это различие есть различие, которое конституирует систему. Но тогда сразу же возникает вопрос, кто проводит это различие. Ответ на этот вопрос подводит нас к теме этого часа, а именно к теме оперативной закрытости. Различение системы и окружающего мира создается самой системой. Это не исключает возможности того, что кто-то другой наблюдает это различие, т.е. наблюдает, что система существует в среде. То, что важно для нас в связи с тезисом оперативной закрытости, так это то, что система посредством собственных операций проводит границу, отличает себя от окружающего мира и только затем и только так ее можно наблюдать как систему. Это происходит всякий раз особым образом, не как попало, а таким способом, который мы можем более точно охарактеризовать по-

нятием операции или операционального. Это тот способ, которым система создает сама себя посредством присущих именно ей операций.

Например, живое существо производит это различие за счет того, что живет и продолжает жить, покуда ему это удастся. Социальная система производит различие между системой и окружающим миром за счет коммуникации, установления отношений между независимыми живыми существами и за счет того, что эта коммуникация следует своей логике присоединения последующих коммуникаций, логике дальнейшего коммуницирования. В терминологии Джорджа Спенсера Брауна мы бы сказали, что система всегда оперирует на внутренней стороне формы, т.е. в себе самой, а не на ее внешней стороне. Однако оперирование на внутренней стороне, в системе, а не в окружающем мире, уже предполагает, что есть этот окружающий мир, внешняя сторона. Если сформулировать это проще, то это покажется тривиальным, потому что, наверное, сразу становится очевидно, что система не может оперировать во внешней среде, что операции, таким образом, всегда протекают внутри системы. Если бы операции системы протекали в окружающем мире, то это лишило бы смысла различие между системой и окружающим миром.

Это становится менее тривиальным и даже более того, способно удивить, если задуматься, например, над следствием этого тезиса: система не может использовать свои собственные операции для того, чтобы установить связь с окружающим миром. Именно это утверждается в тезисе об оперативной или операциональной закрытости. Операции от начала до конца или в значении событий всегда возможны только в системе, и они не могут быть использованы для того, чтобы как-то проникнуть в окружающий мир, так как тогда, когда граница уже пересечена, они должны были бы стать чем-то другим, нежели системными операциями. Это повлияло первую очередь на теорию познания. Заостряя формулировку, можно сказать, что познание возможно только потому, что не существует никаких отношений, никаких оперативных связей с окружающим миром. Об этом можно поразмышлять. Познание возможно не только вопреки, но именно потому, что система является оперативно закрытой. Она не может проникнуть в окружающий мир с помощью своих

познающих операций, а должна все время искать возможности подсоединения, продолжения, следующие знания, отсылки к памяти и так далее внутри системы.

Тезис гласит, что системы являются операционально закрытыми. Они целиком и полностью основаны на внутренних операциях. В этой связи можно было бы предположить, что происходит возврат к старой теории закрытых систем и, следовательно, к проблеме энтропии, однако это не так. Дело в том, что внутри теории операциональной закрытости теперь нужно различать между операцией и каузальностью. Если мы хотим описать систему, описание операций должно быть очень специфическим. Есть разница, идет ли речь о биохимической структуре, которая позволяет клетке жить, о коммуникативной цепочке операций с использованием языка или об операциях сознания, которые в данный момент владеют вниманием и от биохимии жизни отличаются так же, как от коммуникации. Специфическую характеристику операциям следует давать таким образом, чтобы одновременно определялось типическое в системе, о которой идет речь. В нашем случае это типическое живых, сознательных или социальных систем. Пока это никак не связано с каузальностью. Каузальность, согласно этой версии системной теории, – это дело наблюдателя.

Каузальность есть суждение, наблюдение наблюдателя, сопряжение причин и следствий, в зависимости от того, как наблюдатель выстраивает свои интересы, какие следствия и причины он считает важными, а какие нет. Каузальность – это селективное высказывание: определенные причины представляют интерес, потому что существует неуверенность относительно следствий. Или же потому, что хотят добиться определенных следствий и с этих позиций спрашивают, какие причины их вызывают. Формально каузальность – это схема наблюдения мира. Для всех причин можно было бы до бесконечности искать другие причины, и в отношении всех следствий можно было бы до бесконечности переходить к другим следствиям, к побочным эффектам, к непреднамеренным следствиям и так далее. Но у всего этого есть естественные границы. Мы не можем каузально расчленить весь мир. Это превысило бы информационные мощности любой наблюдающей системы. Поэтому каузальность всегда селективна, и ее всегда можно отнести на

счет какого-то конкретного наблюдателя с определенными интересами, определенными структурами и определенными мощностями по обработке информации. Это верно уже ввиду бесконечности последовательно выявляемых каузальностей, которые оказывают влияние на рассматриваемый результат.

Но это верно также потому, что есть еще не совсем обычные каузальные атрибуции, например, каузальность отрицательных фактов: «Вчера вечером передняя дверь моего автомобиля не открылась. Я должен буду отвезти машину в автосервис, если такое еще раз повторится. Тогда надо будет отремонтировать дверь или перенести руль на другую сторону». Отрицательный факт становится причиной определенного действия. Дверь *не* открылась. Структурные атрибуции – это еще один аналогичный случай непривычной каузальной атрибуции, например, когда капиталистическое общество объявляется причиной определенных следствий в силу определенных структур монетаризации труда и так далее. Т.е. бывают и другие случаи, кроме бесконечности причин и следствия. Бывает еще – по крайней мере, применительно к системам, которые имеют возможность следить за этим – каузальность бездействия и структурная каузальность.

И снова мы должны наблюдать наблюдателя, если мы хотим знать, о какой каузальной атрибуции идет речь, какие следствия и какие причины объединены в этой атрибуции. Об этом есть множество исследований³⁸. Результаты этих атрибуционных исследований вынуждают нас соотносить понятие каузальности с наблюдателем или с атрибутивными привычками. Это как бы другая сторона необходимости проводить различие между операцией, конституирующей и воспроизводящей систему, с одной стороны, и каузальными высказываниями, с другой стороны. И, разумеется, наблюдатели, применяющие каузальную схему, тоже, в свою очередь, должны функционировать как системы. Они, например, должны жить в соответствии с требованиями каузального декодирования системы по отношению к окружающему миру, иметь сознание или коммуницировать. Это различие каузальности и операции не дает нам скатиться к старой теории закрытых систем, поскольку те системы мыслились как каузально закрытые.

³⁸ начатых Фритцем Хайдемом: Heider Fritz. Social Perception and Phenomenal Causality // Psychological Review 51 (1944). P. 358-374.

Следующий шаг заключается в том, что с этих позиций можно различать между смысловыми системами и техническими системами. Системная теория долгое время жила под подозрением в том, что она является своего рода технической теорией, теорией инженеров и технических работников, а также технически ориентированных плановиков, которые хотят обеспечить определенные каузальности. Исходя из теории операциональной закрытости, можно провести различие между технической и каузальной закрытостью, с одной стороны, и смысловой открытостью, с другой стороны. Вопрос смысловой открытости отсылает нас к темам, к которым я обращаюсь позже. А пока скажу только, что различие системы и окружающего мира находится в распоряжении системы. Я уже говорил о «повторном вхождении». Система может ссылаться на окружающий мир не только в оперативном, но и в смысловом отношении, с точки зрения смысла операций, при этом не вызывая своими операциями каузальные воздействия в окружающем мире, которые возможны только в том случае, если окружающий мир сам соответствующим образом открывается и предусматривает соответствующие каузальности. Здесь мы имеем дело с различием технического и смыслового. Технические системы являются в основном каузально закрытыми и реагируют на импульсы, исходящие из окружающего мира, только в некоторых определенных отношениях: машины, которые работают только в том случае, если подключено электричество или поставка необходимой энергии обеспечивается каким-то другим способом и которыми можно управлять только с помощью определенных рычагов и вмешательств в их работу. Преимущество такой технической или каузальной закрытости заключается прежде всего в возможности обнаружения ошибок. В сфере операциональной закрытости это, как правило, невозможно. Если система продолжает оперировать, она продолжает оперировать; есть ли здесь какая-то ошибка или нет, это опять-таки дело наблюдателя и его стандартов хорошей работы или шансов на выживание или чего бы то ни было еще. В случае технических систем эта проблема имеет гораздо более точные очертания. Машина не работает, и это показывает, что что-то не так. Ошибку смогут найти, если известна техническая структура машины.

Кроме того, в случае технически закрытых систем можно

планировать ресурсы. Это значит, что можно приблизительно знать, сколько необходимо энергии и как можно ускорить или замедлить работу машины, сколько нужно смазочного масла и сколько времени необходимо для того, чтобы создать определенный продукт или осуществить определенное движение. В ходе довольно широкой дискуссии вокруг вопроса технической закрытости обнаружилось, что в последнее время мы технологически приблизились к границам технически закрытых систем. В этой связи говорят о «высокой технологии» или о «рискованной технологии»³⁹. При этом речь идет о химических способах промышленного производства или о технологиях, связанных с радиоактивностью, в частности в атомной индустрии. Здесь, если машина ломается, кроме того, что оказывается невыполненной работа, происходит еще много чего другого. То, что в английском языке обозначается словом «containment», создание защитной оболочки, удержание всех потенциальных проблем внутри, не всегда оказывается возможным. Машина может взорваться, она может нанести огромный ущерб, так что необходима вторая технология, в отношении которой не всегда удастся добиться технической закрытости. Всякий раз, когда не удастся достичь технической закрытости, т.е. когда технология безопасности не может быть обеспечена снова чисто техническим способом, а требует, например, психической или социальной деятельности, появляется новая проблема – ненадежность оперативно закрытых систем, которые функционируют только за счет того, что тем или иным образом воспроизводят себя, часто оставаясь при этом непредсказуемыми для наблюдателя. Из расследований, проведенных после катастроф в атомной индустрии, а также после катастрофы «Челленджера»⁴⁰ видно, что внутренняя логика человеческой психики и неформальная организация играют определенную роль. Так, хотя ошибку и заметили, реагировать на нее не стали, так как до этого все шло нормально. Первый раз ее не заметили или заметили слишком поздно. В следующий раз уже знают, что ошибка не опасна, потому что

39 В качестве примера см.: Perrow Charles. Normale Katastrophen: Die unvermeidlichen Risiken der Grosstechnik. Frankfurt am Main: Campus, 1988; Luhmann Niklas. Soziologie des Risikos. Berlin: de Gruyter, 1991.

[40 26-го января 1986 космический корабль «Челленджер» разрушился во время запуска, весь экипаж (7 человек) погиб]

ничего не произошло. И организация привыкает к выполнению плана-графика, потому что это важнее, чем устранение всяких там ошибок. Из логики такой социальной организации когда-нибудь да последует, что что-нибудь все-таки пойдет не так. На сегодняшний день это актуальные проблемы: когда перескакивают через различие между системами со смысловым оперированием, системами, воспроизводящими себя через смысл, с одной стороны, и технической каузальной закрытостью, с другой стороны. Мы все чаще сталкиваемся с этим.

Это можно сформулировать в терминах, которые были предложены Хайнцем фон Фёрстером и могут иметь значение также и для социального анализа. Фон Фёрстер различает «тривиальные» и «нетривиальные машины»⁴¹. При этом машины понимаются в кибернетическом смысле, т.е. включают в себя математические формулы, расчеты, трансформационные правила и так далее. Употребление этого слова не ограничивается его механическими или электронными реализациями. Речь идет о машинах в самом общем смысле слова. При этом тривиальными называются такие машины, в которых входящий импульс по определенному правилу преобразуется в «выход», так что всякий раз, когда задается информация или кванты энергии, машина производит операцию и выдает определенный результат. Если ввести в нее другой «вход», то она снова произведет операцию и, если она располагает несколькими функциями, выдаст другой результат. Если, например, все время вводить 1, она будет делать «так-так-так», и в результате выйдет А, а если ввести 2, она сделает «так-так-так», и в результате получится В. Если потом снова ввести 1, снова получится А, а если получится В, то тогда возникнет ощущение, что это уже не тривиальная машина или что-то в ней сломалось. Наверное, сначала будут возлагать надежды на ремонт машины, потому что до этого она функционировала как тривиальная машина.

Нетривиальные машины, напротив, всегда подключают свое собственное состояние и время от времени задают промежуточные вопросы: «Кто я?», «Что я только что сделала?», «Какое у меня настроение?», «Насколько сильна еще моя заинтересованность?» и так далее, и лишь затем производят «выход». В

них встроена самореференциальная петля. В более ранней терминологии это формулировали таким образом, что машина использует свой собственный «выход» как «вход». Она руководствуется тем, что сама только что сделала, и, кроме того, имеет контролирующий аппарат, который фиксирует то, что должно происходить. С помощью данной концепции нетривиальных машин это можно обобщить в формуле, что машина становится непредсказуемой или предсказуемой только для того, кто точно знает, в каком состоянии она в данный момент находится, если она сама себя об этом спросит.

Это различие, во-первых, ясно показывает, что сознательные системы – это нетривиальные машины. С другой стороны, в области социологии также очевидно, что мы часто хотим, чтобы социальные системы были устронны, как тривиальные машины. Если вы представите себе суд, на котором судья применяет определенный закон, то этот суд функционирует как тривиальная машина. Всякий раз, когда вводится определенный Input, на выходе получается определенное различие. Например, если выполнены условия для бракоразводного процесса, то брак расторгается. Мы бы не потерпели, если бы судебная коллегия объявила: «Мы уже расторгли столько браков, так что давайте отклоним этот иск». Это бы означало, что они вдруг по-другому, нежели это ожидалось вне суда, отреагировали на скуку или еще какое-нибудь настроение, обусловленное их деятельностью. Можно эту проблему рассмотреть также применительно к системе образования. Я вызвал яростное сопротивление со стороны педагогов, когда объяснил им, что они хотят воспитать из своих учеников тривиальные машины, поскольку на определенные вопросы они должны давать правильные ответы. Если ответ неправильный, то он неправильный, если он правильный, то он правильный. Если он неправильный, то машина неисправна, если ответ правильный, то все в порядке. В системе не предусмотрено, что ученик может, к примеру, поставить под сомнение сам вопрос или искать креативные решения, смотреть на математические формулы с точки зрения их эстетики, как на конкретную поэзию, расположенную на листе бумаге, или сделать что-то такое, что можно объяснить, только если знаешь, в каком состоянии он находится в данный момент.

Мы видим, что тривиальные машины функционируют на-

41 Foerster Heinz von. Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 244 и далее.

дежно, а в повседневной жизни мы в значительной степени зависим от надежности функционирования других, даже если это не соответствует гуманистическим представлениям об обществе или необходимости уважать других людей. Это различие важно с аналитической точки зрения, так как приходится каждый раз снова задумываться над тем, можем ли мы отказаться от нетривиальности. Как далеко мы можем зайти в тривиальности и как далеко – в нетривиальности? Можно было бы также спросить, насколько, например, наша способность понимать искусство зависит от повторения. 90 % эстетических стимулов должны быть нам знакомы, чтобы 10 % незнакомых стимулов могли нас удивить. Многое должно функционировать так, как оно всегда функционировало, чтобы по контрасту с этим можно было увидеть то небольшое, что является инновационным и может быть объяснено только при ближайшем рассмотрении произведения.

Вот основные моменты, о которых я хотел сказать в связи с операциональной закрытостью. Уже само место этой темы в структуре лекции показывает, что это основополагающее различие и еще одна веха – наряду с дифференциалистским подходом, которая дает понять, что системная теория является первопреходческой и многие ее выводы необычны, и в частности как раз вывод о том, что система не может вступить в контакт с окружающим миром посредством своих операций. Если в общем поразмыслить над этим тезисом, то во многих сферах можно прийти к результатам, которые отчасти трудны для понимания или, по крайней мере, не соответствуют общепринятым представлениям об обществе или об индивидах. Я написал небольшую книжку об экологической коммуникации с этой точки зрения, и несмотря на то, что я старался сделать текст легким для восприятия, он получился сложным, потому что когда утверждается, что мы можем только говорить о проблемах окружающей среды, а говоренье как таковое ничего не меняет, то это не только неубедительно, но и вызывает чувство разочарования⁴². Если мы не начнем говорить, то тоже ничего не произойдет, и поэтому ввиду многочисленных экологических проблем оперативная закрытость коммуникативной системы производит такое впечатление, как если бы вообще ничего

не могло произойти и оперативная закрытость означала бы полную изоляцию системы. Это не так, и в разделе о структурной сопряженности я к этому еще вернусь. Есть структурные связи, которые, если можно так сказать, объединяют, накапливают, направляют каузальности и тем самым координируют и интегрируют систему и окружающий мир, что, однако, не затрагивает тезис об оперативной закрытости. Именно потому, что системы являются оперативно закрытыми, они могут подвергаться воздействию – по крайней мере, долгосрочному – через структурные связи.

Но я не буду пока об этом распространяться, потому что сейчас будет еще один промежуточный раздел, который занимает почетное место в современной дискуссии, а именно в дискуссии по вопросу самоорганизации и аутопойесиса. Мое намерение заключалось в том, чтобы рассмотреть и эту тему с точки зрения оперативной закрытости. Основываясь на большом опыте дискуссий о самоорганизации и аутопойесисе, я полагаю, что тезис оперативной закрытости является исходной точкой, из которой следует объяснять эти два понятия, а не наоборот. И это несмотря на то, что история теории в процессе зарождения этой дискуссии развивалась в обратном направлении: оперативная закрытость была обнаружена на обходном пути, который пролегал через аутопойесис, а не наоборот.

42 Luhmann Niklas. Ökologische Kommunikation. [Opladen 1986]

4. Самоорганизация, аутопойесис

Сначала об этих двух понятиях. Речь идет о двух различных понятиях, которые я сознательно развожу. Они оба строятся на теореме оперативной закрытости, т.е. основанием для них служит не только дифференциалистское, но и принципиально оперативное понятие системы. Это опять-таки означает, что в распоряжении у системы находятся только ее собственные операции. В системе нет ничего, кроме ее собственных операций, которые служат двум разным целям. Во-первых, они необходимы для формирования собственных структур системы: структуры операционально закрытой системы должны быть построены за счет ее же операций. Иначе говоря, не бывает импорта структур. Это называется самоорганизацией.

Во-вторых, система может использовать только свои собственные операции для того, чтобы определить историческое состояние или, если хотите, настоящее время, из которого должно исходить все последующее. Применительно к системе настоящее время определяется ее собственными операциями. То, что я только что сказал, — это та точка, из которой я должен исходить, размышляя, что я могу сказать после этого. То, о чем я думаю сейчас, что происходит в данный момент в моем сознании, что я воспринимаю, — именно это является исходной точкой для понимания последующих восприятий. Я знаю, что я нахожусь в этом помещении, на этом месте, и если бы я начал совершать хаотические прыжки, то я бы должен был задуматься над тем, не принимал ли я какие-нибудь наркотики, поскольку я уже не в состоянии реализовывать привычную непрерывность восприятия, поддерживающую интерпретацию неожиданных событий. Мы здесь имеем дело с двумя аспектами: во-первых, с «самоорганизацией» в значении создания структуры за счет своих собственных операций и, во-вторых, с «аутопойесисом» в значении детерминации состояния, исходя из которого возможны последующие операции и которое определяется операциями той же системы.

Сначала я хотел бы кое-что сказать о самоорганизации. Наверное, лучше всего сначала уяснить себе, что структуры, согласно операционалистской, оперативной теории, являются действующими только тогда, когда система осуществляет свои операции. Здесь вы снова видите расхождение с классическими

представлениями, поскольку это противоречит представлению о том, что структуры неизменны, а процессы или операции переходящи. В данной теории структуры релевантны только в настоящий момент. Они могут быть использованы, если можно так сказать, только когда система оперирует, а все, что когда-то произошло или когда-нибудь еще произойдет, — это или прошлое, или будущее, но не настоящее. Все вневременные описания структуры, т.е. всё, что кто-то видит, когда он видит, что мы проводим лекцию всегда в одно и то же время, в одном и том же помещении, может быть, не всегда с тем же составом присутствующих, но, во всяком случае, с одним и тем же докладчиком, — всё это структура, которая опять-таки требует наблюдателя, к которому выписываемое относится в той же мере: он это наблюдает только тогда, когда он это наблюдает, т.е. когда он этим занят, когда находится в процессе оперирования. Независимо от того, думаем ли мы о системе в момент операции или соотносим операцию с наблюдением других операций, все это релятивируется относительно темы одновременности, настоящего, актуальности. Система должна находиться в процессе оперирования, чтобы она могла использовать структуры.

И тогда становится ясно, что описание — когда хотят знать, что такое структура, что такое психологическая структура, как можно было бы охарактеризовать людей, описать их, изобразить их привычки или, если имеются в виду социальные системы, как описать университет — так вот это описание, в свою очередь, есть описание какого-то наблюдателя. Структуры можно идентифицировать, однако это делают только тогда, когда система, которая это делает, делает это. Это предполагает абсолютную релятивизацию дескриптивного обозначения структур относительно оперирующей системы. И это означает также, что необходимо и проекции в прошлое, т.е. обращения к прошлому, и предвосхищение будущего привести в соответствие с этой теорией. Структура является действующей только в данный момент; и те данные из прошлого, которые используются в настоящий момент, связаны с тем, какие проекции в будущее актуализируются. В настоящем и только в настоящем существует сопряженность того, что обычно называют памятью, и того, что, как правило, называют ожиданием, проекцией или целями, если имеют в виду действия.

Память не является хранимым прошлым. Прошлое прошло и никогда не сможет стать снова нынешним. Память – это своего рода проверка на консистентность, причем обычно нет нужды вспоминать, когда было выучено или не выучено что-то конкретное. Если я сейчас говорю по-немецки, мне не нужно знать, когда я выучил этот язык и как это вообще произошло или когда я впервые употребил или прочитал какое-то конкретное слово, например, «аутопойесис». Определяющим для того, чего хотят достичь в будущем в контексте ожиданий, антиципаций, целеполаганий и тому подобного, является нынешняя возможность актуализации, если хотите, нынешняя проверка спектра применения структур. В этом смысле это совершенно прагматичный подход. Существует связь между теорией памяти, с одной стороны, и прагматичной ориентацией на будущее, с другой стороны. Эта связь всегда довольно тесная, так что, наверное, можно сказать, что память есть не что иное, как текущая проверка консистентности различной информации в свете определенных ожиданий, будь то желание чего-то достичь, страх перед чем-то или восприятие наступления чего-то и желание отреагировать на это. Здесь мы видим не теорию памяти, отличную от той, которая предусматривает некое подобие хранилища. Нейрофизиология, по-видимому, подтверждает нашу точку зрения⁴³. Ведь в нервной системе тоже нет никакого прошлого, которое бы хранилось в определенных нервных клетках, но есть *cross-checking*, проверка разных накопленных привычек по определенным поводам в определенные моменты времени.

Поэтому рекомендуется за основу определения структур брать понятие ожидания. Структуры – это ожидания в отношении способности операций подсоединять последующие операции, будь то просто переживание или действие, причем ожидание в таком смысле, который необязательно является субъективным. Критики этого понятия ожидания как раз упрекают его в субъективизации представления о структурах. Однако традиция такого понимания ожидания гораздо старше и необязательно связана с психическими структурами. В 1930-х гг. понятие ожидания было введено в психологии для усложнения жестких вза-

43 См. Foerster Heinz von. Was ist Gedächtnis, dass es Rücksicht und Vorschau ermöglicht? // Foerster Heinz von. Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 299-336.

имозависимостей *Input – Output* или негибких моделей «стимул – реакция», чтобы можно было, в частности, представить, что стимул и реакция не находятся в жесткой взаимозависимости, а могут контролироваться ожиданиями системы. Стимул можно идентифицировать только в том случае, если есть определенные ожидания. Происходит как бы обследование некой области, в которой что-то воспринимают и улавливают раздражители, на предмет ожидания, которое обычно имеют в определенной ситуации или предполагают в силу привычки. Отсюда также идея о «генерализованных» ожиданиях (Мид). Первоначально это означало разрыв с прежней бихевиористской психологией, однако затем было перенято и социальной теорией в виде положения, что роли – это набор ожиданий и что коммуникации передают ожидания, причем независимо от того, что люди думают сами по себе. Таким образом, ожидания образуют некий аспект, который может быть дан в качестве будущего аспекта смысла либо психически, либо в социальной коммуникации.

Для данной теории, которая определяет понятие структуры через ожидания, различение субъекта и объекта не имеет значения. Однажды в Билефельде я по этому поводу имел дискуссию с Йоханнесом Бергером, который говорил, что понятие ожидания является субъективным понятием и, собственно говоря, неприемлемо для социологов, поскольку социологи как раз изучают объективные, общественные структуры⁴⁴. Если вы уже проходили структурный анализ, то у вас, возможно, сложилось впечатление, что изучая структуры, мы имеем дело с объективным положением вещей, которое можно обосновать статистически, с позиций марксизма или как-нибудь еще, не соотнося это с тем, что по этому поводу думают отдельные личности. Но по тому, как строится данная системная теория, вы увидите, что я хочу попытаться выйти из этого различения субъект-объект и заменить его различием операции, которую фактически осуществляет система, если она ее осуществляет, с одной стороны, и наблюдением за этой операцией, проводимой этой же самой системой или какой-либо другой – с другой стороны.

44 Berger Johannes. Autopoiesis. Wie “systemisch” ist die Theorie sozialer Systeme? // Haferkamp Hans, Schmid Michael (Hrsg.) Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung: Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. S. 129-152.

Тогда в понятии ожидания уже не остается субъективных составляющих. Вместо этого понятие ожидания ставит вопрос о том, как структуры обеспечивают редукцию сложности, при этом не сводя всю систему, так сказать, к одной мощности (Kapaazität). Как возможно, что система располагает богатым выбором структур, например, за счет языка, но при этом выбор того или иного предложения не ограничивает ее, т.е. не происходит автоматической утраты структурного разнообразия? Даже наоборот, часто бывает так, что структуры развиваются, но при этом с их помощью не хотят или не могут детерминировать ситуации, в которых используются эти структуры. В понятии структуры в объяснении нуждается то, почему система не сокращается, хотя она постоянно должна принимать решения, постоянно осуществлять ту или иную последующую операцию, примыкающую к предыдущей? Почему она не сокращается, а при определенных обстоятельствах даже увеличивается, наращивает сложность, хотя постоянно вынуждена ее редуцировать? Чем больше у системы возможностей (вспомните опять-таки о языке; его исключительно наглядный пример позволит вам понять эту мысль), тем более тщательно отобрано каждое отдельное предложение и тем менее шаблонна речь. Это видно при сравнении речи представителей разных социальных слоев, особенно в Англии, если сравнить несколько шаблонную языковую форму низших слоев и развитую речь представителей высших слоев. В богатом языке для каждой ситуации найдется подходящее слово, и часто именно тогда, когда структура очень развитая и сложная, удастся более точно выразиться, чем когда в распоряжении имеется лишь ограниченный запас слов. Это и должно выражаться понятием «структура». В этом, собственно говоря, заключается ее достижение – в соединении высокой структурной сложности со способностью оперировать. И тогда вы увидите, почему так важен переход от тривиальных машин к нетривиальным. Ведь тривиальные машины выполняют только ту операцию, которая заложена в них программой и «входом», тогда как системы с комплексной структурой сами справляются с этой задачей по приспособлению к ситуациям и при этом могут принимать во внимание свои собственные мысли или коммуникативные привычки, так что эти системы располагают гораздо более богатым репертуаром возможных

действий. Проблема здесь заключается в точном объяснении, и понятие структуры имеет большое значение именно в этом контексте, а не в связи с выбором между субъективностью и объективностью.

Последний момент касается вопроса о том, почему мы говорим о самоорганизации. Система может оперировать только с теми структурами, которые она сама создала. Она не может импортировать структуры. Это тоже нуждается в объяснении. Если вы посмотрите на исследования по научению языку, вы увидите, что почти невозможно понять, каким образом ребенок так быстро обучается языку. С одной стороны, вы увидите, что Ноам Чомски пытался решить эту проблему, постулируя природные глубинные структуры, которые являются врожденными, но которые так и не были выявлены эмпирически⁴⁵. Современный же исследователь коммуникаций, наверное, будет полагать, что человек сам учит язык в ходе коммуникации как то, что, если можно так выразиться, по факту используется говорящими – говорящие просто исходят из того, что тот, к кому они обращаются, их понимает, даже если они знают, что он их пока не понимает. И так, в процессе тренировки, усваивается привычка выделять определенные звуки в качестве языка и затем повторять определенные значения. Такое представление, по крайней мере, не противоречило бы тезису о том, что структура может быть создана только в самой системе.

При другом ходе мысли, по-видимому, следует отталкиваться от представления о том, что человека, который учится говорить, обучают следуя определенной последовательности. Ему дают установку, как он должен говорить, но сам он пока не говорит. Правда, в этом случае было бы сложно зарегистрировать все разнообразие форм развития речевых навыков. Исследования по легастении и ошибкам при чтении и письме показали, что тенденция к допущению ошибок очень неравномерно распределена среди учеников одного класса. Следовательно, не может быть никакой единообразной дидактики для обучения чтению и письму, поскольку тенденция к допущению ошибок среди детей может очень сильно различаться. Один больше реагирует на звуковой ряд, другой сокращает слова, пропускает буквы,

45 Chomsky Noam. Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.

так что индивидуальность в процессе обучения речи, и впоследствии письму и чтению, чрезвычайно высока, гораздо выше, чем обычно предполагают. Этот фактор, на мой взгляд, можно учесть только в том случае, если ориентироваться на самоорганизацию в процессе обучения. Это не означает, что наблюдатель вообще не может установить, что слова, которые выучил ребенок, являются теми же самыми, которые записаны в словаре издательства Duden или которые используются другими людьми. Просто это невозможно объяснить импортом структур, но только структурной сопряженностью – если использовать термины, о котором я буду говорить в следующем разделе.

На общетеоретическом уровне абстракции мы еще очень мало знаем о том, как в действительности происходит формирование структур. Я думаю, что во всяком случае не так, как производство предметов, где необходимые компоненты заранее известны и просто komponуются вместе. Особенность образования структур заключается, по-видимому, в том, что в первую очередь необходимо повторение, т.е. какая-то ситуация должна распознаваться как повторение другой ситуации. Если бы все всегда было абсолютно новым, то, наверное, никогда ничему нельзя было бы научиться. И хотя, разумеется, каждый раз все бывает совершенно по-новому – каждый из вас сегодня выглядит иначе, чем на прошлой лекции, сидит на другом месте, смотрит иначе, спит иначе или пишет иначе; если приглядеться к деталям, то каждая ситуация неповторима, – все-таки есть эти с трудом поддающиеся описанию явления, например, то, что мы узнаем лица. Если бы вы захотели узнать, от чего это зависит, что вы кого-то узнаете, или если бы вам нужно было описать того, кого вы узнаете, это было бы для вас гораздо труднее, чем само узнавание. Вы видели фотороботы в газетах, которые с большим трудом составляются при помощи компьютера, тогда как узнавание обычно происходит быстро. Чтобы вообще суметь что-то повторить (и это тоже циклический аргумент), мы должны это узнать, т.е. мы должны уметь делать две вещи: во-первых, идентифицировать, т.е., выражаясь классическим языком, узнавать сущностные характеристики или какие-то отправные точки для определения идентичностей, и, во-вторых, генерализовать их в том смысле, чтобы уметь повторно использовать идентичность, несмотря на изменение ситуации и

порой очень значительные отклонения. Сначала мы имеем место с ограничением или фокусировкой на чем-либо, но вместе с тем и вследствие этого также с генерализацией в том смысле, что мы можем узнавать одних и тех же людей в совершенно разных ситуациях и зачастую по прошествии многих лет; или можем повторно использовать в речи одни и те же слова – хотя и в других предложениях, на другой день, в другом расположении духа, утром, а не вечером, и так далее.

Эта теория, по-видимому, подтверждает, что постоянная проверка идентификации и генерализации или, используя еще более парадоксальную формулировку, спецификации и генерализации, может выполняться только самой психической или коммуникационной системой. Если бы эта система коммуникации не функционировала, то мы бы никогда не выучили язык. Система коммуникации предоставляет слова или стандартизированные жесты, которые можно повторить и использовать в других контекстах, хотя и с разными последствиями, поскольку одно слово может отсылать к очень разным значениям в зависимости от того, в каком предложении оно произносится. И эта амбивалентность или парадокс спецификации и генерализации представляется мне причиной того, что это может разворачиваться только внутри системы. В противном случае нужно было бы представлять себе это так, что можно научиться производству чего-либо так же, как производству вещей по рецептам, разумеется, тоже по инструкции.

Чтобы завершить эту часть, отмечу, что Матурана говорил о «структурно детерминированных системах», и это выражение в какой-то степени вошло в литературу⁴⁶. Но это, если понимать данное выражение буквально, только половина дела. Операции системы предполагают структуры; в противном случае имелся бы лишь ограниченный репертуар с фиксированными структурами. Чем больше объем структур, тем больше разнообразие и тем более познаваемой для самой себя в качестве детерминатора собственного состояния или собственных операций является система. С другой стороны, прямо противоположное тоже верно. Структуры, в свою очередь, тоже могут быть созданы

46 См. Maturana Humberto. Erkennen [Braunschweig 1982] и Maturana Humberto R., Varela Francisco J. Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Dordrecht: Reidel, 1980. [Рус. пер.: Матурана У. Р., Варела Ф. Х. Древо познания. М., 2001].

только посредством собственных операций. Это круговой процесс: структуры могут быть созданы только посредством собственных операций, потому что собственные структуры, в свою очередь, детерминируют операции. Это ясно в отношении биохимической структуры клетки, так как здесь операции одновременно служат созданию программ, в данном случае энзимов, в соответствии с которыми клетка регенерирует как структуры, так и операции. То же самое происходит и в социальной системе, если иметь в виду язык. Язык возможен только на основе операции говорения; если бы люди вообще никогда не могли бы говорить, если бы они не имели возможности коммуницировать, то они бы быстро забыли язык или даже никогда его не выучили. И наоборот: язык, в свою очередь, является условием того, что люди говорят. Это круговое отношение в качестве *framing*, задания рамок, условия предполагает идентичность определенных систем, в которых этот круг переводится в операцию или трансформируется в секвенции, так что он как бы размыкается временем. Круговым это отношение является только в том случае, если оно описывается абстрактно, т.е. вне времени, но в реальности существуют операции с минимальными структурными затратами, которые создают более комплексные структуры, которые, в свою очередь, позволяют совершать более дифференцированные операции.

Это, кстати, точка соприкосновения с эволюционно-теоретическими рассуждениями, рассмотрение которых я не включил в эту лекцию. Задачей эволюционной теории в данном контексте было бы объяснение того, как из однократных изобретений типа биохимии жизни или смысловой коммуникации, смыслового обмена знаками, возникают высоко комплексные системы или большое разнообразие видов, т.е. как может сформироваться широкий спектр структур, хотя в каждом конкретном случае речь идет об *одном* типе операций и все это имеет форму замкнутого круга. Структуры зависят от операций, потому что операции зависят от структур. Но все это в целом имеет привкус парадоксальности только из-за того, что парадоксальной является вневременная абстрактная формулировка, тогда как реальные процессы занимают какое-то время и могут таким образом развиваться.

Вторая часть данного раздела касается так называемого «ау-

топойесиса». Отправной точкой для рассуждений является то, что все сказанное о структурах верно и в отношении самих операций. Это уже не раз проскальзывало в моих лекциях, потому что я не мог иначе представить понятие структур, находящихся в круговой взаимосвязи с операциями. С другой стороны, теория аутопойесиса – я сейчас перейду к смыслу этого выражения – является условием того, что структуры можно представить таким образом, как я только что попытался это сделать. По определению Матураны аутопойесис означает, что система может производить свои собственные операции только через сеть своих собственных операций⁴⁷. А сеть собственных операций опять-таки создается этими операциями. В этой формулировке в некотором роде слишком много суждений, и поэтому я попытаюсь их развести. С одной стороны, речь идет о тезисе операциональной закрытости. Система сама себя производит. Она не только создает свои собственные структуры подобно тому, как некоторые компьютеры могут сами разрабатывать для себя программы, но является автономной также на уровне операций. Она не может импортировать операцию из окружающего мира: в мою голову не может попасть чужая мысль, если ее всерьез считать мыслью, и ни один химический процесс не может стать коммуникативным. Если я пролью на свои записи чернила, их будет невозможно прочитать, но при этом не возникнет новый текст. Эта оперативная закрытость есть иначе сформулированное положение о том, что аутопойетическая система производит операции, которые ей необходимы для производства операций, через сеть собственных операций. Матурана на своем чилийском английском говорит о «components». С одной стороны, это понятие довольно неясное, но, с другой стороны, оно универсально, поскольку можно выбирать, понимать ли под ним операции или структуры. Для биолога это различие, возможно, не так важно, потому что он имеет дело не с фиксацией операций событийного типа, а с химическими состояниями и с изменением химических состояний в клетке, так что он может попытаться трактовать понятие элемента в значении состояния, хотя и с малой временной продолжительностью. В области теории

47 См. определение в: Maturana Humberto R. Autopoiesis // Zelcny Milan (Ed.) Autopoiesis: A Theory of Living Organizations. New York: North-Holland, 1981. P. 21-32.

сознания или коммуникации, напротив, событийность неразложимых элементов очевидна. Предложение – это предложение; оно произносится, если оно произносится, а после этого уже нет и до этого еще нет. Мысль или восприятие, если я что-то вижу, актуальны в данный момент, а потом уже неактуальны и до этого тоже нет, так что событийность операций становится очевидной. Это, как мне кажется, ведет к более четкому разделению структур и операций и к отказу от общего понятия «component». При всем при том это замечание является лишь своего рода рекомендацией по прочтению текстов Матураны. В принципе я не вижу здесь кардинального различия.

Но почему «аутопойесис»? Матурана мне рассказывал, как он пришел к этому выражению. Первоначально он работал с циркулярными структурами, с понятием циркулярного воспроизводства клетки. Введение слова «циркулярный» не влечет за собой никаких проблем, но Матуране оно казалось недостаточно точным. Как-то раз один философ за ужином или при каких-то других обстоятельствах прочел ему небольшую лекцию про Аристотеля. Он объяснил ему разницу между «praxis» и «poiésis». «Praxis» – это такая деятельность, которая имеет смысл в себе самой как в деятельности. Аристотель под этим подразумевает этос городской жизни, добродетель, деловитость, «areté», которые важны не в силу успешности – возникновения хорошего города, – а имеют смысл сами по себе. Другим примером могло бы служить плавание – мы делаем это не потому, что хотим куда-то доплыть – или курение, непринужденные разговоры или бесконечные рассуждения в университетах, которые тоже представляют собой деятельность, удовлетворяющую саму по себе, без каких-либо результатов. В «praxis» самореференция содержится уже в самом понятии, а «poiésis», как объяснили Матуране, есть нечто такое, что создает нечто помимо себя, а именно какое-то произведение. В «poiésis» что-то делают, действуют, но не потому, что действие приносит радость или является добродетельным, а потому что хотят что-то произвести. Тогда Матурана нашел связующее звено и стал говорить об «аутопойесисе», о пойесисе как своем собственном произведении, причем сознательно о «произведении». В отличие от него, понятие «аутопраксис» было бы бессмысленным, так как оно только повторяло бы то, что уже подразумевает «праксис». Нет.

здесь речь идет о системе, которая является своим собственным произведением. Операция представляет собой условие для производства операций.

Интересно также то, что в понятии «poiésis», делания, изготовления и еще более явно в понятии «производства» никогда не содержится значения общего контроля над всеми причинами. Всегда можно контролировать только частичную сферу каузальности. Например, если вы хотите сварить яйцо, то вы подумаете, что вам нужно найти электрическую плиту или как-нибудь развести огонь, но вы не думаете о том, что вы могли бы таким образом изменить давление воздуха или состав яйца, чтобы оно варилось само по себе. Я не знаю, было бы это технически возможно, но существует целое множество возможных и, как правило, предполагаемых в процессе производства причин, которые можно варьировать, чтобы получить новые способы производства. С точки зрения классического языка, в понятии производства содержится то, что мы имеем дело не с «creation», с творением всего, что необходимо, а только с производством, т.е. с изготовлением из контекста условий, который и без того уже существует и может предполагаться. Это немаловажно, так как в дискуссии об аутопойесисе постоянно утверждается, что, например, люди являются неотъемлемым основанием коммуникации. Правда, тогда можно было бы назвать еще много других вещей: кровообращение, умеренную температуру, нормальное электромагнитное поле земли, чтобы кость могла срастаться после перелома, и другие условия коммуникации, относящиеся к окружающему миру. Понятие оперативной закрытости не отрицает этого так же, как и понятие аутопойесиса. Но это не подошло бы для системной теории, которая всегда исходит из различия между системой и окружающим миром.

Итак, речь идет о «пойесисе» в греческом или традиционном строгом смысле слова, в значении производства, изготовления, произведения, в комбинации с «ауто», что означает, что система является своим собственным произведением. Это не просто сама собой разумеющаяся практика. В определенной мере именно неожиданность этого выражения или необычность этого еще неизвестного слова привела к тому, что тезис об аутопойесисе одновременно переоценивают и недооценивают и что высказывается множество критических замечаний, не относящихся к

делу. С одной стороны, критикуют то, что это биологическая теория, которую не следует переносить на другие области. Это понятно, так как в области биологии инфраструктура, если можно так сказать, или химия аутопойесиса, ясна. Поэтому обычные биологи спрашивают, что они узнают помимо того, что им уже известно, если назовут это «аутопойесисом». Биохимия клетки известна, и тогда к чему это выражение – «аутопойесис»? Данное понятие помогает искать ответ на вопрос, что такое оперативная закрытость и в чем разница между производством и каузальностью. Тем не менее, это случайность, что данное понятие придумали именно биологи и нейробиологи, работающие в определенном смысле на подготовленной почве. Матурана его придумал, а Варсла перенял. Однако это не означает, что его использование в других областях означало бы аналогию в строго техническом смысле слова. Ведь аналогия базируется либо на онтологическом утверждении, что мир имеет некую сущностную структуру, которая всюду порождает сходства, поскольку так предусмотрено в творении, либо на аргументе о том, что поскольку так происходит в жизни, то так же должно быть и в психологической или социальной сфере. Но в этом аргументе нет необходимости. Если сформулировать понятие на достаточно абстрактном уровне, то становится ясно, что оно может применяться и в других случаях, если удастся это показать.

Я довольно долго дискутировал об этом с Матураной, и он мне всегда говорил, что для того, чтобы говорить об аутопойесисе коммуникации, нужно уметь это показать. Нужно показать, что это понятие действительно функционирует в сфере коммуникации, так чтобы можно было сказать, что отдельный коммуникативный акт возможен только в сети коммуникации. Его нельзя помыслить как однократное событие. Он также не может производиться вовне, как бы во внекоммуникативном контексте, например, в виде химического артефакта, а потом действовать коммуникативно, но он должен всегда производиться через коммуникацию. Я полагаю, что в этом нет большой сложности. Можно довольно скоро увидеть (особенно если принять во внимание лингвистическую традицию, в частности Соссюра, и то, что из нее получилось), что коммуникация осуществляется через свои собственные различия и не имеет ничего общего с химическими или физическими феноменами.

Настоящая оппозиция возникает только тогда, когда Матурана отказывается называть коммуникативные системы социальными системами. На его стороне сильный эмоциональный момент. Он не хочет упускать из виду человека и не обладает гибкостью в социологических или лингвистических вопросах, которая позволила бы ему увидеть, как можно заполучить человека обратно. Он не хочет отказываться от убеждения, что выражение «социальные системы» обозначает конкретных людей, которые образуют группы и тому подобное. Только в этом и заключается различие.

В социологической литературе, в которой отвергается заимствование этого понятия теорией социальных систем, существует представление о том, что здесь речь идет о биологической метафоре типа метафоры организма, которая бесконтрольно и, возможно, с консервативными намерениями переносится на социальные системы. В этом отношении социологи довольно чувствительны. Но эта дискуссия, как я думаю, когда-нибудь иссякнет. О недостаточной добросовестности свидетельствует уже само утверждение, что нечто является метафорой. Если обратиться к аристотелевской «Политике» или к другим традиционным текстам, то можно сказать, что все понятия – это метафоры. Все возникло в той или иной мере метафорично, а потом как бы автоматически, в процессе словоупотребления, посредством техник сосредоточения, идентификации и увеличения возможностей употребления стало само собой разумющимся. Если имеется в виду этот широкий смысл «метафоричности», то против метафоры нечего возразить. Тогда это также следовало бы генерализовать и сказать, что, например, понятие «процесс» тоже метафорично. Оно пришло в социологию из философии, в философию из юриспруденции, а в юриспруденцию из химии или наоборот, я не могу точно проследить этот путь. В конечном итоге все метафорично.

Важнее другая сторона дискуссии. Я думаю, что понятие аутопойесиса и вместе с ним теория аутопойетических систем недооцениваются и в то же время переоцениваются. Недооценивается радикальность подхода. Эта радикальность происходит из тезиса оперативной закрытости. Тезис оперативной закрытости подразумевает радикальное изменение в теории познания, а также в предполагаемой онтологии. Если принять

это и соотносить с понятием аутопойесиса, т.е. рассматривать его как другую формулировку тезиса оперативной закрытости, то становится ясно, что влечет за собой разрыв с теорией познания, которая принадлежала к онтологической традиции и полагала, что нечто из окружающего мира проникает в познающего, так что окружающий мир таким образом репрезентируется, отражается, имитируется или симулируется внутри познающей системы. В этой связи нельзя недооценивать радикальность данного нововведения.

С другой стороны, его объяснительная ценность чрезвычайно мала. Это тем более следует подчеркнуть применительно к социологическому контексту. Собственно говоря, с помощью аутопойесиса ничего нельзя объяснить. Это понятие дает новую отправную точку для конкретного анализа, для последующих гипотез или для комплексного использования дополнительных понятий. Но уже применительно к биологии верно то, что различие между червяками, людьми, птицами и рыбами, являющееся результатом однократного изобретения биохимии, не может быть объяснено с помощью понятия аутопойесиса. То же самое относится и к коммуникации. Коммуникация – это непрерывно продолжающаяся ситуация, самовоспроизводящаяся операция, а не просто однократное событие, знак. Это не так, как бывает, когда какое-нибудь животное подает знак, а другие звери на него реагируют, в диком беспорядке разбегаются, а потом когда-нибудь возникает новая ориентация и имитация. Если это состояние уже преодолено, то коммуникация посредством раздельных сигналов или знаков подразумевает обращение к прежнему употреблению знаков и предвосхищение возможностей подсоединения. Если такой порядок утвердился, то это означает, что общество конституировано, но это могут быть готтентоты, сапотеки, американцы или какие-то другие культуры. Эта ситуация может изменяться с течением времени, в структурном развитии, что тоже нельзя объяснить с помощью понятия аутопойесиса. То есть по-настоящему большой объяснительной ценностью оно не обладает. И это причиняет неудобства социологам, рассудительным и осторожным в вопросах методологии. Признать основополагающими тезисы, которые не обладают реальной объяснительной ценностью, не формируют гипотезы и не приводят в действие эмпирический аппарат – это

противоречит нормальному научному учению, если придерживаться представления, что теории должны быть инструкциями для эмпирического исследования, т.е. должны давать прогнозы относительно структур. Согласно этому представлению, теория аутопойесиса является метатеорией, подходом, который своеобразным способом снова отвечает на вопрос «Что?»: «Что такое жизнь?», «Что такое сознание?» или «Что есть социальное?» – «Что такое социальная система независимо от того, в каком виде она явлена?» На эти «что-вопросы» (и это тоже идея Матураны) отвечает понятие аутопойесиса.

По окончании длинного курса по эволюции жизни, прочитанного Матураной, к нему подошел студент и сказал, что он в принципе все понял, но не понял только, что же, собственно говоря, в итоге возникло. Вот тут Матуране пришлось задуматься. Вопрос о том, что такое жизнь, биолог обычно не задает. И в социологии вопрос о том, что есть социальное, – это не тот вопрос, который сильно занимает данную дисциплину. Вопросы о том, что такое душа или что такое сознание, в такой форме не характерны для психологии. «Что-вопросы» не приветствуются, а понятие аутопойесиса нацелено именно на эти вопросы.

Здесь речь идет, если угодно, о новом обосновании теории, однако вместе с тем это означает, что дальнейшая работа потребует гораздо больше понятий, чем одно слово «аутопойесис». Само понятие дает мало рабочей информации. Системная теория должна обогатиться понятиями на более общем уровне, чтобы затем иметь возможность работать с данным понятием, принимать решения и разделять явления. В связи с этим в следующем часе нам будет важна тема структурной сопряженности, так как с помощью различных структурных сопряженностей Матурана пытается объяснить то, что он называет «structural drift». Это значит, что структурное развитие системы или какого-то типа системы зависит от того, какой структурной сопряженности с окружающим миром она или он подлежит.

Позвольте мне упомянуть еще два момента, которые касаются современной дискуссии о понятии аутопойесиса. Я считаю важным сохранить однозначность и строгость данного понятия: система или является аутопойетической, или не является таковой. Она не может быть «немного аутопойетической». Ведь в отношении корня «ауто» очевидно, что операции системы либо

производятся в системе, либо в каких-то важных аспектах задаются окружающим миром, например, программой, по которой работает компьютер. Здесь действует принцип «или-или». В отношении жизни это ясно: человек или живет, или он мертв. Бывает, что в течение считанных секунд врачи могут сомневаться, жив человек или уже умер. Женщина или беременна, или не беременна, но она не может быть немножко беременной. Этот пример приводит сам Матурана, *ipsissima verba*. Это означает, что концепция аутопойесиса не имеет степеней сравнения, что в свою очередь означает, что эволюцию комплексных систем нельзя объяснить с помощью понятия аутопойесиса. Если все же попытаться это сделать, то в итоге мы приходим к теориям, которые утверждают, что система постепенно становится более аутопойетической. Изначально она целиком зависит от окружающего мира, а потом постепенно приобретает автономию: сначала структуры становятся более независимыми от среды, более или менее или совсем чуть-чуть, а потом постепенно система становится все более аутопойетической в своих операциях. Есть такая тенденция в литературе. Гюнтер Тойбнер во Флоренции сделал соответствующее предложение, чтобы обеспечить возможность включения эволюционно-теоретических размышлений в теорию аутопойетических систем⁴⁸. Между тем мне известны также работы по экономике предприятия, в которых выделяются в некотором роде степени, или мера аутопойесиса, или автономии предприятий, что приводит к таким концепциям, как «относительная автономия»⁴⁹. Система относительно автономна. Она в некоторых аспектах независима от окружающего мира, а в некоторых – зависит от нее. Однако в строгом понимании слово «аутопойесис» ничего не говорит о зависимости или независимости от окружающего мира. Ведь это каузальный вопрос, в каких аспектах система зависит от окружающего мира или как окружающий мир воздействует на

48 См. Teubner Gunther. *Recht als autopoietisches System*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. S. 38 и далее; см. также печатную версию дискуссии в: Teubner Gunther, Febbrajo Alberto (Ed.) *State, Law, and Economy as Autopoietic Systems: Regulation and Autonomy in a New Perspective*. Milan: A. Guiffre 1992.

49 См. Kirsch Werner, zu Knyphausen Dodo. *Unternehmungen als „autopoietische“ Systeme?* // Staehle Wolfgang H., Sydow J. (Hrsg.) *Managementforschung I*. Berlin: de Gruyter, 1991. S. 75-101.

систему. И это опять-таки вопрос, который нужно задавать наблюдателю системы.

Кроме того, нельзя исходить из принципа суммарного постоянства, согласно которому система является тем более независимой от окружающего мира, чем менее зависимой она является. Многочисленные наблюдения свидетельствуют, что у очень сложных систем, отличающихся высокой степенью автономии (если у этого слова могут быть степени сравнения), возрастают одновременно независимость и специфическая зависимость. В современном обществе экономическая система, правовая система или политическая система являются в значительной мере независимыми, но в такой же значительной мере они зависят от окружающего мира. Если экономика не процветает, то и в политике возникают сложности, а если политика не может дать определенных, например, правовых гарантий или если политическое вмешательство слишком сильное, это становится проблемой для экономики. Мы должны (и это снова возвращает нас к тезису об оперативной закрытости) различать каузальную зависимость/независимость, с одной стороны, и операции, производимые самой системой, с другой стороны.

Я и сам совсем не уверен, убедительно ли все это в конечном итоге. У нас в европейской культуре особенно сильно представление, что все следует переводить в каузальность, а такие выражения как, например, «операция производит операцию» или такие понятия, как «производство», всегда трактовать с точки зрения каузальности. Это не позволяет помыслить оперативную закрытость совершенно отдельно от каузальных теорий. Мы все время соскальзываем к представлению о том, что тезис оперативной закрытости есть особый тезис о внутренней каузальности систем. Это в определенном смысле так. Ее можно преобразовать в каузальность. Однако в принципе это следует понимать таким образом, что условие способности подсоединения не является достаточным условием для того, чтобы достичь следующего состояния. Именно это содержится в понятии «структурная сопряженность», с рассмотрения которого я хочу начать следующую лекцию.

Шестая лекция

Сегодня я начну с раздела, посвященного структурной сопряженности, и для этого еще раз обращусь к рассуждениям о различении операций и каузальности и об оперативно закрытых системах, так как резкое подчеркивание оперативной закрытости в дискуссии вокруг аутопойесиса оставляет открытым вопрос о том, как регулируются отношения с окружающим миром, т.е. какие имеются формы и понятия для описания отношения между системой и внешним миром. Эта проблема становится еще более острой, если мы исходим из того, что отношения между системой и окружающим миром, – это не нечто случающееся время от времени, но связано с самим понятием системы. Ведь понятие системы является понятием различия; это, как я уже говорил, форма с двумя сторонами, где на одной стороне расположена система, а на другой – окружающий мир. И если соединить эти две понятийные стратегии, то возникает вопрос, как система связана с окружающим миром и насколько точно системная теория может представить эту зависимость в своих понятиях.

Я думаю, что требования к точности презентации, а также к дифференцированности понятийного инструментария растут и классические концепции им уже не удовлетворяют. Это относится, с одной стороны, к эволюционно-теоретической концепции, которая демонстрирует тенденцию к двум видам объяснения. В первом варианте отношение между системой и окружающим миром объясняется с точки зрения побуждения к вариациям и объявляется случайным. Здесь используется понятие случая и утверждается, что системы могут развиваться в окружающем мире, которая случайным образом побуждает систему к изменениям, так что, например, по химическим причинам происходит мутация, которая сначала не согласована с жизнеспособностью, но затем, если она оправдывает себя, она может удержаться. Во втором варианте работают с теорией естественного отбора (natural selection) жизнеспособных форм, которые тоже не предусмотрены в самой системе, но возникают из экологических контекстов живых существ. Это относительно слабые в по-

нятийном плане концепции, которые связаны с представлением о том, что эволюцию невозможно спрогнозировать, что, таким образом, не существует каузальных законов, которые ведут систему и окружающий мир в направлении эволюции, а что речь здесь идет о статистике.

Немногом отличается от этого идея *order from noise* – идея хаотического шума в окружающем мире, который в системе может быть преобразован в порядок⁵⁰. Здесь тоже не говорится, как это происходит, а говорится только, что система обладает способностью из простого шума создавать порядок в самой системе. В этом случае, в отличие от эволюционной теории, объяснение соотносится с самостью (*das Selbst*). Идея заключается в том, что информация есть продукт самой системы. К этому мы еще вернемся. Но то, каким образом шумы могут трансформироваться в информацию, помимо утверждения, что система может это делать, не очень понятно.

В этом пункте я хотел бы сделать, по крайней мере, еще один шаг вперед, причем как раз с помощью понятия структурной сопряженности, которое появляется у Матураны⁵¹. Правда, я немного поработаю над ним и буду использовать его не совсем в том виде, который, наверное, подразумевал Матурана. Здесь снова возникнет вопрос, является ли данное понятие достаточно точным для того, чтобы заполнить пробел между системой и окружающим миром, поскольку Матурана исходит из того, что к системе применимы два высказывания. С одной стороны, система имеет аутопойетическую организацию. Понятие «организация» нам не подходит, потому что мы как социологи имеем другое представление об организации. Возможно, достаточно будет сказать, что для системы характерно аутопойетическое воспроизводство, которое либо происходит, либо не происходит и отличается очень широким спектром возможностей структурного развития, который не предопределен понятием аутопойесиса. Другое высказывание гласит, что система имеет специфические структуры, которые различаются в зависимости от вида живого существа: у млекопитающих они не такие, как у птиц, у рыб не такие, как у червей, а у бактерий не такие, как

50 См. Foerster Heinz von. Über selbstorganisierende Systeme und ihre Umwelten // Foerster Heinz von. Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 211-232.

51 См. вышеупомянутые работы.

у мышей. Бывают разные структуры, и тезис гласит, что структурное развитие возможно до тех пор, пока функционирует аутопойесис. Когда он уже не функционирует, жизнь прекращается, а вместе с ней исчезает всякая возможность развивать или использовать структуры.

Имея в виду это различие, Матурана вводит понятие структурной сопряженности. Данное различие позволяет утверждать, что аутопойесис должен функционировать в любом случае, так как иначе системы просто не будет, но что, с другой стороны, сопряженность между системой и окружающим миром относится только к структурам и ко всему тому, что в окружающем мире может при определенных условиях быть релевантным для структур. Так, сила притяжения земли согласована с мускулатурой живого существа, которое должно двигаться, если вообще хочет выжить. Мы видим ограничение шансов на выживание необходимостью движения для организмов определенного уровня сложности и организацию возможности двигаться в соответствии с условиями жизни на земле. Это и есть случай структурной сопряженности. Это понятие согласовано с аутопойесисом системы, т.е. структурная сопряженность не пересекается с аутопойесисом системы. Матурана иногда формулирует это таким образом, что структурная сопряженность «ортогональна» аутопойесису, т.е. нет такого переноса причинности из сферы структурной сопряженности в сферу аутопойесиса, который можно было бы назвать каузальным законом. Окружающий мир может разрушить систему, но не может способствовать ее сохранению. Именно это и означает понятие аутопойесиса. Причино-следственные отношения между системой и окружающим миром не выходят за пределы структурной сопряженности.

Итак, у Матураны мы читаем, что все структурные сопряженности совместимы с автономией и аутопойесисом системы. Это также означает, что данные понятия не предусматривают возможности сравнения, когда можно сказать, что что-то является более или менее автономным, более или менее аутопойетическим. Структурная сопряженность может принимать любые формы, если она совместима с аутопойесисом системы. Акцент делается на совместимости.

Мы должны еще немного поработать над этим понятием

структурной сопряженности и прежде всего в отношении того, что сопряженность, как нам подсказывает понятие формы, есть двусторонняя форма. Она не относится к окружающему миру в целом, потому что не все, что вообще существует, структурно сопряжено с системой. Сопряженность всегда очень избирательна. Что-то в нее включается, а что-то исключается. То, что исключено, вполне может оказывать каузальное воздействие на систему, но тогда оно будет исключительно деструктивным. В сфере структурной сопряженности, напротив, содержатся возможности, которые система может использовать, преобразуя их в информацию. С этой точки зрения можно было бы сказать, что структурная сопряженность, с одной стороны, оказывает исключающее воздействие (и в этой области система индифферентна), а с другой стороны, направляет в определенное русло каузальности, которые система может использовать. При этом сохраняется обязательное свойство понятия, в соответствии с которым оно всегда совместимо с аутопойесисом. Именно поэтому существует возможность влиять на систему – если при этом не разрушается аутопойесис. Это можно было бы сформулировать по-другому, сказав, что обусловленный структурной сопряженностью раскол окружающего мира на исключенное и включенное имеет тенденцию к сокращению релевантных отношений между окружающим миром и приспособлению их к узкому каналу влияния и что только в этом случае система может как-то переработать раздражения и каузальности. Только в том случае, если не все сразу воздействует на систему, а имеются готовые высоко выборочные паттерны, система может реагировать на раздражения и «пертурбации» (Матурана), т.е. может понимать их как информацию и в соответствии с этим приспособлять структуры или запускать операции по их преобразованию.

Редукция комплексности, исключение массы событий в окружающем мире из сферы воздействия на систему является условием того, что система может как-то отреагировать на то немногое, что ею допускается. Или, если сформулировать это совсем абстрактно, редукция комплексности есть условие увеличения комплексности.

Для иллюстрации этого можно привести два примера. Первый касается того, как мозг структурно сопряжен с окру-

жающим миром посредством глаз и ушей. Он обладает очень узким диапазоном проникающих ощущений, который сокращает то, что можно увидеть, в частности, ограничивает спектр цветов, а также то, что можно услышать. И только за счет этого система не перегружена воздействиями извне, и только за счет этого могут формироваться эффекты научения и комплексные структуры внутри мозга. Нашему наблюдению дан небольшой диапазон внешних контактов при невероятном развитии структурной мощности самого мозга и невероятной способности к обработке тех немногих раздражений, которые поступают в систему. И мы видим, что это опять-таки совместимо с аутопойетической структурой, с оперативной закрытостью системы. Все определено тем, что система не сама вступает в контакт с окружающим миром, а только получает фотохимические или акустические раздражения через волны и затем, с помощью своего собственного аппарата, создает из них информацию, которой нет в окружающем мире, поскольку там существуют только ее корреляты, видимые, в свою очередь, только наблюдателю.

Конечно, это известно исследователям мозга, и здесь нет ничего нового⁵², но и в социологии можно было бы прийти к аналогичным рассуждениям, если задаться вопросом, каким образом сопряжены сознание и коммуникация, две различные аутопойетические системы. При этом нужно учитывать тот факт, что сознание и коммуникация существуют только тогда, когда есть структурная сопряженность. Невозможно себе представить, что сознание возникло бы эволюционным путем, в отсутствие коммуникации. Точно так же нельзя себе представить, что могла бы существовать осмысленная коммуникация без наличия сознания. Таким образом, должна была существовать некая координация, которая, будучи соотносительной с разными формами аутопойесиса, привела к увеличению комплексности, с одной стороны, в сфере возможных содержаний сознания, а с другой стороны, в сфере социальной коммуникации. Мне кажется, что механизмом этой сопряженности является язык. Это означает, что возникновение сознания (в значении непрерыв-

ного внимания к идентифицируемым восприятиям, шумам и тому подобному), с одной стороны, и возникновение непрерывной коммуникации, а не просто спорадической подачи знаков, с другой стороны, связаны с языком. Согласно этому тезису, структурная сопряженность и аутопойесис в сфере сознания, с одной стороны, и в общественной сфере, в сфере социальной коммуникации, с другой стороны, должны были возникнуть одновременно. Сначала, вероятно, комплексность, радиус действия и дифференцированность этих систем были сравнительно низкими, но в том состоянии, в котором они известны нам, они обладают невероятной комплексностью, которая теперь отражается в самом языке.

Здесь структурная сопряженность означает, что язык многое исключает, чтобы включить немного, и потому сам становится сложен. Если исходить из устной речи, то исключаются все шумы, за исключением немногих артикулированных звуков, которые могут действовать в качестве языка. Даже самые незначительные вариации, смещения, замена одного звука другим делают коммуникацию невозможной и смущают сознание. Ему приходится искать, что бы это могло означать, потому что оно уже не понимает. В оральной и акустической сфере мы имеем дело с высоко селективными *паттернами*. То же самое относится к письму. Лишь очень немногие стандартизированные знаки годятся в качестве письма, а все, что помимо этого можно увидеть, просто не принимается во внимание. Структурная сопряженность — это высоко селективная форма, которая использует относительно простые образцы. Так, например, в высокоразвитом алфавитном фонетическом письме очень мало букв, а в самом языке очень мало стандартизированных регистров тона и акустических знаков, которые, однако, за счет того, что они настолько сокращены, позволяют развивать высококомплексную комбинаторику, которая, в свою очередь, воздействует на сознательные и коммуникативные процессы.

Отсюда мы можем заключить, что общество сопряжено с окружающим миром только посредством сознания, а потому нет никаких физических, химических и чисто биологических воздействий на общественную коммуникацию. Все должно быть проведено через игольное ушко коммуникации. При всем интересе к индивиду и обществу это никогда по-настоящему не

52 См. Foerster Heinz von. Über das Konstruieren von Wirklichkeiten // Foerster Heinz von. Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 25-49.

обсуждалось в социологической литературе, потому что считалось само собой разумеющимся. Редукция есть условие развития высокой комплексности внутри общественной системы. Если бы химические процессы имели смысл сами по себе, без участия людей, если бы химия могла влиять на коммуникацию, то, вероятно, исчезла бы всякая возможность контроля внутри системы коммуникации, включая контроль адресатов и зависимость коммуникации от памяти.

С одной стороны, узкий диапазон возможностей влияния при колоссальном наращивании мощности, усложнении и повышении вероятности; с другой стороны, исключение всех других фактов и ситуаций во внешнем мире, если только они не оказывают деструктивное воздействие, — все это обозначается понятием структурной сопряженности. Возможность деструкции есть всегда, и это показывает, что эволюция, создавая структурные сопряженности, обусловленные все большим числом факторов, и нуждаясь в них для приспособления аутопойесиса систем к окружающему миру, повышает свой собственный разрушительный потенциал. Сегодня общество зависит от многих экологических факторов, которые, однако, могут иметь только разрушительное воздействие. Узкая область коммуникации, находящейся под влиянием сознания, — это единственная область, в которой общество может помочь само себе. Очевидно, что этот анализ применим к сегодняшней экологической ситуации.

В обоих случаях, т.е. и в том, как мозг соотносится с физико-химическим окружающим миром, и в том, как сознание соотносится с коммуникацией, примечательно то, что структурная сопряженность постоянно воздействует на аутопойетическую систему. Речь идет не просто о спорадических воздействиях время от времени. Структурные сопряженности заботятся о постоянном обеспечении сознания, социальной системы коммуникации или мозга возбуждениями.

Но каков точный смысл того, что структурная сопряженность совместима с аутопойесисом? Можем ли мы сформулировать это более точно? Прежде всего, я не устаю повторять: окружающий мир не детерминирует структуры системы. Структурные сопряженности не детерминируют состояние системы. Они лишь обеспечивают систему нарушениями, если можно так сказать. Матурана говорит о «пертурбировании» системы. Я

предпочитаю понятия «возбуждение», «раздражение» или, если смотреть с точки зрения системы, «резонансная способность». Структурные сопряженности активируют резонанс системы. Если же используется понятие нарушения, то нужно ясно осознавать, что мы здесь уже имеем дело не с теорией равновесия. Теории равновесия тоже активно использовали понятие нарушения. Все модели равновесия в двух аспектах были ориентированы на нарушения. Во-первых, с точки зрения легкости и вероятности нарушения. Если представить себе весы, то достаточно незначительного перевеса, нескольких грамм на одной чаше, и равновесие уже нарушено. О подобных идеях, возникших в XVII в. и касавшихся искусственности торгового баланса (*balance of trade*) или международного равновесия, мы уже слышали. Незначительный перевес — несколько солдат — на стороне французов, и вот уже Пруссия должна наращивать вооружение, чтобы сохранить равновесие. Однако, с другой стороны, всегда существовало представление, что есть некая инфраструктура, некий аппарат, который служит самосохранению равновесия, так что нарушение, с одной стороны, ведет к восстановлению равновесия, к ценовой манипуляции, вооружению или чему-то еще, в зависимости от того, какая равновесная модель у нас перед глазами, но что, с другой стороны, эти возможности не безграничны и в итоге происходит утрата равновесия либо разрушение. Если при этом исходили из динамического равновесия, то дальнейшее развитие теории заключалось в утверждении, что система может найти другое равновесие. В отношении равновесия сил в Европе разрабатывается другая типология коалиций; торговый баланс тоже может быть уравновешен по-другому, не так, как прежде. Равновесие не должно сохраняться за счет возврата к прежнему состоянию; оно может динамично развиваться, как это предполагают, например, идеи прогресса или функциональных эквивалентов. Тем не менее по сути эта модель, которая вообще-то является метафорой, предусматривает равновесие в качестве условия стабильности и описывает систему как стабильную на основании ее равновесия или, если вспомните вводную лекцию нашего курса, связывает сохранение структуры или сохранение состояния системы с понятием равновесия.

Сегодня это кажется спорным во многих отношениях. С од-

ной стороны, в естественных науках существует представление, что именно неравновесные состояния могут быть стабильными, а экономисты считают, что системы стабильны либо тогда, когда слишком много товаров и слишком мало покупателей, либо наоборот, когда слишком много покупателей и слишком мало товаров. Точное соответствие было бы слишком неустойчивым для того, чтобы достичь хоть какой-то стабильности. Так, социалистические системы поддерживают дефицит товаров, а капиталистические, наоборот, дефицит потребителей. В любом случае имеет место неравновесие, которое стабильно. Это одна тенденция, ставящая под сомнение старую модель. Если же исходить из идеи аутопойесиса, оперативной закрытости, структурной сопряженности, то модель равновесия оказывается спорной уже в силу того, что неравновесие и равновесие пришлось бы рассматривать как функциональные эквиваленты, поскольку и то, и другое служит поддержанию стабильности.

Поэтому понятие нарушения или возбуждения, раздражения, пертурбирования имеет другой смысл, и вопрос теперь заключается в том, как, отказавшись от модели равновесия, можно понимать нарушение с точки зрения самой системы? Возможно, вернее всего было бы представить себе, что у системы есть определенные структуры и, следовательно, некий диапазон возможностей, определяемый ее операциями, который предельно ограничен тем, что вообще принимается во внимание в качестве пойсесиса, но также и тем, что может обрабатываться в рамках существующего структурного образца, без глубоких и необозримых структурных изменений. Так что нарушения всегда соизмеримы структурам или, в области осмысленных процессов, возможным операциям или ожиданиям, которые сохранились в системе и отсюда поставляют информацию. Нарушение, информация, возбуждение передают в систему из сферы возможного что-то актуальное на данный момент. Это может дать толчок поисковым или идентификационным процессам. В первый момент, когда вы чувствуете запах гари, вы можете не знать, идет ли речь о пожаре или это всего лишь подгорела на плите картошка или что-то в этом роде. И все же при определенных видах запаха есть ограниченный диапазон возможных интерпретаций. Вы не подумаете, что в бензобаке нет бензина, если будет пахнуть горелым. Или нет, может быть, и подумаете. В конце

концов, диапазон возможностей согласуется с темпом и мощностью системы в отношении обработки информации.

Итак, нарушение означает запуск процесса переработки информации, который может оперативно осуществляться внутри системы. Так, например, в сознании нарушение может преодолевать с помощью размышления или переориентации восприятия на область нарушения, а в коммуникации нарушение может подвергаться коммуникативной обработке. Мы задаем встречные вопросы, тематизируем нарушение, предупреждаем других, т.е. переводим то, что можно сформулировать вербально внутри системы (хотя в окружающем мире это проявляется не в словесной форме), в системный процесс, который не может гарантировать результат, но все же дает возможность запустить систему и поддерживать ее в рабочем состоянии. Понятие нарушения отделяется от модели равновесия и используется для описания того, что скорее можно было бы назвать процессом переработки информации. Хотя я не очень хорошо осведомлен в этой области, я предполагаю, что и в экономике сегодня происходит подобное переключение с моделей равновесия на модели переработки информации. Общий знаменатель этих трансформационных процессов в теории связан с вопросом о том, как система реагирует на то, что она воспринимает как нарушение, хотя в окружающем мире это вовсе не является нарушением: восстанавливает равновесие, находит другое равновесие или запускает процессы переработки информации, которые согласованы с мощностью системы?

Это не в последнюю очередь означает, что понятие информации тоже нужно привести в соответствие с этой новой интерпретацией. С 1950-х гг. понятие информации так интенсивно разрасталось, что это плохо отразилось на его ясности. Так, например, шла речь о генетической информации и, соответственно, структуры трактовались как информативные, что в терминологии биологов означало, что генетические коды содержат информацию, хотя речь идет о структурах, а не о событиях. Кроме того, неясной осталась семантическая сторона этого понятия и, следовательно, вопрос о том, из чего информация может выбираться. Если иметь в виду эти два аспекта и попытаться огранить их в понятии информации, это, во-первых, будет означать, что информация – это всегда событие, т.е. совсем не то, что сущес-

твует постоянно. Например, Билефельдский университет – это не информация; и хотя вы каждый день сюда приходите, вы не активизируете каждый раз новую информацию, рассуждая: «Он по-прежнему здесь стоит». И завтра вы не удивляетесь, что он по-прежнему стоит на своем месте. Билефельдский университет – это структура, не обладающая информативной ценностью. Конечно, она имеет смысл – у вас же есть определенное представление, зачем вы сюда ходите, но она не дает новой информации. Таким образом, следует отличать смысл или же структурные, относительные инварианты от эффекта неожиданности, присущего информации. Во-вторых, понятие информации нужно снова выстраивать как понятие-форму, т.е. рассматривать его как понятие с двумя сторонами. С одной стороны, есть удивление, но, с другой стороны, удивление есть только потому, что мы чего-то ожидали и ограничили область возможностей, внутри которой информация может сказать именно это, а не что-либо иное. Если ваш знакомый должен приехать на новой машине, то есть определенная область возможностей относительно того, какая это будет машина. Вы не ожидаете увидеть кресло космонавта, когда он говорит, что приедет на новой машине.

Информация всегда подразумевает, что одну возможность отделяют от других возможностей и ту или иную возможность в области возможностей получают в качестве информации. Информация – это выбор из области возможностей⁵³, а если этот выбор повторяется, то он уже не содержит информации. Если все время говорят одно и то же, то смысл остается неизменным, но информация либо полностью исчезает, либо ограничивается тем фактом, что кто-то, очевидно, видит смысл в том, чтобы снова и снова говорить одно и то же, и это удивляет, поскольку обычно ожидается, что за каждым предложением следует другое, а не то же самое предложение, как это бывает, когда пластинка заедает и все время играет одно и то же. Но и тогда брак пластинки интерпретировался бы по контрасту с ее нормальным функционированием.

В этом понятии проявляется еще одна двойственность, сформулированная в часто цитируемом предложении Грегори Бейтсона, что информация есть «a difference that makes a differ-

53 См. об этом понятии: Shannon Claude E., Weaver Warren. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: Illinois UP. 1963.

ence», т.е. различие, делающее различие. У Бейтсона это просто утверждается⁵⁴. Мы видим текстовую фразу, не обдумывая условия этой формулировки. Однако в контексте данной лекции мы можем увидеть, что понятие колеблется между двумя различиями, т.е. не говорит о единстве. Речь идет о «difference», т.е. об отличии от того, что было бы возможно, о различии, меняющем состояние системы. Речь идет о двух дифференциях: во-первых, о различии, а во-вторых, о состоянии системы до и после проведения различия, т.е. после того, как оно стало известным.

Все это в совокупности приводит к заключению, что информация может быть только внутри систем. Каждая система производит информацию. Это следует из ряда причин, связанных с данным набором понятий. Прежде всего, пространство возможностей, которое может себе представить система или о котором может идти речь, является ограниченным пространством возможностей, существующим в качестве возможности только в системе. В окружающем мире этой возможности именно в таком виде нет⁵⁵. Система должна уметь формировать ожидания, чтобы увидеть возможности. Она должна иметь типы или схемы, чтобы суметь их упорядочить. Результаты этой деятельности могут очень сильно различаться от системы к системе. Весь процесс отбора является внутрисистемным процессом, а не представлен в готовом виде в окружающем мире. Кроме того, от конкретной системы зависит и временная структура. Ведь может быть так, что нечто уже давно существует снаружи, вне системы, и это может обнаружить другой наблюдатель, но конкретная система узнает об этом только в определенный момент времени. Этот момент времени определяется способом оперирования самой системы. Так что нет смысла утверждать, что в окружающем мире содержится масса информации и что только ее перенос в систему зависит от самой системы. Система обращается к своим собственным состояниям, к возбуждениям,

54 См. Batesen Gregory. Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. Например, S. 582.

55 См. об этом также: Foerster Heinz von. Bemerkungen zu einer Epistemologie des Lebendigen // Foerster Heinz von. Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 116-133.

которые она переживает, чтобы сделать из этого информацию и потом уже работать с ней. Это также означает, что информация не состоит из плотных частиц или постоянных элементов, которые могут быть перенесены из окружающего мира в систему.

Если вы отметите это про себя и как-нибудь посмотрите соответствующую литературу, вы увидите, что обычное словоупотребление в этом отношении довольно недифференцированное, и в том числе в науках о коммуникации и даже именно в них вы найдете всевозможные высказывания о переносе информации и тому подобном. Если вы читаете, что масс-медиа, газеты, новости переносят (транслируют) информацию, то это подразумевает неясное понятие информации или, другими словами, предполагает наблюдателя, который может установить, что определенный текст, после того как его прочитали, известен сознанию, или что определенный текст, после того как его распространило агентство новостей, появится в газетах. Но информация каждый раз заново образуется только тогда, когда это происходит. Из какого контекста осуществляется выбор, каждый раз решается по-разному. Только наблюдатель упрощенно и в общих чертах может установить совпадение (тождественность). И если мы хотим знать, какие совпадения он устанавливает, нужно наблюдать его самого, наблюдать наблюдателя.

Наверное, это следовало бы объяснить еще раз на примере. Одно из самых драматичных событий последних двадцати-тридцати лет — распад социалистической экономики, которая была явно не в состоянии трансформировать информацию из экономики в политику. Центральные органы планирования в действительности не были проинформированы о том, что происходило в экономике, какое бы значение ни имело понятие «экономика» в этом контексте: они могли только видеть, выполняются их планы или нет, и все участники планового процесса, в свою очередь, могли видеть, что центральные органы планирования видят, выполнены планы или нет. Речь шла о политической схеме плановых величин, которые более или менее реализовывались, и на это была ориентирована вся система. Можно было обеспечивать информацию либо за счет фактических данных, либо за счет фальсификаций, фиктивных показателей и тем самым поддерживать весь процесс обработки информации, не допуская при этом, чтобы внутри экономики курсировала другая, отличная от

политической, информация. С некоторыми ограничениями, наверное, можно даже сказать, что экономика и политика не были разделены в отношении процесса обработки информации, так как в экономике принималась во внимание только эта политическая, или правительственная, информация.

Немного отличается ситуация в рыночной экономике. Я предполагаю, что и здесь информация, которую мы рассматриваем как экономическую, хотя и имеет реальное основание в диспозиции фирм и банков, но в суммарные индексы типа показателей безработицы, стоимости валют на мировом рынке и так далее она объединяется опять-таки исключительно в политических целях, и политика, таким образом, работает с данными, которые хотя и являются обобщенными данными из экономики, но информативная ценность для политики приписывается им исключительно политическими средствами, в то время как на уровне операций в фирмах значение имеет совершенно иная информация. В фирмах обращают внимание на баланс, на получаемые заказы, на цены, на то, как обстоят дела с конкуренцией, на рост и спад спроса и, соответственно, производственные возможности. Этот информационный мир относится исключительно к экономической системе. Ориентируется ли здесь кто-нибудь на статистику по безработице, это еще большой вопрос. Внутри экономики информацией считаются рыночные показатели. Фирма читает эту информацию с помощью своей собственной бухгалтерии, т.е. она, со своей стороны, тоже имеет дело с той информацией, которую сделала сама и которая просто совпадает с другой информацией с точки зрения наблюдателя. Содержание информации производится и разрабатывается в системе.

Пока, наверное, достаточно о понятии информации, которое в некотором роде заняло место, принадлежавшее раньше более претенциозным моделям равновесия. Однако оно обладает меньшими прогностическими возможностями в отношении того, как система будет себя вести, поскольку, в соответствии с идеей аутопойесиса, это опять-таки дело самой системы.

А сейчас я вернусь к понятию структурной сопряженности, чтобы показать на двух примерах или дать вам самим подумать над тем, выигрываем ли мы что-нибудь с введением этого понятия и если да, то что. Первый пример касается эволюции, а второй — социализации.

Теория эволюции занята в основном объяснением того, почему существует такое широкое разнообразие видов живых существ, т.е. структур, в которых налажен аутопойесис жизни. Как возникает это многообразие, которое в прежних теориях всегда требовало какого-то теологического или креационистского объяснения, потому что люди не могли себе представить, что нечто подобное могло возникнуть без соответствующего намерения. Эволюционная теория отмежевывается от теологического объяснения, но тогда и перед ней встает эта проблема: как объяснить факт возникновения такого разнообразия видов? Если в этом вопросе исходить из аутопойесиса, то в самом аутопойесисе еще не предусмотрено и не предопределено, какие виды вообще возможны. Аутопойесис – это, как я уже говорил при первом его упоминании, принцип, не обладающий большой объяснительной ценностью. Жизнь – это однократное изобретение, которое даже в зародыше не содержит всего того, что из этого получится. Есть много возможностей, которые оказались непригодными, которые были забыты, которые появились, но потом снова исчезли, а, с другой стороны, есть широкое многообразие существующих форм жизни. Аутопойесис не является чем-то вроде самодифференцирующегося принципа. Это отбросило бы нас назад к мифологии, к древним учениям о зародышевой энергии, которая изначально заложена и когда-нибудь проявится. В этом раньше видели изначальный смысл развития: сначала все было в одном, а потом раскрывалось во многом.

В отличие от этого, аутопойесис объясняет эволюцию только в связи с условиями совместимости структур. Поэтому нужны оба понятия, которые различает Матурана: аутопойетическая организация и структура. Только таким образом можно объяснить, как эволюция опытным путем определяет то, какие структуры совместимы с аутопойесисом, а какие нет. В этой теории акцент делается на совместимости аутопойесиса и структурного развития. Речь идет об описании возможности. В ретроспективной оценке, аутопойесис или изобретение способа функционирования, пригодного для аутопойесиса, – это всего лишь основа, образец, который может поддерживаться только за счет того, что принимает много различных форм. Если представить себе, что аутопойетическая система может выжить, имея только один тип структур, то ее шансы на выживание были бы зна-

чительно меньше, так как ввиду структурных сопряженностей существовала бы большая вероятность разрушения. Эволюция может пережить подобное разрушение, потому что всегда есть другие возможности для структурного развития аутопойесиса жизни в направлении увеличения комплексности.

Это, кстати, также означает, что нельзя сказать, будто структурная комплексность формируется потому, что она в большей мере способствует выживанию и что более сложные системы имеют больше шансов на выживание, чем менее сложные. Это не так уже с эмпирической точки зрения. Комплексность следует рассматривать как побочный эффект аутопойесиса, можно сказать, эпигенетическую деформацию жизни. Это чудо, что она все еще продолжается даже тогда, когда из-за увеличения комплексности для балансировки системы с окружающим миром необходимы все новые структурные сопряженности. Например, есть подвижные живые существа, которые обладают некоторыми преимуществами, поскольку сами могут искать себе пропитание, но, с другой стороны, они зависят от окружающей среды в тех аспектах, в которых неподвижные живые существа независимы от нее. Или же живые существа с центральной нервной системой: им необходимо, чтобы температура крови была всегда на одном и том же уровне, а также выполнялось множество других разнообразных условий. Зависимость от окружающего мира возрастает, структурные сопряженности возрастают, комплексность возрастает, и если в эволюционной теории Дарвина критерием была большая приспособленность к среде, то с точки зрения аутопойесиса в принципе можно сказать только, что это функционирует, что биохимия жизни, очевидно, может принимать такое множество разных форм, что все по-прежнему продолжается, хотя и становится все сложнее, связи между системой и окружающим миром становятся все сложнее и приходится использовать все более (относительно) невероятные структурные сопряженности.

То же самое можно, наверное, сказать и об эволюции культур или обществ, если употреблять эти понятия во множественном числе. Здесь коммуникация тоже совместима с огромным разнообразием. После того как коммуникация была однажды изобретена или, лучше сказать, после того как она однажды возникла не просто как спорадическое согласие живых существ, а как

постоянный механизм, который заставляет беспокоиться, когда люди сидят вместе и не общаются – вспомните известное изречение Пауля Вацлавика о том, что невозможно не общаться⁵⁶, за исключением, наверное, попутчиков в одном куне, но здесь есть особое разрешение не общаться, – коммуникация, по-видимому, действовала как эволюционный потенциал, т.е. как адаптация к функциям восприятия тех, кто присутствует, или к фантазии и воззрениям тех, кто высказывается письменно. Хотя коммуникация всегда остается коммуникацией, хотя аутопойесис всегда является аутопойесисом, существуют самые разные структуры того, что можно сказать и относительно чего добиться понимания. Сфера доступных для понимания сообщений и, в конечном итоге, сфера допустимого, т.е. готовности других следить за тем, что сообщается, благодаря самым разным дополнительным культурным приспособлениям коммуникации может достичь огромного разнообразия и невероятности. Так, язык предоставляет определенные формы как для утвердительных, так и для отрицательных высказываний. С помощью языка все, что говорится утвердительно, можно выразить и отрицательно, при этом не теряя шансов на то, что тебя поймут. Этому можно удивляться бесконечно долго, потому что ведь обычно отрицание всегда скорее деструктивно. Если бы что-то отрицалось в области жизни, то мы ожидали бы уничтожения или чего-то подобного, но в языке отрицание связано только с тем, что можно понять смысл сообщения. Коммуникация функционирует и в том случае, когда говорят: «Я этому не верю», «Я бы этого не хотел», «Я этого не хочу», или когда дают отрицательное указание: «Не делай этого». Утвердительное и отрицательное в равной мере доступны для понимания. Коммуникация, аутопойесис функционируют, а культура или общество оказываются перед проблемой, как поступить с отрицаниями, которые именно в том случае, если они поняты, демонстрируют тенденцию к развитию конфликта и, соответственно, нуждаются в механизмах его разрешения.

Культурное развитие может породить крайне маловероятные способы коммуникации и, вслед за этим, поведения. Мы не удив-

56 Watzlawick Paul, Beavin Janet H., Jackson Don D. *Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern: Huber, 1969. S. 50 и далее.

ляемся им только потому, что мы к ним привыкли. Подумайте только о том удивительном факте, что вы здесь сидите и слушаете настолько непонятную лекцию, что ее оправдывает только ее теоретическая специализация. Почему вы это делаете? Почему коммуникация здесь функционирует? Почему вы все не бежите отсюда прочь? Но есть и другие примеры. Почему вам дают что-нибудь поесть только из-за того, что вы заплатили? Почему кто-то потакает вашим капризам только из-за того, что любит вас? Для этого должны существовать образцы, которые функционируют коммуникативно, но которые, на деле, не предусмотрены в изобретении коммуникации. Как же тогда можно объяснить возникновение такого многообразия, если не исходить из того, что способ функционирования, порождаемый подобными системами, совместим с очень многими различными структурными образцами и, например, язык, независимо от того, отрицается ли что-то или утверждается что-то совершенно невероятное, по-прежнему понимается, и что вследствие этого усиливается также раздражимость, т.е. структурная сопряженность с состояниями сознания? В обществе, например, усиливается чувствительность к мнениям других, так что люди опасаются открытых конфронтаций, ищут обходные пути, обманывают, умеют разгадывать чужое лицемерие и, относясь к нему с пониманием, обходиться с ним средствами коммуникации, и так далее, и тому подобное. Это структурные сопряженности между сознанием и коммуникацией, которые развились как бы вдогонку, уже в ходе эволюции, с тем чтобы достичь более высокого уровня комплексности.

Если отталкиваться от аутопойесиса, то все, что происходит, не заложено в самом способе функционирования, т.е. не нужно думать, что существует природа жизни или природа коммуникации, которая сама по себе стремится к самораскрытию, сама по себе ориентирована на совершенство, многообразие, комплексность. В качестве наблюдателей мы лишь наблюдаем то, что это возможно. Для нас уже неприемлема никакая теория прогресса. Мы не можем сформировать сознание превосходства современного дифференцированного мира или общества над более примитивными формами. Для этого в самой теории нет никаких оснований, похожих на те, которые в ограниченном объеме еще были представлены в прежней естественнонаучной

теории. Есть только удивление по поводу того, что все это еще функционирует, т.е. что в условиях высокой комплексности по-прежнему есть аутопойесис.

Эволюция – это один пример. Другой пример касается социализации. Здесь прослеживаются довольно точные параллели, хотя я не стану утверждать, что теорию эволюции в неизменном виде можно применить к развитию сознания. Прежде всего, нужно исходить из того, что сознание – это отдельная аутопойетическая система, что значит: внимание может функционировать с помощью различения, что в этой системе является чисто сознанием, а что – объектом. Система сознания осуществляется через различение того, реагирует ли она на самореференцию или на внешнюю референцию. Если согласиться с этим указанием, то возникает вопрос, как происходит согласование коммуникативных фактов, т.е. общества, и сознательного потенциала. Социологическая традиция утверждает, что это происходит за счет передачи определенных структурных образцов от поколения к поколению. Культура накапливает ролевые ожидания, шаблоны, определения ситуаций, ценностные образцы и тому подобное, а поскольку они предлагаются снова и снова, молодое поколение перенимает эти образцы, которые у них оказываются теми же самими, что и у других. Однако, как и во всех размышлениях над вопросами передачи, здесь тоже снова возникает вопрос о том, как достигается эта тождественность. Каким образом ваше представление об университете может совпадать с моим представлением об университете, когда я должен демонстрировать совершенно иное поведение по отношению к университету, чем вы? Как можно говорить о тождественности, если в это не вовлечен наблюдатель, который должен назвать определенные признаки университета и на основании этого, очень избирательного обозначения констатировать тождественность?

Отсюда возникает сомнение, можно ли вообще понять теорию социализации, построенную в соответствии с моделью передачи. Это сомнение несколько не развевается и в том случае, если представить себе реципрокные взаимоотношения, т.е. представить себе, что агент социализации, учитель, воспитатель, т.е. тот, кто воспринимает себя как образец правильного поведения и демонстрирует это поведение, сам учится в процессе социализации. Он учится подстраиваться к пределам возможностей уча-

щегося. Это тоже постулирует процесс передачи.

Если же исходить из аутопойесиса, то социализация означала бы самосоциализацию. Только сам человек может привести себя в форму, которая в социальном общении удовлетворяет определенным требованиям, выполняет определенные условия или может вызывать определенные типы реакции, в частности, отрицательного характера. Я полагаю, что только так, а не с помощью тезиса о передаче образцов, можно объяснить невероятное многообразие индивидов. Если исходить из того, что сознание – это своего рода чистый лист, и отвлечься от того факта, что в нем в любом случае присутствует хотя бы минимальная биологическая предзаданность, будь то врожденные механизмы постижения языка по Хомскому или имеющие биологическую основу инстинкты, то сознание демонстрирует огромное разнообразие форм. Если же, наоборот, рассматривать культуру и предлагаемые ею структуры и образцы как относительно единообразные, то тогда необходимо объяснить, каким образом достигается такой высокий уровень индивидуальности, который мы наблюдаем. Отправная точка, предлагаемая теорией аутопойесиса, представляется здесь более удачной. Теория аутопойесиса указывает на то, что каждая система создает свои собственные структуры и на основе создания своих собственных структур, собственных предпочтений, в том числе собственных слов, которыми умеют или не умеют обходиться, собственных предложений, которые можно повторять, на основе таких первичных структур может выстраивать свои собственные структуры. При этом система получает раздражающие импульсы от своих собственных структур, становится в ограниченном смысле способной реагировать и благодаря этому может идти своим особым путем, который не предзадан никакими культурными предписаниями.

Ведь для индивидуальности нет никакой культурной программы. Разумеется, есть программа в том смысле, что нужно быть индивидом и самореализовываться. Но эта формула, призывающая быть как можно более оригинальным, быть не таким, как другие, одеваться не так, как другие, и так далее, в конечном итоге сводится к копированию тривиальной и банальной программы, т.е. как раз к тому, чтобы не быть индивидом. Об этом в XIX в. еще с религиозной точки зрения велась дискуссия, в

ходе которой указывалось на то, что индивидуальность дарована Богом и дана вместе с душой, а эйфория светских философов по поводу индивидуальности и того, что нужно быть индивидом и стараться им стать путем образования или чего бы то ни было еще, по сути является коллективным психозом. Уже эта дискуссия показала, как тщетны усилия стать индивидом посредством социализации, если предположить, что социализация осуществляется путем передачи образцов. Если же исходить из аутопойсиса, то легче понять, что структуризация собственного сознания человека, его памяти и его предпочтений есть результат индивидуальной истории системы, которая не в последнюю очередь связана с выбором, предоставляемым культурой, по актуализации конформности или девиации. Если бы речь шла просто о передаче, а все другое нужно было бы описывать как недостаток, то невозможно было бы объяснить, как возникает индивидуальность, поскольку тогда, в зависимости от степени культурной дифференциации, существовало бы только многообразие копий. Но если каждому индивиду, каждому сознанию, находящемуся в процессе социализации, дается шанс принять или отклонить, сказать или подумать либо «да», либо «нет» и искать индивидуальность в отклонении, то тогда, вероятно, мы придем к гораздо лучшей теории возникновения личностного своеобразия из истории тактической адаптации, девиации, которую удалось отстоять, или утаиваемой девиации, признания норм, которые индивид не может полностью одобрить, или интернализации норм, которые сначала принимаются только по принуждению, но затем, вследствие необходимости согласования с собственным поведением, в большей или меньшей степени принимаются также внутренне. Эти различные пути, которые открываются перед индивидом и которые совместимы с аутопойсисом, являются более удачной отправной точкой для теории социализации, нежели модель передачи образцов.

Этим анализом я подвожу итог моим рассуждениям о структурной сопряженности. Я попытался представить вам понятийный аппарат, который, как мне кажется, обладает большим объяснительным потенциалом, чем относительно простые системные теории более ранней традиции, такие как теории равновесия или теории, работавшие с каузальными моделями. Решающее значение имеет идея чрезвычайно устойчивого и

крайне восприимчивого к самым разным структурам аутопойсиса, который практически невозможно разрушить. Жизнь – устойчивое изобретение. Коммуникация – чрезвычайно надежная, безотказная операция: всегда можно еще что-то сказать, если ты попал в затруднительную ситуацию. *Structural drift* такого устойчивого способа функционирования практически невозможно предсказать, и именно поэтому в результате возникает такое невероятное разнообразие. Я не вижу возможности объяснить это традиционным способом.

Но сейчас наступает поворотный момент. До сих пор я все время говорил только об операциях, исходя из основополагающей посылки, которая сохраняется и теперь, а именно: если мы хотим понять, каким образом системы производят сами себя, мы должны исходить из операции, а не из неразложимых элементов. Но теперь я хочу сделать заявление, важное в первую очередь для следующей лекции: теперь появляется наблюдатель. Отныне все становится по-другому. Это меняет всю композицию теории, отдаляя ее от простого онтологического языка, который я использовал до сих пор, говоря, что существуют операции и что их нужно учитывать. Теперь же мы зададимся вопросом, кто это говорит. Я, конечно, могу сказать: «Да это я вам говорю, я наблюдатель, я оратор, и это мой способ выражаться; если вы хотите понять, что я говорю, во-первых, вы должны понимать, что это говорю я, что бы это ни означало для других». Если мы вводим наблюдателя, оратора или кого-то, кому можно что-то вменить, мы релятивируем онтологию. В действительности же, если мы хотим сказать, что происходит, мысль о наблюдателе всегда должна присутствовать, т.е. всегда приходится наблюдать наблюдателя, называть наблюдателя, обозначать системную референцию, если мы хотим сделать высказывание о мире.

Когда этот теоретический порог преодолен, то дальше уже вообще не будет чистой онтологии. Тогда уже нет мира без наблюдения, а тот, кто говорит, что он есть, он просто говорит это. Тогда необходимо знать, что существует теория, система, наука, способ коммуникации, сознание или что-то еще, что утверждает, что мир устроен так-то и так-то. Если вы позволите мне на мгновение вступить в область философии, то, в отличие от традиции, онтология уже не является допущением относительно

реальности, в отношении которого можно исходить из того, что все увидят одно и то же положение вещей, если только должным образом поразмыслят; отныне онтология сама становится схемой наблюдения, а именно схемой наблюдения на основе различия: это есть или этого нет, т.е. на основе различия бытия и небытия. Онтологическую традицию можно было бы описать как обнаружение этого различия. Независимо от того, согласятся ли с этим философы или нет, мы теперь всегда имеем дело с таким описанием мира, которое фильтрует представление положения вещей, включая цели, готовности к действию и тому подобное, через отсылку (референцию) к наблюдателю. Всегда возникает вопрос, кто это говорит, кто это делает и с точки зрения какой системы мир видится так, а не иначе.

Вы, наверное, помните, что уже на прошлой лекции мне было трудно оставить наблюдателя за рамками моего изложения. Например, рассматривая область каузальности, я был вынужден сказать, что каузальность есть схема наблюдения, поскольку я не знал, как это выразить по-другому. Один считает эту конфигурацию причины и следствия важной, у другого – другое видение релевантного, другие временные горизонты, другие тенденции в видении каузальности вместо чего-то еще. До этого момента мы тоже не могли обойтись без релятивизации относительно наблюдателя или без указания на то, что необходимо наблюдать наблюдателя, если вы хотите знать, что происходит. В разделе о «наблюдателе» я просто хочу радикализировать это положение. Если вводится наблюдатель, то не остается ничего, что можно было бы сказать независимо от наблюдателя. «Все, что говорится, говорится через наблюдателя». – говорит Матурана⁵⁷. Я не хочу полностью заимствовать понятие Матураны, и в следующем часе я еще вернусь к теории наблюдения, чтобы рассказать о ней более подробно. Сейчас важно только, чтобы вам стало ясно, что это предполагает другую онтологию или другую метафизику, более комплексную метафизику и что это – я не совсем уверен, как мне это выразить – связано с радикальностью понятия аутопойесиса. Это можно

57 Так, в «Познании» Матурана пишет (S. 34): «Все, что говорится, говорится наблюдателем. Своими высказываниями наблюдатель обращается к другому наблюдателю, которым мог бы быть он сам; все, что характерно для одного наблюдателя, характерно и для другого».

увидеть уже у Матураны, но он ограничивается случаем жизни и проблематикой координации живых существ. Если абстрагироваться от этого и сформулировать идею аутопойесиса в общем виде, то ссылка на наблюдателя приводит к определенным понятийным проблемам, которыми мы займемся на следующей лекции.

Сейчас важно только, чтобы вы увидели, что через всю системную теорию проходит разлом, разделяя, с одной стороны, тех, кто остается на уровне наблюдения первого порядка, как мы теперь должны говорить, и описывает положения вещей, объекты: «существуют» операции, «существует» социализация, «существует» сознание, «существует» жизнь и так далее – и это утверждается таким образом, как если бы это было само собой разумеющимся, как если бы не было возможности других различий, других тематизаций. Мир представляется таким образом, как будто он в компактном виде присутствует именно таким, каким он описывается. С другой стороны оказываются те, кто развивает такой вариант теории, когда все как бы модализируется относительно референции, наблюдателя, наблюдающей системы или наблюдающей операции. Я не могу сейчас об этом рассказать более подробно, но у меня есть основания полагать, что в современном обществе наблюдение наблюдателя, смещение реалистического сознания к описанию описания, к восприятию того, что говорят или чего не говорят другие, стало обычным способом восприятия мира, причем во всех значимых функциональных областях: как в науке, так и в экономике, как в искусстве, так и в политике. Информацию о положении вещей теперь получают, только узнав, что говорят об этом другие. Сам человек тоже может быть для себя другим. Совершенно необязательно всегда считать истинным одно и то же; если человек хочет занять критическую позицию по какому-либо вопросу, он должен наблюдать сам себя и думать о том, какие у него есть причины, чтобы не разделять это мнение, игнорировать эту моду, считать эту политику плохой, хотя другие считают ее хорошей. В концепции наблюдения – я пока говорю это очень расплывчато – содержится определенная новизна, а по сравнению с традицией имеет место утрата реальности. Нам больше не нужно знать, каков мир, если мы знаем, как он наблюдается, и умеем ориентироваться в области наблюдения второго порядка.

Если кто-то приходит и утверждает, что он это знает, и пытается нас поучать, мы всегда можем спросить и, несомненно, predisположены к вопросу о том, кто он, собственно говоря, такой и откуда он. «А то ходят тут всякие». Кто-то говорит то, что думает, а мы должны принимать это как факт? Мы лучше сами разберемся в этих делах, ориентируясь на такие легитимирующие системы, как наука, экономика, политика или СМИ, от которых мы хотя и зависим, но которые, в свою очередь, тоже лишь наблюдают наблюдения. Пока это сказано только для того, чтобы вызвать у вас интерес к следующей лекции. В ней мы несколько подробнее рассмотрим тему наблюдателя.

6. Наблюдение

Седьмая лекция

В предыдущей лекции я уже сказал о том, что теперь нам предстоит обсудить наблюдателя. О наблюдателе, в свою очередь, может говорить только наблюдатель, так что мы сразу оказываемся как бы в центре замкнутого круга, который угрожает нам тем, что все вышесказанное нам придется еще раз повторить с указанием того, кто, собственно, наблюдает и кто, собственно, говорит. Здесь имеет место своеобразная радикальность концепции, которая в литературе никогда не объясняется должным образом. Встречаются формулировки, которые на нее намекают, но вам, наверное, было бы очень сложно по ключевому слову «observer» найти более или менее полную информацию о том, что происходит в связи с использованием этого понятия. Поэтому я несколько задержусь на этом разделе, затем сэкономив время на рассмотрении теме *reentry*. Это понятие ненадолго появится в самом конце лекции.

Ну, во-первых, я думаю, нужно начать с различения между наблюдением и наблюдателем. Наблюдение рассматривается как операция, а наблюдатель — как система, которая образуется, если подобные операции представляют собой не единичные события, а соединяются в некие последовательности, которые можно отличить от внешней среды. Таким образом, мы используем понятия, которые нам уже встречались, и это не лишено смысла. Чтобы описать наблюдателя, мы используем терминологию, к которой мы, как я надеюсь, уже привыкли. Мы описываем операцию, которая происходит в виде события — в какой-то определенный момент времени, и используем термин для обозначения того, что возникает, если эта операция соединяется с другой операцией и приводит к различию между системой и внешней средой. Используя понятия операции и системы, мы находимся на знакомой территории. Наблюдатель не появляется где-то над реальностью, он не парит над вещами и не наблюдает сверху за тем, что происходит. Он также не является — и к этому сравнению я еще вернусь — субъектом вне мира объектов; нет, он находится в самой середине, в самой гуще, так сказать, вещей.

Речь идет об операциях, причем в двояком смысле. С одной стороны, наблюдатель наблюдает операции, но для того, чтобы он мог это делать, он сам должен уметь оперировать. Если он не наблюдает, то он и не наблюдает. А если он это делает, то он должен это делать. Таким образом, он сам находится в том мире, который он тем или иным образом пытается наблюдать или описывать. В ходе разработок компьютеров, в частности, если выражаться старомодно, вычислительных машин фон Нейманна⁵⁸ выяснилось, что операция, которая использует или, возможно, создает какую-то программу и с помощью которой система может контролировать саму себя, происходит внутри системы. Существует только один этот уровень, но на этом уровне и появляются сложности, вводимые через наблюдателя.

С одной стороны, наблюдатель наблюдает операции, но с другой, он сам является операцией. Он вообще может появиться только в качестве операции и никак иначе. Он является образованием, возникающим из соединения операций. Из этого различия операции и наблюдения следует различие, которое, вероятно, лежит за пределами системной теории; оно еще более абстрактно и, возможно, имеет шансы когда-нибудь стать фундаментальной теорией для междисциплинарной науки. В этом контексте различие системы и окружающего мира было бы одним способом наблюдения наряду с другими, например, с различием знака и означаемого, формы и медиума или любых других различий, которые в данный момент выходят на первый план. С этой точки зрения, различие операции и наблюдения является более радикальным, чем сама системная теория. С другой стороны, системная теория снова улавливает это различие в силу того, что она принимает оперативный подход, включает в себя концепцию оперативной закрытости аутопойесиса и описывает, каким образом получается так, что наблюдение производится системой, которая производится наблюдением. И в этом циклическом соединении заключается одна из особенностей сегодняшней дискуссии, которая с трудом совместима с классическими понятиями и служит показателем своеобразной радикальности и независимости этой точки зрения. Нам должно быть ясно, что мы здесь вступаем в область,

58 См. Neumann John von. The Computer and the Brain. New Haven: Yale UP, 1958.

которая раньше обычно находилась в ведении философии, даже если понятия и связанные с ними идеи возникали не из интерпретации классических философских текстов.

В чем же специфика операции «наблюдение»? Я хотел бы предложить вам рассмотреть этот вопрос в терминологии Спенсера Брауна и сформулировать это так: наблюдение есть применение различия для обозначения одной и необозначения другой стороны. То, что я ссылаюсь на Спенсера Брауна, не означает однозначной отсылки к исчислению форм, что являлось главной темой книги «*Laws of Form*», а означает только использование понятийности, обрамляющей работу над исчислением форм в начале и в конце. Каким образом наблюдатель неожиданно возникает на заключительной фазе расчетов, хотя его фигура предполагается уже в начале, — этот вопрос более чем оправдан применительно к ходу исчислений. Сам Спенсер Браун, вне всякого сомнения, видел этот вопрос и задал его в одной из последующих книг об истории своей любви «*Only Two Can Play This Game*»⁵⁹. Здесь он имеет в виду другое исчисление и сам выступает в роли того, кто сделал это первое исчисление, но ничего с его помощью не добился в делах любовных. Любовь — это не арифметическая или алгебраическая операция. Понятно, что Спенсер Браун знал, что он предлагает ограниченную модель, для которой ему необходимы, по крайней мере, бумага, на которой он может записывать *marks*, и он сам, но при этом сам он не может появиться в самих исчислениях, а появляется только в самом конце, где он говорит, что *observer*, наблюдатель сам является *mark*, т.е. разметкой внутри тех рамок, в которых проводится исчисление. Но, я думаю, мы можем этим пока пренебречь, если мы отметим для себя только самую суть определения, что без различия ничего нельзя наблюдать и что применение этого различия должно быть асимметричным. Оно должно обозначать одну, а не другую сторону. Это верно невзирая на то, что при обозначении уже предполагается различие, т.е. подразумевается, что есть другая сторона, которую в данный момент не обозначают, другая сторона, которая в данный момент в оперативном отношении не имеет значения, на которой не находятся, на которой ничего не делают, от которой

59 См. Keys James (он же Джордж Спенсер Браун). *Only Two Can Play This Game*. Cambridge: Cat Books, 1971.

не отталкиваются, на которой нельзя установить повторения. На эту сторону можно при случае перебраться путем пересечения («crossing») границы, но в тот момент, когда что-то делается, в момент актуальности настоящего, она хотя и присутствует именно сейчас, но не используется. Это очень своеобразное внедрение асимметрии в форму, которая в то же время является симметричной и в которой ничего не получится без двух сторон. Ничего не получится также и без единства двух сторон, т.е. без *единого* различия, но то, что получается, происходит только на одной стороне, а не на двух сторонах одновременно. Если бы использовались обе стороны, то различие саботировало бы само себя и тогда уже не было бы никакого различия.

Если вы помните о том, что Кант ввел трансцендентальную теорию ввиду необходимости асимметрии, утверждая, что условия эмпирического познания сами не могут быть эмпирическими условиями, то вы понимаете, что теория, по-видимому, должна строиться на некотором соотношении симметрии и асимметрии. В нашем случае это происходит своеобразным способом – через наблюдателя, который использует одну сторону, а другую сторону только подразумевает одновременно с первой.

В терминологии, которую предпочитает Хайнц фон Фёрстер, это можно было бы сформулировать следующим образом: различие есть «слепое пятно» наблюдения⁶⁰. Необходимо концентрироваться на одной стороне. Так, например, мы находимся в университете, а не где-нибудь в другом месте, но различие между университетом и всем остальным (и всем остальным!) не играет сейчас никакой роли. Мы не можем отразить это различие еще раз, если мы настроились на то, что мы сейчас в университете, в этой аудитории, на этой лекции, с этим профессором и так далее. Это можно выразить также, сказав, что единство различия делается невидимым. Если бы мы захотели сделать его видимым, мы столкнулись бы с парадоксом, заключающимся в единстве различия. Тогда нам пришлось бы сказать так же, как Ранульф Гланвилл сформулировал тему своего доклада: *The Same is Different*⁶¹, т.е. одинаковое различно. И

60 См., например: Foerster Heinz von. Über das Konstruieren von Wirklichkeiten // Foerster Heinz von. Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 25-49.

61 Glanvill Ranulph. The Same is Different // Zeleny Milan (Ed.)

вог тут-то можно крепко застрять. За этим можно внимательно наблюдать, колеблясь между «same» и «different», но так никогда и не выбраться из этого парадокса, если только не сделать смертельное, в некоторой мере креативное сальто, предложив другое различие взамен первого.

Рефлексия, или обозначение различий, отнюдь не исключается этим размышлением, но теперь для этого нужно использовать другое различие. Конечно, можно говорить о различиях. Именно это я и делаю, но для этого нужно иметь возможность отличать различия от других различий или от того, что различием не является. Эта проблема имела определенное значение в теологии. В принципе нет ничего, что было бы недоступно для наблюдения. Можно наблюдать различия, можно, например, говорить о различии добра и зла, можно задаться вопросом, когда уместно моральное различие, а когда нет. Если вы что-то приобретаете в ситуации обычных торговых отношений, вы не станете использовать различие, злое это приобретение или доброе, злая эта продавщица или добрая. Вы пожелаете знать, сколько это стоит или, возможно, каков этот товар на самом деле. Таким образом, вы примените другое различие, а если кто-нибудь придет и скажет: «У злого человека я ничего не куплю, а эта женщина явно капиталистка, вон у нее калькулятор, а в кассе – одни деньги», то у вас возникнет ощущение, что вы имеете дело с неправильным категориальным аппаратом и, чтобы иметь возможность оперировать, действовать как обычно, нужно использовать другие различия. Тем не менее, если вы примените другое различие, например, *личное/безличное, моральное/коммерческое* или какое-нибудь другое, то это различие опять-таки невидимо для вас. В этом случае вы снова не можете спросить, в чем единство различия морального и коммерческого.

При использовании различия за вами всегда остается слепое пятно или область невидимого. Вы не можете наблюдать самих себя в роли того, кто использует различие; вы должны сделать себя самого невидимым, если вы хотите наблюдать. Или, другими словами, вы, конечно, должны уметь проводить различие между наблюдателем и наблюдаемым, т.е. вы долж-

ны знать, что вы наблюдаете нечто, что не является вами сами, но вы не можете еще раз отразить это различие. Хотя мир в принципе открыт для наблюдений и не предписывает никаких сущностных форм для выбора различий, которые следует применять в определенных случаях в силу того, что так предусмотрено природой или космосом, устроено в мироздании и теперь нужно делать именно так, — но существует необходимость всегда манипулировать слепым пятном или невидимостью единства различия, потому что без различия вы вообще не сможете наблюдать, независимо от того, о каком различии идет речь, и потому что вы не сможете отразить единство различия.

Итак, при любом наблюдении одновременно конструируется что-то невидимое. Наблюдатель должен сделать себя невидимым в качестве элемента различия между наблюдателем и наблюдаемым. Поэтому — и я еще вернусь к этому в связи с другим вопросом — есть только перемещение границы между тем, что видно, и тем, что не видно, но нет никакого просветительского или научного разъяснения мира как совокупности вещей, форм или сущностей, разъяснения, которое можно было бы постепенно выполнять и когда-нибудь выполнить, даже если речь идет о практически бесконечной задаче. В классической теории, напротив, еще присутствовало представление о том, что люди накапливают все больше и больше знаний и что при этом не нужно каждый раз что-то затемнять, чтобы обозначить что-то определенное.

Позвольте мне сделать некоторые пояснения. Пока мы охарактеризовали только операцию «наблюдение» и описали наблюдателя как результат соединения таких операций в цепочку, как продукт рекурсивной сети, как она обсуждалась применительно к аутопоиску. Теперь необходимо объяснить некоторые моменты, чтобы вы поняли контекст, в котором употребляется понятие наблюдателя.

Для начала следует указать на один момент, который всегда вызывает сложности. Можно повторять это хоть сто раз, все будет бесполезно. Наблюдатель — это не то же самое, что психическая система, это не то же самое, что сознание. У него есть совершенно формальное определение: различие и обозначение. Это может делать и коммуникация, ведь говорят о чем-то

определенном и то, о чем говорят, выхватывают из всего остального в качестве темы. Таким образом, используется различие: об этом и ни о чем другом. Или же используется какое-нибудь специфическое различие: сейчас мы говорим о наблюдателе, а не о чем-нибудь другом. Следовательно, система коммуникации, по крайней мере эта, обладает способностью наблюдать. Это приводит к ужасной путанице в словоупотреблении, если иметь в виду одновременно психические и социальные системы. Представьте себе школьный класс. Учитель наблюдает за учениками — это обычное дело. Ученики наблюдают за учителем — они должны это делать. Учитель также наблюдает, что ученики за ним наблюдают. Но теперь сюда добавляется еще и то, что интеракция наблюдает за учениками, а иногда даже и за учителем — это редко, но бывает: учитель становится темой дискуссии на занятии. Социальная система наблюдает за психическими системами; психические системы наблюдают за психическими системами; психические системы могут наблюдать за социальными системами: «Почему сейчас спрашивают именно это, почему он все время задает вопросы, на которые я не могу ответить?» Происходящее можно тематизировать психологически или коммуникативно. Главное указать системную референцию. Когда в обычной беседе говорят о наблюдателе, то все автоматически думают о психических системах, о сознании, но это не подразумевается в определении или с точки зрения предполагаемой комплексности и абстрактности инструментария.

Я пока хочу оставить открытым вопрос о том, можно ли выйти за пределы социальных и психических систем и сказать, что, например, живые клетки, мозг, иммунные или гормональные системы тоже наблюдают. То, что иммунная система может дискриминировать, уже ясно. То, что мозг может дискриминировать, обрабатывая одни стимулы и не обрабатывая другие, тоже ясно. В отношении клеток, иммунных систем и мозга исследователи мозга и биологи в целом — я сейчас не имею в виду этологию, изучающую поведение животных, это отдельная проблема — задаются вопросом о том, можно ли сказать, что мозг наблюдает, когда он дискриминирует, или что иммунная система наблюдает, различая состояния организма. Мозг тоже наблюдает только состояния организма, но делает это с точки зрения информативной ценности, как говорят биологи. Я хочу оставить

этот вопрос открытым. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, по-видимому, иметь биохимический эквивалент для другой стороны различения. В нас всегда присутствует идея отрицания, в соответствии с которой мы имеем в виду именно это, а не все остальное, и вербально формулируем это через отрицание. Но что могло бы служить биохимическим или живым эквивалентом для другой, неиспользуемой стороны в случае мозга, иммунной системы или отдельной клетки?

Я только упомянул об этой проблеме, но в науке уже ведется дискуссия, в ходе которой тоже поднимается вопрос о том, а можно ли вообще перенести понятие наблюдателя в биологию, из которой оно в некотором роде пришло вместе с теорией Матураны. Матурана связывает понятие наблюдателя с языковой компетенцией, но при этом придерживается биологической теории языка, понимая его как координацию координации интеракции организмов⁶². Это своеобразное фиксирование позволяет обойти проблему в том виде, в каком ее сформулировал я. Для лекции по социологии достаточно и того дополнения, что наблюдателя можно рассматривать тоже как социальную систему. Система социальной коммуникации тоже является наблюдателем. Это что касается первого пункта.

Сложности возникают при соотношении понятия наблюдателя с понятием субъекта и субъектно-объектной схемой. Во-первых, мы, как и во всяком другом различении, в случае субъекта и объекта сталкиваемся с вопросами о том, кто является наблюдателем, который использует различение, для чего проводят различение между субъектом и объектом и когда это происходит. Те же самые вопросы мы задавали в случае различения между системой и внешней средой. Наблюдатель — это последняя фигура, которая, в свою очередь, нуждается в объяснении, и это объяснение может быть дано только посредством более конкретных терминологий, т.е. определенных различений. Так, можно было бы сказать, что мы отказываемся от различения системы и окружающего мира и вместо него берем различение субъекта и объекта. По отношению к традиции, работающей с понятием субъекта, здесь, как мне кажется, имеет место как преемственность, так и разрыв связей. Существует определенная свобода выбора.

62 См. Maturana Humberto R. *Biologie der Realität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000. S. 93 и далее.

продолжать ли работать с термином «субъект» или нет. Должен ли наблюдатель называться субъектом? Будет ли это разумным развитием классического понятия, если иметь в виду кантовскую терминологию. Фихте или последующую философскую дискуссию, или нам следовало бы придавать больше значения различению и отмежеванию от данной классической терминологии? В подобных вопросах, на мой взгляд, нет правильного решения, а есть лишь возможность четко высказать то, что имеется в виду. Например, я продолжаю работать с понятием демократии по очевидным причинам социального одобрения, хотя его смысл уже другой: речь не идет о власти народа. Так что иногда я принимаю решение в пользу преемственности, а иногда — в пользу разрыва связей.

В отношении понятия субъекта момент разрыва кажется мне более важным, если мы хотим выявить характерные свойства фигуры наблюдателя. Концепция самореференции сохраняется и развивается дальше. Сознание, мышление, «нус», разум всегда могли быть направлены на самих себя. «Noesis noeseos», мышление мышления — это античное, аристотелевское понятие. Субъект тоже всегда был субъектом, который знал, что он субъект, или сознанием, которое знало, что оно сознание, т.е. что оно обладает способностью к рефлексии. В этом смысле можно сказать, что мы говорим о самореферентных системах, правда, привлекая дополнительный материал помимо сознания, но мы по-прежнему имеем дело с ключевым понятием самореференции. Конечно, против этого свидетельствует то обстоятельство, что тогда мы легко теряем из виду то, что и социальные системы являются субъектами. Данная лекция является своим собственным субъектом. Это привело бы в замешательство обычного философа, работающего с понятием субъекта. Или же общество: это тоже субъект, и в этом случае все сразу подумали бы о коллективном духе или еще о чем-нибудь более или менее ужасном, т.е. попытались бы работать с аналогами сознания, что влечет за собой известные проблемы. Так что с прагматической точки зрения, чтобы избежать переноса значения с психических на социальные системы, с сознания на коммуникацию, скорее, следовало бы отказаться от термина «субъект».

Но есть, как мне кажется, еще более важное размышление. Если мы говорим, что наблюдатель использует двустороннюю

форму, и принимаем во внимание отношения, в которых это двусторонняя форма делит мир на две стороны, так что есть только эти две стороны мира и ничего третьего, — а именно так обстоит дело в системной теории, для которой есть только система и окружающий мир, а точнее различные системы, из которых те или иные оставшиеся системы образуют окружающий мир, но по сути есть только системы: мир разделен, сегментирован, разложен, расколот на систему и окружающий мир, и наблюдатель — это тоже система, которая наблюдает другие системы с помощью различения системы и окружающего мира, — так вот тогда мы сталкиваемся с вопросом о том, где же, собственно говоря, появляется наблюдатель — в системе, которую он наблюдает, или в окружающем мире? Для теории субъекта, которая в принципе исходила из того, что самореференция лежит в основе всего остального, что существует как бы некая точка, исходя из которой все может тематизироваться в качестве объектов, чрезвычайно сложно аргументировать с позиции теории дифференции. Я никогда как следует не изучал тексты данной традиции с этой точки зрения, но я полагаю, что для них вопрос о том, где появляется субъект — в системе или в окружающем мире, — показался бы странным. Для системного теоретика, напротив, легко провести различие: если речь идет о самонаблюдении, то наблюдатель — это система, которая сама себя наблюдает. Тогда он в системе. Он либо система или ее рефлексивная часть, либо развитый рефлексивный момент внутри системы, либо он находится в окружающем мире. Соответственно, мы различаем самонаблюдение и внешнее наблюдение. Система может быть наблюдаема либо из окружающего мира, если окружающий мир может выделить такого рода ресурсы, либо это система, наблюдающая саму себя.

Это решение имеет принципиальное значение для социологов, поскольку у нас есть выбор: или рассматривать себя как внешних наблюдателей, когда, например, мы говорим об экологии или о политике и не стремимся таким образом зарабатывать деньги или делать политику, или, если мы создаем теории общества, мы вынуждены действовать как внутренние наблюдатели. Коль скоро мы хотим коммуницировать, мы уже участвуем в обществе. Критика общества, если она делает общество своей темой, тоже должна прийти к выводу, что необходимо всегда те-

матизировать также саму себя как операцию внутри общества. Тем самым мы удовлетворяем определенную потребность социологии в ориентации, и нам уже не нужна третья, сторонняя точка зрения. Возможно, мы можем себе представить еще один вариант, когда имеет место *switching*, колебание между внутренним и внешним наблюдением. Это происходит, например, тогда, когда мы занимаемся социологией теологии или педагогики, имея дело с объектом, который проводит самонаблюдение системы религии или воспитания. В этом случае мы находимся вовне. Однако если мы хотим понять самонаблюдение системы, мы должны также уметь принимать такую точку зрения, которую принимает теолог, когда пытается от имени Бога обратиться в свою веру, или педагог, когда он по понятным причинам отстаивает мнение, что воспитание в конечном итоге создает что-то хорошее, а не плохое, и что нужно иметь мужество в это верить. Социология может переходить от одной точки зрения к другой и пытаться описать самонаблюдение системы извне. Насчет того, насколько ей это удастся, у меня есть некоторый опыт⁶³, но это по-прежнему сложная проблема, так как теологи, педагоги, а также юристы в этом случае всегда думают, что кто-то вмешивается в их дела и пытается что-то в них улучшить. Однако различие самонаблюдения и внешнего наблюдения показывает, что это необязательно так. Если, например, мы в духе социологии знания описываем историю теологии, мы не

63 Луман, вероятно, имеет здесь в виду дискуссию с педагогами, которая нашла отражение в сборниках статей: Luhmann Niklas, Schorr Karl Eberhard (Hrsg.) *Zwischen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an die Pädagogik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Luhmann Niklas, Schorr Karl Eberhard (Hrsg.) *Zwischen Intransparenz und Verstehen: Fragen an die Pädagogik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986; Luhmann Niklas, Schorr Karl Eberhard (Hrsg.) *Zwischen Absicht und Person: Fragen an die Pädagogik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992; Luhmann Niklas, Schorr Karl Eberhard (Hrsg.) *Zwischen System und Umwelt: Fragen an die Pädagogik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996; Lenzen Dieter, Luhmann Niklas (Hrsg.) *Bildung und Weiterbildung im Erziehungssystem: Lebenslauf und Humanontogenese als Medium und Form*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. О дискуссии с теологами см.: Welker Michael (Hrsg.) *Theologie und funktionale Systemtheorie: Lumanns Religionssoziologie in theologischer Diskussion*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

преследуем цель и не претендуем на объяснение того, как люди приходят к вере в Бога.

Таким образом, различие между самонаблюдением и внешним наблюдением играет важную роль именно для социологов. Субъект с трудом вписывается в это различие. Собственно говоря, классическое понятие не позволило бы предоставить субъекту самому принимать решение, быть ли ему в системе, которую он описывает, или вне ее. В связи с внемирным, внеземным субъектом появляются проблемы: находится ли трансцендентальный субъект вне мира? Является ли это логическим выводом из трансцендентальной теории, которая не хочет быть эмпирической теорией, а хочет ссылаться на факты сознания, которые, однако, не должны быть эмпирическими фактами, т.е. не должны быть в разрозненном виде размещены в пяти или шести миллиардах голов, а представляют собой абстракцию из необходимостей, перед которыми мы оказываемся, когда задумываемся об условиях своего собственного мышления и опыта? Это подталкивает нас к предположению, что трансцендентальный субъект существует вне мира. Но тогда возникают сложности с понятием наблюдателя, если вы соглашаетесь с решением, что наблюдатель должен оперировать и что-то обозначать, так как сложно себе представить, как можно что-то обозначать за пределами мира и при этом все же использовать различие мира и того, что лежит за его пределами, и специфицировать это обозначение.

Эти вопросы обсуждались в рамках теологии на примере понятия Бога. Если Бога как творца мира можно помыслить вне мира, то он сам отличается от мира. Но как тогда он может обозначить сам себя, как он может установить отношение к самому себе, если он должен практиковать различие, которое бы позволило ему это сделать? У теологов есть возможность сказать, что у него все иначе, что он обладает интуицией, т.е. может обозначать без различия, может напрямую обращаться к индивиду, даже если это он сам, и при этом для него нет необходимости исключать что-то или не иметь что-то в виду. У Николая Кузанского тоже есть высказывания, в которых говорится, что для Бога нет различия между Богом и миром. Он не различает, он также не отличает себя от мира, и это единство наблюдаемо только для него, причем таким способом, в суть

которого мы, будучи привязанными к различиям, не можем проникнуть. С этим можно согласиться как с теологией, но если придерживаться тенденции гуманистической теории, начиная, в частности, с Фихте, и считать субъекта индивидом, чрезвычайно сложно себе представить, как это мог бы сделать субъект, если он один из нас или если это вообще я сам, потому что мне непонятно, как я бы мог подумать о себе самом, если бы у меня не было тела и я вообще был бы не здесь, на этом месте, и не где-нибудь еще.

Я хотел бы добавить еще одно маленькое замечание, которое не совсем соответствует теме лекции, но касается вопроса о том, почему понятие субъекта имело такое значение, что меня до сих пор спрашивают, куда у меня исчез субъект. Я думаю, что сила убеждения, которой обладает понятие субъекта, связана с тем, что теория субъекта была сформулирована в такой ситуации, когда теория общества была еще невозможна. Общество Нового времени имело расплывчатые контуры. Люди знали, что они уже не живут в традиционном дворянском обществе. Многие вещи были перекомпонованы в такую временную форму, в соответствии с которой ты уже не тот, кем был, но еще не тот, кем мог бы быть, т.е. и теперь перед людьми была будущая эпоха конституционализма, прав человека, демократии, если оставаться в политической сфере, или роста благосостояния, если предоставить рыночным отношениям свободу действий. Эти слова продолжают повторять и сегодня. Для этой перспективы на будущее были неизвестны затраты, она не предусматривала никаких границ и в этом отношении становилась все более сомнительной. В этой ситуации теория общества была невозможна, разве что на основе таких грубых различий, как различие традиции и современности, рабовладельческих или аграрных сословных обществ, с одной стороны, и эмансипации и становления субъекта, с другой стороны. В этой ситуации можно было пренебречь тем, что исходя из субъекта невозможно объяснить интерессубъективность. Что такое «интер-» субъектов? Или что такое вообще другой субъект, если субъектом являюсь я сам? Если понятие субъекта означает, что рефлексия лежит в основе себя самой и всего остального — *subiectum*, то тогда сложно понять, как может появиться другой субъект. В этом случае можно сказать, что он делает это так же, как и я, но с моей точки зрения

я все же обладаю приоритетом. Я субъект, который на основе аналогии, эмпатии или, по Адаму Смиту, симпатии видит в отношении других, что они тоже являются субъектами, хотя и не знает точно, как они это делают.

Не существует удовлетворительной теории intersубъективности. Попытка Гуссерля основательно продумать тему в «Картезианских размышлениях»⁶⁴ привела к этому отрицательному результату; и социология тогда решила действовать эмпирически, просто провозглашая, что intersубъективность существует, и всё – так как никто ведь не станет утверждать, что он единственный субъект, а все остальные субъектами не являются, и что между субъектами ничего нет. Потом это было подтверждено теорией языка – вам это, наверное, известно. Но теоретическое оправдание этого шага, ведущего к феноменологии intersубъективности, отсутствует. Социологи говорили о «социальном», но как социальное в качестве особой реальности в дюркгеймовском смысле может сочетаться с теорией субъекта, так и не было до конца прояснено. С точки зрения социологии знания примечательно то, что теория субъекта могла быть убедительной в ситуации, когда общество все равно было невозможно описать, потому что еще не было теории современного общества со всеми теми ограничениями, которые мы сегодня видим в отношении экологии, риска и технологических проблем, а в большей или меньшей степени поддерживалась ориентация на достижение – через договор или политику распределения – равновесия между индивидами. В этой ситуации постепенно забывались понятийные импликации теории субъекта.

Тем не менее, в конце XX в. мы оказываемся в ситуации, в которой так уже продолжаться не может и в которой мы должны понять внутреннюю динамику социального как такового, причем независимо от вопроса о том, что при этом думают и осознанно переживают люди как конкретно-эмпирические индивиды. Можно также сказать, что решение заключается в решительном разделении понятия субъекта и понятия индивида. Если мы будем всерьез воспринимать эмпирического индивида, каждый сам себя и тех, кого он знает, то идею субъекта уже не

64 См. Husserl Edmund. Cartesianische Meditationen: Eine Einleitung in die Phänomenologie. Hamburg: Meiner, 1995. [Рус. пер.: Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998]

удастся сохранить. Это так, стороннее размышление или дополнительное оправдание отказа использовать эту терминологию в дальнейшем. Речь не идет об утверждении, что нет людей, или что даже если они есть, не стоит относиться к этому серьезно. Это что касается некоторых объяснений по поводу теоретического статуса наблюдателя по отношению к доминирующим рассуждениям о сознании, с одной стороны, и теориям субъекта, с другой.

Следующий момент касается вопроса наблюдения второго порядка, т.е. наблюдения за наблюдателем. По условиям этого понятия это не означает, что наблюдают за какими-то людьми, но означает, что наблюдают, как они наблюдают. Например, педагогика XVIII в. удовлетворяет требованиям этого понятия, поскольку обращает внимание на то, что дети по-другому видят мир, нежели взрослые. Дети – это не просто взрослые в уменьшенном формате, которые живут в том же мире, что и мы; у них другие представления, другая скорость реакции, другие страхи, другие способы оценки расстояний, другие интересы, в соответствии с которыми что-то кажется скучным или нет, и так далее. У них своя особая схема наблюдения, с помощью которой нужно наблюдать, если мы хотим проникнуть в мир ребенка и оттуда посмотреть, что имеет смысл с педагогической точки зрения, а что нет. Широко обсуждаемые исторические исследования этого рода стали известны прежде всего благодаря Филиппу Арьесу⁶⁵. Мы просто выражаем это средствами нового языка, говоря об открытии наблюдателя второго порядка. С точки зрения педагога, дети рассматриваются уже не как объекты, которые должны быть переделаны, а как наблюдатели, с учетом точки зрения которых должно выстраиваться воспитание.

Мне кажется, что теория наблюдения второго порядка, наблюдения наблюдателей, улавливает многие проблемы дискурса об intersубъективности, но придает им своеобразный оттенок, который не был предусмотрен в терминологии субъекта. Во-первых, наблюдение второго порядка является одновременно наблюдением первого порядка. Нужно наблюдать наблюдателя. Нужно что-то воспринимать всерьез, наблюдать положение вещей, на что-то ориентироваться, что-то конкретно обозначать.

65 См. Ariès Philippe. Geschichte der Kindheit. München: Hanser 1975.

Речь идет не только о логике абстрактных форм. Наблюдение второго порядка – это наблюдение наблюдателя на предмет того, что он может и – к этому я еще вернусь – что он не может видеть. Нужно специфицировать объект, с точки зрения которого затем видят мир или в отношении которого хотят понять, как он, она или оно видит мир. Если быть еще более точным, задается вопрос, с какими различиями работает наблюдатель, которого я наблюдаю. Я отличаю этого наблюдателя от других наблюдателей, но он или она различает, возможно, совершенно другим образом, например, он поступает нравственно или различает близкое и далекое, личное или безличное или что бы то ни было еще. Существует много возможностей. И тогда передо мной встает вопрос, как я объясняю себе (себе!) то, что он или она различает так, а не иначе.

Удивительно то, что мы здесь имеем дело с резкой редукцией комплексности. Мы как бы оставляем мир вне поля зрения или отодвигаем его в категорию «все остальное» или «все остальные» наблюдатели, при этом концентрируясь на одном наблюдателе. Оттуда мы как бы снова возвращаем себе мир за счет того, что интересуемся, какие различия использует наблюдатель, как он подразделяет мир, что и в каких ситуациях он считает важным, а что неважным. Таким образом, благодаря редукции комплексности, получается огромное приращение комплексности, так как отныне мы должны уметь использовать сразу два различия: наше собственное различие, которое оправдывает наблюдение именно этого и никакого другого наблюдателя, и различие, которое использует этот наблюдаемый наблюдатель. Мы имеем дело с миром, в котором все, что может быть наблюдаемо, неожиданно становится контингентным в зависимости от выбранных различий. Что бы ни наблюдалось, все становится в некотором роде искусственным, относительным, историческим или плюралистическим – какой бы термин вы ни предпочли, суть останется неизменной. И тогда, исходя из этого, можно будет реконструировать мир в целом в модусе контингенции, других возможностей быть наблюдаемым.

Мир становится медиумом, который в некотором роде позволяет всем двусторонним формам, всем различиям, всем наблюдателям быть тем, чем они являются, когда их наблюдают. Это один момент: наблюдение второго порядка есть наблю-

дение первого порядка, но такое наблюдение первого порядка, которое специализируется на увеличении комплексности с одновременным отказом от онтологической надежности данных, сущностных форм или вообще содержания мира.

Второй момент связан с тем, что с наблюдением второго порядка мы приобретаем способность наблюдать то, что другие наблюдатели *не* могут наблюдать. Стремление людей увидеть то, чего не видят другие, является любопытным и, как мне кажется, специфически европейским или «современным» достижением, которое, правда, уходит корнями в средневековье. Наверное, с открытия перспективы в эпоху Средневековья – Филиппо Брунелески и другими – начались попытки реконструировать то, как видят другие, только для того, чтобы затем самому уметь создавать оптические иллюзии, которые, как казалось тогда, соответствуют «естественному закону» фактического видения. При этом было ясно, что саму перспективу нельзя увидеть. Если восприятие пространства не искажено воздействием ЛСД или его производных и если мы не смотрим на картины Виеры да Сильва⁶⁶, где пространства множатся, выходя одного из другого, т.е. если у нас нормальное представление о пространстве, мы не видим, каким образом организовано пространственное единство в нашем видении.

Выводимая отсюда терминология перспективы всегда обязательно подразумевает представление о том, что перспектива не видима для того, кто видит с ее помощью. Это имеет последствия, во-первых, для живописи. В пространстве, нарисованном по законам перспективы, можно изобразить, что определенные люди, благодаря своему положению в пространстве, не видят определенных вещей. Что-то происходит за их спиной. Я вспоминаю одну картину, по-моему, Вермеера, на которой женщина приносит своему мужу письмо и кладет его на стол. Он не оглядывается назад, письмо как бы «приходит доставленным». Он не видит, но знает – через близость с женой и ребенком, домом и ситуацией, – что принесли письмо. Нарисовано видение того, что ему нет нужды смотреть. В живописи это можно хорошо изобразить, если уметь работать с представлениями о пространстве, т.е. уметь устанавливать перспективу, которая ис-

⁶⁶ Мария Елена Виера да Сильва – португальская художница, 1908-1992.

ключает возможность того, что одни и те же лица появляются на картине дважды, как это было в Средневековье, когда они повторно могли появиться на полотне, если того требовала изображаемая ситуация. Теперь существует только одно пространство, и поэтому можно предположить своего рода рисование невидения. Правда, из-за привязанности к пространству это не имело далеко идущих последствий. Кроме того, я затрудняюсь сказать, когда именно это началось, наверное, в XVII в., начиная с Дон Кихота, появляется также возможность представить в рассказе то, что определенные люди просто не видят определенных вещей. Дон Кихот начитался рыцарских романов, вследствие чего его зрительное восприятие реальности исказилось, и это показано с помощью параллельных, фантомных персонажей, так что даже читатель, еще не привыкший к этой технике, осознает, что определенные вещи не видны. Отныне могут появиться мотивы, основанные на невидении реальности. Это играет определенную роль в романе XVIII в., когда дело касается сексуальных интересов, стремления женщин выйти замуж, которое не должно было осознавать и в котором нельзя было сознаваться. Я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности.

Интересующее нас развитие связано с социальной теорией, с Марксом и Фрейдом. Существуют теории, преследующие своего рода терапевтическую цель – попытаться излечить и устранить слепое пятно: капиталисты не могут видеть, что они сами вызывают свою гибель. Вся экономическая теория построена таким образом, что, будучи теорией натуральных экономических отношений, она не подходит для того, чтобы запустить социальную рефлексию относительно последствий собственной деятельности. Так что капиталисты сами приближают свою гибель, и возникает проблема, нужно ли им в этом еще немного помочь или лучше подождать, пока все случится само собой. Во фрейдовской теории вы видите тот же *pattern* на уровне теории сознания: бессознательное – это именно *бессознательное*, что маркирует слепое пятно в сознании и может осознаваться только теми, кто пользуется этих людей. Представления же о терапии сводятся к тому, чтобы сначала довести до сознания то, что его блокирует, чтобы затем иметь возможность более свободно обращаться с миром. Сегодня развитие терапевтической идеи происходит в том направлении, что утверждается, что у каж-

дого своя конструкция, и терапевты тоже только конструируют, имея, правда, немного больше опыта и уверенности в себе, но и в диагностике, и в терапии они также действуют экспериментально. Здесь диагноз также является экспериментом, который не отличается достаточным уровнем саморефлексии, а видит только по результату, работает что-то или нет. Очевидно, что существует взаимосвязь между генерализацией терапевтических установок по отношению к миру, с одной стороны, и тематизацией видения и невидения, с другой стороны.

Между прочим, тема видения и невидения возникает в книге Хайнца фон Фёрстера «*Observing Systems*»⁶⁷ в связи с тем, что мы не только не видим того, чего не видим, – это ясно, ведь сейчас мы, например, не видим, как в городе зажигают рождественскую иллюминацию, и мы знаем, что мы этого не видим, – но, более того, мы не видим, что мы не видим того, чего мы не видим. Это решающий момент. Мы видим то, что мы видим, и настолько очарованы этим, что не можем в то же время видеть невидение всего остального в качестве условия видения, я бы даже сказал, трансцендентального условия видения. Это, кстати, старая метафора: глаз, который не может видеть видение, а у Фихте она меняется на прямо противоположную – глаз видит свое видение, и внутри субъекта становится светло.

Я недостаточно хорошо знаю неевропейские культуры, но у меня возникает вопрос, не является ли это наблюдение второго порядка и этот интерес к тому, чего не могут видеть другие, европейской особенностью. Интерес к «культуре» – который зарождается в то же время, т.е. около 1800 г., когда у нас вдруг появляется понятие культуры, которое сегодня снова переживает период расцвета, – это тоже желание увидеть то, чего не видят другие. Будучи в плену определенной культурной традиции, невозможно увидеть определенные вещи, которые мы – сразу невольно думается «как европейцы» – все-таки можем видеть. Если вы изучите все книги и уже появившиеся критические статьи и библиографии по ориенталистике, *ethnoscience* и тому подобному, у вас сложится впечатление, что мы постепенно понимаем, что мы, как европейцы, с интересом занимаемся наблюдением второго порядка, чтобы увидеть то, чего другие не видят,

67 См. Foerster Heinz von. *Observing Systems*. Seaside, CA: Intersystems, 1981.

но что это опять-таки очень специфический интерес, а не будущий миропорядок, в соответствии с которым все должны будут поступать так-то и так-то, и тогда все будет благополучно.

Следующий момент в рамках этих рассуждений о наблюдении второго порядка касается вопроса о том, можно ли представить себе что-то вроде постоянного отодвигания слепого пятна. Конечно, все мы знаем, что оно у нас есть, но тогда мы просто берем другое различие, слепое пятно как бы циркулирует у нас за спиной, и мы должны лишь обладать достаточным хитроумием, чтобы знать, *что* и с помощью каких различий и каких условий слепоты за нашей спиной мы можем наблюдать. Другими словами, возникает вопрос, не застреваем ли мы на некоем функциональном уровне, постоянно наблюдая наблюдения с точки зрения того, что можно и чего нельзя увидеть, довольствуясь тем, что каждый раз указываем, о *чем* наблюдении идет речь: «по наблюдению современного общества», «по наблюдению Горбачева», «по наблюдению современной физики» и так далее. У меня такое впечатление, что мы сможем выявить типичную установку современности, если будем описывать это как циркулирование слепого пятна, как установление рекурсивного аутопойесиса на уровне наблюдения второго порядка.

Я хочу привести два аргумента в пользу этого тезиса. Во-первых, мне кажется, что все современные функциональные системы размещают свою основную производственную мощность – не каждодневную работу во всех ее аспектах, а отличающие ее оперативные условия – на уровне наблюдения второго порядка. Я уже назвал педагогику: педагог должен наблюдать, как наблюдают за ним самим. Детям всегда, уже из одного чувства страха, приходилось наблюдать, наблюдают за ними или нет. Но теперь и педагоги, как ключевые фигуры этого дела, должны скрывать свои собственные установки и сначала смотреть, как наблюдают за ними и как наблюдают мир. То же самое относится и к политике. Политика вынуждена танцевать перед экраном общественного мнения. Несмотря на все опросы и обследования, ни один политик не может знать, что люди думают на самом деле; они в лучшем случае знают, что некоторые люди, согласно предварительным статистическим показателям, говорят о том, что они думают. Невозможно представить, чтобы политика или политики знали или даже просто могли бы учитывать

то, что происходит в головах отдельных людей. Это компенсируется общественным мнением, результатом коммуникации, предоставляемым для последующей коммуникации. Политика в таком случае заключается в основном в организации того, как тебя наблюдает общественное мнение, и стремиться нужно к тому, чтобы оно наблюдало тебя насколько возможно лучше, чем конкурентов. Нужно видеть, как видят тебя, как видят других, и делать это на уровне повседневных занятий, в каждый момент времени. Так, не следует проводить заседания в таких отдаленных областях, что в вечерних новостях не успеют сообщить о результатах. Нужно быть быстрее и задавать темы на несколько часов раньше других, но собственно политический момент заключается в рефлексии на наблюдение второго порядка.

В экономической системе с помощью цен ведется наблюдение за спросом или за действиями конкурентов: «Могут ли они продавать дешевле или нет?», «Как долго они тогда смогут продержаться?», «Можно ли при таких ценах еще повысить спрос?», и на этом уровне осуществляется постоянная корректировка показателей сбыта, представлений о масштабах и количествах, инвестиционных расходов. Художник тоже изготавливает форму таким образом, чтобы его искусство можно было оценить, только обращая внимание на те средства, которые используются для достижения эффекта. Мы можем это переформулировать, сказав, что искусство встраивает в свое производство различие в виде указания, как нужно наблюдать произведение искусства. Тогда уже не важны сходство с натурой и социально-политические мотивы сами по себе.

Это, как и все предыдущие пункты, нуждается в дополнительных пояснениях, но за всем этим стоит вопрос о том, поместили ли мы функционирование функциональных систем на этот уровень наблюдения второго порядка и, соответственно, практически неизбежно включили в теорию сознание контингентности, т.е. постоянно рефлектируем искусственное, изменчивое, «зависимое-от-определенных-различий» и довольствуемся этим. Это предполагает в то же время высокую степень раздражимости, высокую способность к рекуперации и восстановлению в системе. Разумеется, бывают нарушения. Случается что-то неожиданное. С этим нужно уметь справляться, чтобы это не доходило до уровня второго порядка. Время от времени

происходят внезапные, неожиданные для политики события, на которые нужно соответствующим образом реагировать. В принципе нормальное функционирование на уровне наблюдения второго порядка возможно только при условии способности к быстрому реагированию на нарушения. Нужно уметь перенаправлять денежные потоки. Нужно уметь изменять законы. Нужно уметь отступать от политических мнений и формулировать их по-новому. В области науки нужно уметь выпускать новые публикации, а прежние объявлять устаревшими.

Это что касается уровня функциональных систем. Хотя я еще не совсем уверен, что об этом можно сказать именно так, я, наверное, мог бы себе представить, что есть универсальный медиум современного интеллекта (Intelligenz), который связан именно с этим. В теории Парсонса в одной из ячеек вы найдете медиум «интеллект»⁶⁸, который, правда, недостаточно проработан, но тем не менее можно себе представить, что мы в нашем обществе, вне функциональных систем, например, вне научной работы по исследованию, проверке гипотез, сбору данных и развитию технологий, можем наблюдать современных интеллектуалов как явление, которое не растворяется в этих функциональных системах, не только производит, к примеру, более качественные результаты исследований, а обсуждает вещи вообще – в духе Карла Мангейма и его «свободно парящей интеллигенции», которая у него является просто метафорой – и, следовательно, является генерализацией наблюдения второго порядка. Таким образом можно было бы также объяснить, почему интеллектуалы говорят главным образом о других интеллектуалах, т.е. почему Хабермас описывает, каким образом Деррида описывает Ницше или Гегель описывает Канта и почему другие опять-таки описывают, как Хабермас или Парсонс описывают Вебера, в то время как критики Парсонса описывают то, как неправильно Парсонс описал Вебера. Все это происходит на уровне дискурса в процессе описания описаний, наблюдения наблюдений. Реалии вторгаются в эту аутопойстическую сеть интеллектуалов только в виде потрясений. Так, крах социалистической системы был потрясением для интеллектуалов или, по

68 См. Parsons Talcott, Platt Gerald M. Die amerikanische Universität: Ein Beitrag zur Soziologie der Erkenntnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. S. 100 и сл.

крайней мере, для многих из них. Еще до этого придумали понятие постмодерна как некую амортизирующую фигуру, чтобы теперь можно было утверждать, что все это можно было предвидеть, что речь идет просто о провале одной теории и что социальное тем не менее по-прежнему имеет этическое значение. Однако вопрос в том, способен ли этот медиум «интеллект», не имея в своем распоряжении соотнесенной с реальностью теории современного общества, на что-то другое, кроме как вести этот дискурс второго порядка и с легкостью, присущей интеллектуалам, амортизировать потрясения за счет изменения формулировок, переговаривания старых или введения новых идей. Сейчас нам предлагают возвышенное, а еще Шлегель сказал, что возвышенное – это благородное слабительное; но сегодня оно является «актуальной темой», известно, кто первым ввел его в употребление, и можно быть за или против этого. На этом уровне отсутствует вклад социологии, которая могла бы, с одной стороны, рефлексировать фигуру наблюдения, т.е. действовать посредством медиума «интеллект» в рамках теории, а с другой стороны, описывать проблематику подобного возвышения над реальностью и задействования амортизирующих механизмов. Но насчет социологов я не могу понять, знают ли они, что их работа заключается не в том, чтобы вот так, легко и непринужденно манипулируя формулировками, скользить над вещами, или же они просто не в состоянии внести свой вклад, поскольку не располагают теорией современного общества.

Наконец, несколько замечаний в связи с другой версией этой же проблемы. В литературе по этой теме встречаются формулировки, в которых ставится вопрос, как мир может наблюдать сам себя. Это, если можно так выразиться, атеистический вопрос. Как мир может наблюдать сам себя? У Спенсера Брауна и Хайнца фон Фёрстера можно найти идею о том, что мир якобы должен создать физиков, чтобы наблюдать самого себя⁶⁹. Мир создает физиков, и тогда в мире есть наблюдатель, который наблюдает мир не только как объект, но как нечто, что конструируется лишь в ходе этого наблюдения. У современной физики есть опыт деформации реалий с помощью инструментов наблюдения – вспомните хотя бы квантовую физику, если говорить о том, что нам знакомо. Известно, что наблюдатель не только

69 См. Спенсера Брауна «Законы форм» [Lübeck 1997, S. 91].

видит лишь то, что он сам придумывает, но и видит лишь те эффекты, которые он сам создаст с помощью своего оборудования. Несколько дней назад я случайно нашел одну цитату в работе по теории искусства Августа Вильгельма Шлегеля (это первый том «Лекций об изящной словесности и искусстве», 1801 г.), в которой эти вещи выглядят совершенно иначе. Там мы читаем: «Но если представлять себе природу в целом как самосознательное существо, то как бы мы восприняли предположение о том, что она изучает саму себя посредством экспериментальной физики?» И Шлегель говорит: «Это слепое блуждание в потемках»⁷⁰. Это ничего не дает. И хотя сегодня понятие субъекта не совсем адекватно и речь уже не идет о применении теории Фихте, все же и с экспериментальной физикой тоже ничего не получится. Природа наблюдает себя сама. Мне кажется, что в результате развития в области физики в XX в. этот вопрос стал легитимным: как может быть устроено самонаблюдение мира, если для этого используются различия, разделяющие мир надвое? Речь идет не просто о частных различиях вроде ««Арминия» и все другие футбольные клубы», где мир — это все остальное, которое как бы конституирует это различие. Речь идет о вопросе, как мир может раздвоиться в результате различия с отмеченной и неотмеченной, с обозначенной и необозначенной сторонами. Вполне возможно, что наш интерес к этой форме и к вопросу о том, как мир наблюдает сам себя, стимулируют, с одной стороны, современная теория языка, а с другой стороны, именно физика.

По сформулированной таким образом проблеме есть целый ряд работ, например, из области биологической эпистемологии. Матурана в принципе представляет себе наблюдателя на основании жизни и утверждает, что наблюдение жизни должно функционировать биологически, так как наблюдатель — это живое существо, обладающее языковой компетенцией. Если наблюдатель не живет, то он и не наблюдает; он мертв и ничего не видит. Но, в отличие от физики, здесь сложнее узнать, какие ограничения в отношении того, что он наблюдает, являются следствием оснащенности наблюдателя. Мне это представляется копией

70 См. Schlegel August Wilhelm von. Die Kunstlehre // Schlegel A. W. von. Kritische Schriften und Briefe. Bd. II. Stuttgart: Kohlhammer, 1963. S. 49.

проблемы из области физики, но с разной степенью точности. Мы можем сказать, что живое существо должно иметь мозг и что способность мозга к обработке данных ограничена, что он должен функционировать синхронно и для этого обладает определенной мощностью и что поэтому не может произойти того, чего произойти не может. Однако это в некотором смысле спорно. У нас есть письменность, литература, и там есть все что угодно, о чем можно прочесть и тем самым реализовать также и биологически. Здесь заключены возможности расширения комплексности, которые сложно учесть с биологической точки зрения. Например, здесь можно было бы спросить, что имеет в виду биолог, когда он говорит, что наблюдатель должен быть живым существом и что это также ограничивает его возможности.

Аналогичная проблема в социологии, сформулированная в теореме самосбывающихся (self-fulfilling) или самосокрушающихся прогнозов (self-defeating prophecies), заключается в том, что прогнозы, которые через коммуникацию поступают в общество, в результате формируют общество, которое знает, что его прогнозируют, и должно на это реагировать. В литературе эта проблема, сформулированная Робертом Мертоном и другими, трактовалась почти исключительно как методологическая⁷¹: как можно получить объективные знания о реальности, если известно, что оглашение прогноза меняет ее, если, например, известно, что кейнсианская экономическая политика, будучи сформулированной и начатой, вызывает антиципации такой политики, т.е. ожидание инфляции? Однако независимо от этой методологической версии проблемы, здесь, как представляется, заключена эпистемологическая проблема первостепенной важности: как общество может практиковать знания о самом себе в форме коммуникации? Что тогда является объективностью? Вопрос не в том, как можно устранить эту проблему с помощью адекватных методологических средств, а как нам жить с такого рода циркулярной схемой соединений (Vernetzung).

В докладе Хайнца фон Фёрстера, прочитанном в Санкт-Галлене и посвященном проблемам менеджмента⁷², этот вопрос

71 См. Merton Robert K. The Self-fulfilling Prophecy // Merton Robert M. Social Theory and Social Structure. New York, London: Free Press, 1968. P. 475-490.

72 См. Foerster Heinz von. Principles of Self-Organization — In a

варьируется следующим образом: менеджер, плановик является частью системы, которой он управляет. Другие, разумеется, знают, что он это делает, и в документации заранее готовятся к обороне своих позиций: делают соответствующие пометки, готовятся к тому, чтобы их планировали. И как только появляются первые признаки, они уже заранее знают, как с ними обходиться. На предприятиях так же, как и в педагогике, имеет место *second order observation*. Руководителем может быть только тот, кто умеет манипулировать тем, как за ним наблюдают. Как это потом выглядит в реальных результатах, в прибыли предприятия, – это уже другой вопрос. Если исходить из того, что, по сути, речь идет об умении управлять наблюдением себя другими и что авторитет не имеет источников за пределами предприятия, а складывается из процессов коммуникации на предприятии, то получится гораздо более сложная теория управления, планирования или риск-менеджмента. Там это особенно актуально: кого видят как работника, решившегося на риск? Кто может повысить свой авторитет, сказав, что он единственный, кому придется уйти в случае неудачи?

7. Повторное вхождение (*Reentry*)

Эти размышления, если представить их в обобщенной форме, снова подводят нас к теме *reentry*: наблюдатель повторно вступает в наблюдаемое. Наблюдатель является частью того, что он наблюдает, он видит себя в парадоксальной ситуации того, что он наблюдает. Он может наблюдать предприятие, общество, раздел физики, если он повторно вводит в объект различение наблюдающего и наблюдаемого. Если мы захотим вывести из этого теорию познания, то столкнемся не просто с методологической проблемой, а в конечном итоге с парадоксом *reentry*: является ли вводимое различие тем же самым различием или уже нет? Это бы также означало, что любой эпистемологический конструктивизм или любое эпистемологическое указание сталкивается с парадоксом, из которого можно выйти, только применив различение. В этом случае говорят, что инструментарий физики отличают от наблюдения или что коммуникацию, с помощью которой было извещено о планировании, отличают от системы, которая имела место до и после нее. Так мы снова вступаем на почву наблюдения явлений с помощью различений. Однако на самом деле введение этой фигуры наблюдателя означает революционное изменение метафизики – если понимать под этим то, что выходит за пределы физики. Это революционное изменение связано с конечной проблемой парадокса и с оперативной необходимостью замещать парадоксы различениями, которые располагаются тем или иным образом и, следовательно, являются контингентными, но которые, однако, не позволяют узнать, что можно и чего нельзя делать с их помощью. Вот то, что я хотел сказать о наблюдателе.

Восьмая лекция

Сегодня я хотел бы завершить раздел «Общая системная теория». Это означает, что я должен рассмотреть еще два подраздела, а именно, с одной стороны, понятие и проблему комплексности, а с другой стороны, вопрос о том, как мы будем понимать рациональность в рамках этого системно-теоретического построения. Эти две темы неслучайно оказались рядом. Они взаимосвязаны, хотя эта взаимосвязь и не имеет понятийного выражения. В ранних версиях системной теории, в первых попытках сформулировать общую системную теорию в 1950-1960-х гг., комплексность была главной проблемой, поскольку представлялась препятствием для успешного планирования и, следовательно, была проблемой рациональности *par excellence*. Отправной точкой этой дискуссии – к вопросам терминологии я скоро вернусь – было допущение разного уровня комплексности у системы и окружающего мира. Установление этой отправной точки было связано с тем, что ученые стали пытаться работать с различием системы и окружающего мира. При этом они обычно исходили из того (я думаю, здесь ни у кого не будет возражений), что окружающий мир всегда отличается большей комплексностью, чем система. Поэтому речь идет о *разности* комплексности, в связи с чем возникает вопрос, как системе удастся справиться с более комплексным окружающим миром. Эта проблема снова возникает уже внутри систем, если там есть плановики, которые планируют систему, но при этом сами являются не системой, а подразделением, агентством, подорганизацией, и, соответственно, остальная часть системы является для них окружающим миром.

Исходной точкой было положение о том, что ни одна система, если она отделяет от себя внешний мир, который, в терминологии У. Росса Эшби, может проявить «необходимое разнообразие» (*requisite variety*), нужное для того, чтобы добиться своеобразной состыковки (*matching*), создать отношения полупунктного соответствия между системой и окружающим миром⁷³, так вот

73 См. Ashby W. Ross. Requisite Variety and Its Implications for the Control of Complex Systems // *Cybernetica* 1 (1958). P. 83-99;

ни одна система не обладает необходимой мощностью, чтобы приспособлять свое собственное состояние ко всему тому, что происходит в окружающем мире, чтобы противопоставлять этому свою собственную операцию с целью поддержания или воспрепятствования тому, что происходит. Она должна фокусировать или игнорировать. Она должна демонстрировать безразличие или создавать специальные механизмы для управления комплексностью. В дискуссии это вылилось в формулу, которая гласит, что система должна редуцировать комплексность – с одной стороны, в отношении окружающего мира, а с другой стороны, в отношении себя самой, если она хочет создать внутри себя планирующие инстанции или агентства рациональности. С точки зрения истории науки, эту проблематику можно проследить вплоть до 1930-х гг., когда она возникла в функционалистской психологии. Тогда ученые осознали границы модели *Input-Output* или модели *стимул-реакция*, как это еще называлось в то время. Стало ясно, что уже нельзя работать, предполагая простое соответствие стимула и реакции один к одному, что между ними расположено еще что-то, что осуществляет преобразование и не может быть сведено к математической функции.

Эта тема разрабатывалась в рамках функционалистской психологии, в школе Эгона Брунsvика. Словосочетание «редукция комплексности», насколько мне известно, впервые встречается в книге Джерома Брунера «Исследование мышления» («*A Study of Thinking*»), вышедшей в свет в 1956 г., хотя, возможно, есть и более ранние источники⁷⁴. Раньше тоже существовало нечто подобное. У литературоведа Кеннета Берке можно найти главу о «*scope and reduction*», т.е. о расширении и ограничении как операции системы действия, которая создает тексты или разворачивает драму⁷⁵, но «*reduction of complexity*» в качестве ключевого слова впервые встречается в «Исследовании мышления». По сути, речь здесь идет о генерализациях двоякого рода. Система

Ashby W. Ross. Einführung in die Kybernetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. S. 293 и далее. [Рус. пер.: Эшби Росс. Введение в кибернетику. М., 2006. С.287 и далее].

74 См. Bruner Jerome S., Goodnow Jacqueline J., Austin George A. *A Study of Thinking*. Reprint: New York Brunswick: Transaction Publications, 1986.

75 См. Burke Kenneth. *A Grammar of Motives* [1945]. Reprint Berkeley: California UP, 1969. P. 59-124.

может, с одной стороны, сфокусировать свой окружающий мир, т.е. обозначить одним и тем же именем разные события или разные вещи, воспринимать их как одну и ту же форму, как идентичные или как инвариантные события или вещи и соотносить с этим образцы своих реакций, которые могут применяться каждый раз, когда имеет место данное тождество. Можно себе также представить, что у системы есть наготове определенный образец реакции, который может быть применен к самым разным ситуациям окружающего мира. Или же, с другой стороны, одна и та же ситуация окружающего мира может обдумываться посредством разных реакций, в зависимости от того, в каком состоянии находится система. В принципе в этой концепции генерализации речь идет о разрыве соотношения один к одному через фокусировки, которые могут быть предусмотрены либо в окружающем мире, либо в системе.

Как уже было сказано, эту манеру говорить об управлении комплексностью и о редукции комплексности, используя термин «генерализация», перенял Талкотт Парсонс. Вторую форму генерализации можно, наверное, обобщить с точки зрения теорий ступеней. Вы знаете об этом, во-первых, в связи с понятием кризиса, которое означает, что существуют чрезвычайные ситуации, в которых разрешено и даже требуется то, что в другой ситуации было бы ненормальным и не делалось бы таким образом. В случае кризиса можно делать необычные вещи, изменять структуры, которые в других случаях не меняются. Если бы его воспринимали всерьез, а не считали бы вместо этого, что кризис — это вечная судьба человечества, то понятие кризиса, применительно к определенным ситуациям, имело бы ступенчатую структуру, когда в определенных ситуациях разрешается действовать необычным образом с целью оздоровления фирмы или экономической системы или упорядочивания хаоса в правовой системе и создания единого законодательства, с тем чтобы снова знать, чего можно ожидать.

Это одна версия проблемы ступеней. Другую, более формальную версию вы найдете у уже упомянутого У. Росса Эшби, одного из ранних кибернетиков. Эшби различает ступенчатые функции и называет систему, которая располагает такими ступенчатыми функциями, ультрастабильной⁷⁶. Это означает,

76 См., например: Ashby W. Ross. The Set Theory of Mechanism and

что нарушения со стороны окружающего мира обычно аморфизуются локально, а не заставляют меняться всю систему. Затрагиваются только определенные устройства: если, например, у вас болит живот, то болит именно живот, а не живот и одновременно с ним ноги. Боль не распространяется настолько, чтобы ощущаться повсюду. Система может столкнуться с экономическими трудностями, которые не будут одновременно политическими трудностями. Нет необходимости переделывать научные теории из-за роста инфляции: теории сохраняют, чтобы с их помощью описать инфляцию. Тогда эта возможность ограниченного, локального изменения была захватывающим открытием и новой формулировкой, поскольку системы в то же время определялись как устройства, в которых все взаимосвязано. Абсолютная взаимозависимость была критерием понятия системы, и вдруг стало ясно, что абсолютная взаимозависимость — это совсем не так хорошо, как думали раньше, и что она не является совершенной формой системы, а, наоборот, представляет собой совершенно маловероятное устройство. При абсолютной взаимозависимости любое нарушение заставляло бы заново выравнивать всю систему в целом, и на это ушло бы столько времени, что уже успело бы произойти новое нарушение, и система так никогда и не пришла бы в стабильное состояние.

Идея же ступенчатых функций, напротив, означает разрыв взаимозависимости или, в другой терминологии, которая, правда, не дает ничего нового, «loose coupling»⁷⁷. Системы с нежесткими связями более стабильны, чем системы с жесткими связями. «Tight coupling» — это очень маловероятное устройство. В природе оно не встречается. Организмы строятся на свободных связях (loose coupling), так же как и социальные организации. Мы можем пережить то, что люди на официальных должностях меняются — из-за этого не меняются зарплаты и программы не формулируются по-новому; а если это и происходит, то тогда уже имеют место специфические адаптации. Чем более систе-

Homeostasis // Ashby W. Ross. Mechanism of Intelligence: Ross Ashby's Writings on Cybernetics, ed. by Roger Conant. Seaside, CA: Intersystems, 1981. P. 21-49, цит. на P. 48.

77 Glassman Robert B. Persistence and Loose Coupling in Living Systems // Behavioral Science 18 (1973). P. 83-98; в продолжение этого: Weick Karl E. Educational Organizations as Loosely Coupled Systems // Administrative Science Quarterly 21 (1976). P. 1-19.

ма переходит на жесткие связи, тем большему риску или опасности она становится подвержена. Кроме всего прочего, эта мысль имеет большое значение ввиду проблем, возникающих перед людьми в связи с высокими технологиями⁷⁸. Если технические системы отличаются такими сильными взаимосвязями, что одно нарушение может взорвать всю систему и нанести повсеместный ущерб, то это своего рода естественное устройство, опасности которого известны благодаря системной теории. Вокруг него необходимо построить пояс безопасности, оболочку, *containment*, который бы основывался на *loose coupling*, чтобы те, кто реагирует в случае нарушения, сами не были им полностью уничтожены, но осторожно выполняли бы одну операцию за другой, а если что-то не получается, принимали бы конкретные меры, не тратя нервы и не сходя с ума.

С точки зрения проблематики комплексности исследуются механизмы, которые показывают, как возможно развитие высокой комплексности, будь то в ходе эволюции или в ходе планирования организаций, при котором система тем не менее может функционировать. Сюда же, если мы сейчас перейдем к теории решений, относится концепция «bounded rationality», т.е. концепция ограниченной рациональности Герберта Саймона⁷⁹. Здесь тоже имеется в виду своего рода проблема ступеней, так как рациональный расчет возможен только тогда, когда имеют место некие разрывы взаимозависимостей или если *frame*, рамка, определенный набор условий заранее гарантирует, что внутри этих рамок в любом случае найдется приемлемое решение. Будет ли это решение оптимальным или нет, не играет никакой роли, если исходные посылки принятия решений гарантируют достаточную безопасность функционирования и оперирования систем. Эта теория была сформулирована с пониманием того, что прежняя экономическая теория исходила из рынка совершенной конкуренции, т.е. рынка, который устанавливает цены, оставляя предпринимателям лишь небольшое пространство свободы принятия решений и, следовательно, отталкивалась от ситуации, которой в реальности не существовало. Организации

78 См. Perrow Charles. Normale Katastrophen: Die unvermeidbaren Risiken der Großtechnik. Frankfurt am Main: Campus 1988; Luhmann Niklas. Soziologie des Risikos. Berlin: de Gruyter, 1991.

79 См. Simon Herbert A. Models of Bounded Rationality. Cambridge, MA: MIT Press, 1982.

не допускают принятия единоличных решений, но должны внутри самой организации обеспечивать условия приемлемости решений. Это приводит к созданию, с одной стороны, более чувствительной к комплексности теории соотношения рыночных условий (макроэкономики), а с другой стороны, теории организационных условий (микроэкономики). Я лишь коротко упоминаю об этом — отчасти вы уже знаете то, о чем я говорю, а отчасти это, возможно, даст повод еще раз просмотреть соответствующую литературу с точки зрения схожести решений этой проблемы путем генерализации или ступенчатой функции.

Кстати, это верно и в отношении структурного функционализма Парсонса. Парсонс тоже как-то сказал, что он не может себе представить, чтобы социальный порядок функционировал подобно ньютоновской модели переменных, в которой все взаимосвязано и изменяется при изменении какой-то одной переменной. По крайней мере, для научных целей следовало бы редуцировать комплексность — тогда это выражение еще не использовалось, но по сути речь шла именно об этом — и предположить структуры, при которых функционирует определенная система, посредством которых осуществляется ее идентификация и в отношении которых условия изменений не могут быть рассчитаны в данной теории.

Эта тенденция сводить существующую проблему к вопросу о том, с помощью каких устройств система может реагировать на высокую комплексность самой системы или окружающего мира, не затронула самого понятия комплексности. Поэтому, наверное, очень важно понимать, что литература, если она вообще работает с понятием комплексности, использует термин, не до конца проработанный в понятийном отношении. В литературе вы редко встретите определение этого понятия или выводы из него. Дискуссия о понятии комплексности разворачивается в более формалистской литературе или, во всяком случае, редко пересекается с областью, которую мы только что обсуждали. В классической традиции понятие комплексности определяется с помощью двух понятий, а именно элемента и отношения (реляции)⁸⁰. Это определение является реакцией на проблему,

80 См. по этому и следующим вопросам: Luhmann Niklas. Komplexität // Grochla Erwin (Hrsg.) Handwörterbuch der Organisation. Stuttgart: Poeschel, 1980. Sp. 1064-1070.

связанную с тем, что с увеличением числа элементов в геометрической прогрессии возрастает число возможных отношений. Чем больше элементов, тем больше запросов к каждому отдельному элементу на соединение с другими элементами. Если представить себе, что запросы на соединение или включение элемента в контексты определяет качество элемента, то можно увидеть, что рост способности к соединению имеет свои границы, в зависимости от того, о какого рода системе идет речь. Это верно в равной мере и в отношении клеток, и в отношении коммуникаций. Если исходить из индивидов, людей, то это касается числа возможных контактов, которые один человек может иметь с другими людьми за определенное время. Таким образом, это формальное ограничение, которое практически не зависит от того, что же такое элемент и в чем именно заключается отношение.

Отсюда следует, что начиная с определенного порядка величин каждый элемент уже не может быть связан со всеми другими элементами и что отношения поэтому могут устанавливаться лишь очень выборочно: например, в форме круга, в котором каждый связан с двумя соседями, причем вполне вероятно, что будет задано определенное направление информации или потока, так что от одного ты все время только получаешь, а следующему только передашь, а коммуникация поперек круга невозможна; или в форме иерархии, в которой существует верхушка и множество базовых элементов, которые, однако, могут коммуницировать только с элементом следующего уровня и, возможно, еще по горизонтали, т.е. с элементами своего уровня. Посекретарь с высоты своего положения не может напрямую позвонить в регистратуру другого министерства. Это очень необычно и вообще не приветствуется. В каждом случае существует сеть исключений и включений возможных коммуникаций, и, соответственно, в литературе мы видим попытки выявить путем тестовых испытаний, какие модели обладают практическими преимуществами с точки зрения информационно-перерабатывающей способности, инновационной способности и тому подобного: звездообразные, иерархические или кругообразные. В этом формальном смысле анализ сетей – это как раз исследования на данную тему, проводимые в 1950-х гг.⁸¹ Их задача со-

81 См., например: Bavelas Alex. *Communication Patterns in Task-*

стояла в том, чтобы проверить образцы отбора, селективность в сравнении с уже нереальным условием полной взаимосвязи, когда все связано со всем.

Если мы хотим выразить понятие комплексности через понятие различения или формы, мы можем также сказать, что проблема комплексности есть проблема порога, начиная с которого каждый элемент уже не может быть связан со всеми другими элементами. Простая комплексность, если допустить такую парадоксальную формулировку, – это такая комплексность, которая еще позволяет соединять все со всем. Комплексная (сложная) комплексность имеет место тогда, когда необходимы алгоритмы отбора, которые по нарастающей становятся все более требовательными, т.е. селективными, контингентными или информативными, т.е. требуют, чтобы выполнялось то-то и то-то, а не что-либо другое. Такого рода формулировка уже указывает на то, что мы больше не можем работать с различием простого и сложного (комплексного). В этой теории нет понятия простого, а есть разве что понятие такой комплексности, которая еще позволяет связывать все со всем, и понятие комплексности более высокой ступени, которая уже не позволяет этого делать.

Средневековая традиция работала с различием простого и сложного как с парой противоположностей, отчасти потому, что предполагалось, что только сложные объекты, будучи составными, могут в свою очередь также распасться, тогда как простое, не являясь составным, не может и распасться. На этом строилась парадигма мира, в которой временные, преходящие и находящиеся под угрозой состояния описывались через комплексность и предполагалось нечто простое, что могло быть уничтожено или создано только посредством божественного вмешательства. Здесь надо вспомнить в первую очередь о душе. Душа проста, а не комплексна, и поэтому есть надежда, что она будет жить и после смерти, так как она просто не может быть разрушена. На какие частицы она должна распасться, на прах или пепел, если она вообще не состоит из частиц? Точно так же предполагалось, что определенные базовые стихии, такие

oriented Groups // Cartwright Dorwin, Zander Alvin (Eds.) *Group Dynamics, Research, and Theory*. Evanston: Row, Peterson & Co., 1953. P. 493-506; Bavelas Alex. *Communication Patterns in Problem-Solving Groups* // Foerster Heinz von (Ed.) *Cybernetics*. New York: Josiah Macy Jr. Foundation, 1952.

как огонь или вода, тоже являются простыми структурами и что для их аннигиляции необходимо божественное вмешательство. *Annihilatio* было антонимом уничтожения, разрушения. Это тесно связано с мироустройством, в котором достаточно надежности, достаточно невероятности и достаточно необходимости, и устроены они таким образом, что остальным можно в некотором смысле манипулировать. В этом мироустройстве можно также объяснить то, что в истории в разные эпохи и у разных народов что-то оценивают так, а что-то иначе, но в принципе все происходит так, как полагается, и не противоречит плану природы и плану творения.

Такое словоупотребление, трактующее комплексность как одну, а простоту – как другую сторону различения, неприемлемо для современного понимания комплексности. У понятия комплексности нет антонима, и с точки зрения теории это важный сигнал, так как у нас очень мало понятий без антонимов. К ним, вероятно, относится понятие смысла, потому что отрицание смысла тоже имеет смысл. И понятие мира. По-видимому, комплексность принадлежит к той концептуальной сфере и к той семантике описания мира, где отсутствуют противоположные понятия, а приходится работать с внутренними различиями, например, *да/нет* или *селективно-комплексный / неселективно-комплексный*. Это свидетельствует также о значимости данной проблематики, которая, однако, практически не отражена в теории.

Я еще раз вернусь к высказыванию об элементе и отношении, чтобы, во-первых, показать, что это статичный образ. Вот есть элементы, и есть отношения. Между А и В может быть какая-то связь, и вот она и есть отношение. О времени пока ничего не говорится. Все это может снова исчезнуть, но пока сопряженность элементов представлена вне времени понятием отношения. Однако в эту модель можно – и это на самом деле происходит в ходе дискуссии – включить время, сказав, что элементы могут менять свои отношения. Поскольку они могут быть выборочно соединены между собой, они могут быть снова разъединены и соединены другим образом. Тем самым в это описание комплексности встраивается новое измерение. Система может последовательно реализовывать разные образцы. Я как-то назвал

это темпорализацией комплексности⁸². Разные комплексности сменяют друг друга. Что-то может быть очень простым, но в последующей ситуации та же система оказывается в таком положении, в котором она демонстрирует гораздо большую комплексность, т.е. по очереди использует большее количество разных отношений между большим числом элементов.

Достаточно сформулировать проблему таким образом, чтобы понять, что системы коммуникации имеют дело с последовательной комплексностью. Слова и грамматика языка не являются реальными связями возможных элементов в предложении; предложение выбирает себе элементы, высказывания, слова, которые оно использует, поскольку известно, что уже следующее предложение может создать другую комбинацию. Поэтому в области социальных систем, т.е. систем, использующих коммуникацию, мы должны с самого начала учитывать темпорализацию. Тем не менее в классической дискуссии вопрос о одновременности рассматривается лишь как одно измерение наряду с другими. Выделяют несколько измерений понятия комплексности: число элементов, число допустимых отношений, иногда также разнородность элементов – хотя я не знаю, можно ли представить ее отдельно от отношений. тем не менее в литературе это измерение встречается именно в такой формулировке – и одновременность реляционирования элементов. В результате возникает многомерное понятие комплексности, а вместе с ним определенное затруднение, связанное с тем, что невозможно различить, какая система является более комплексной по сравнению с другой системой. Ведь может быть так, что одна система более комплексна в одном измерении, а другая – в другом, т.е. в этом измерении допускает больше связей, больше элементов, большую их разнородность или более быструю смену реляционирований. Это было понято и отражено в литературе, что привело к вопросу о том, можно ли вообще говорить о большей или меньшей комплексности. Однако на тезис о том, что окружающий мир более комплексен, чем система, эта дискуссия, насколько мне известно, никак не повлияла.

⁸² См. Luhmann Niklas. Temporalisierung von Komplexität: Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe // Luhmann Niklas. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980. S. 235-300.

Ведь это так очевидно, это не нуждается ни в каком измерении, это известно изначально. Тем более когда есть современные естественнонаучные методы и приборы с высокой разрешающей способностью, когда ученые проникают в структуру атома с целью выявить образцы, становится ясно, что существуют астрономические измерения событий и что ни одна система не может повторить их внутри себя, так что невозможно никакое *соответствие* (matching) в отношении комплексности мира. И тогда уже абсолютно все равно, каким образом это описывать.

Но можно было бы как-нибудь в качестве эксперимента поразмыслить над тем, не является ли, например, мозг более комплексным, чем общество. Большинство людей, отвечая на этот вопрос без предварительной теоретической подготовки, вероятно, скажут, что общество более комплексное, ведь в нем так много людей. Однако если разложить этот вопрос на элементы и отношения, рассчитать количество клеток мозга и представить себе их задействованность во взаимосвязях, то закрадываются большие сомнения, не является ли мозг более комплексным, чем общество. Для общества это было бы совершенно непосильной задачей, если бы оно захотело перевести состояния мозга в коммуникацию. Теория операциональной закрытости в ответ на это допущение утверждает, что в подобном переводе нет никакой необходимости, что, кроме того, он абсолютно невозможен, так как общество не могло бы развиваться, если бы существовал хоть какой-то намек на необходимость преобразовывать состояния мозга в коммуникацию. Суждения такого рода могут высказываться независимо от сравнительного измерения, которое могло бы нам показать, что мозг является более комплексным, чем общество. Ведь у нас так много мозгов, что эта проблема все равно не возникла бы в такой форме — *человек/общество*. Тем не менее, в рамках традиционного понятия комплексности проблема измеримости обсуждается. Нужно учитывать определенные ограничения точности, которые имеют место, когда речь идет о вопросах комплексности.

Следующий момент, который всегда меня зачаровывал, касается вопроса о том, что происходит в том случае, когда сталкиваются две комплексные системы, когда они сопряжены друг с другом или вступают в интеракцию, и одна система не обладает способностью удваивать комплексность другой системы в

своей собственной системе, т.е. не обладает «*requisite variety*», необходимым разнообразием, требуемым для отображения другой системы внутри себя. Согласно тезису шотландского кибернетика и теоретика информатики Дональда МакКея, при этих условиях возникает свобода⁸³: даже если бы комплексные системы представляли собой машины и были бы полностью детерминированы, любая система вынуждена допускать, что на другую систему может быть оказано влияние, т.е. она реагирует на сигналы, причем не тем способом, детерминированность которого можно было бы вычислить в самой системе, а способом, который невозможно предсказать. Поэтому нужно как бы подслащивать информацию, предлагать такие стимулы, в отношении которых полагают или знают из опыта, что другие системы реагируют на них, что они добровольно, исходя из собственных предпочтений кооперируются или, когда это хотят исключить, не кооперируются, т.е. что они могут принимать решения и не являются насквозь детерминированными системами, которые делают то, что они делают в любом случае. Есть интересная гипотеза, согласно которой свобода возникает из детерминированности благодаря удвоению систем. Должно быть не менее двух систем, и одна должна уступать другой в комплексности, т.е. не должна обладать *requisite variety*. Они должны взаимодействовать и симулировать свободу, чтобы суметь поставить себя в отношение с другой системой. Если это происходит по обе стороны, то свобода становится реальностью через фикцию.

Не знаю, как вам нравится эта идея. В любом случае, о ней можно поразмышлять и она отчасти разрешает старую дискуссию о том, детерминирован ли мир или нет. Тогда мы снова имеем дело с парадоксом различения: мир недетерминирован, *потому что* он детерминирован, однако детерминирован не централизованно, а локально.

Я хочу добавить еще некоторые рассуждения, которые выйдут за рамки дискуссии. С их помощью я попытаюсь объяснить, почему сегодня о комплексности говорят меньше, чем в 1950-1960-е гг. Возможно, это связано просто с тем, что надежда найти способ понятийного управления комплексностью, т.е. сделать ее аналитически управляемой, не оправдалась. Если использо-

⁸³ См. MacKey Donald M. On the Logical Indeterminacy of a Free Choice // Mind 69 (1960). P. 32-40.

вать статистические методы, то нужно принимать во внимание предпосылки статистического анализа. Если комбинировать переменные, то в исчислениях сегодня можно продвинуться очень далеко, но не бесконечно далеко, и обычно считается, что для всестороннего описания систем необходимо столько переменных, что теория не может с ними справиться. На этом уровне не наблюдается особых успехов, хотя недавно я разговаривал с кем-то о фирме «Prognos AG» в Базеле, и мой собеседник полагал, что за последние десять лет достигнут существенный прогресс в управлении переменными прогностических моделей. Я не могу об этом судить, но это тоже только одна линия развития. Другой вопрос заключается в том, можно ли, по крайней мере, с социологической точки зрения изучать устройства ступенчатой функции или генерализации применительно к проблеме редукции комплексности независимо от вопроса о том, поддается ли точному измерению и расчету тот способ, которым решается проблема комплексности. И третий вопрос касается того, что, используя понятие операции, мы, возможно, уже имеем дело с терминологией, саботирующей базовое различие понятия комплексности, а именно различие элемента и отношения. Что произойдет в этой понятийной структуре, если мы сейчас скажем, что элемент есть отношение или что элемент есть операция, которая соединяется с другой операцией и не может осуществляться иначе, нежели в соединении? Имеет ли тогда смысл говорить о комплексности? Или, может быть, мы должны переформулировать всю терминологию? Я задаю этот вопрос, не зная на него ответа. И все же мы видим, что вместо этого мы получаем проблему операциональной закрытости. Это затруднительная ситуация, которую я уже объяснял и которая порождает серьезные проблемы в ходе дискуссии. Не обстоит ли дело так, что вместо старой проблемы комплексности мы имеем новую теоретическую проблему операциональной закрытости? Если мы вспомним, что старая проблема комплексности всегда была проблемой системы и окружающего мира, проблемой редукции комплексности системы по отношению к окружающему миру, то, может быть, сейчас мы просто по-другому, с помощью другой теории, а именно теории операциональной закрытости, формулируем проблему системы и окружающего мира. Но что это означает и к чему это ведет, сложно предсказать. Пока

я только предлагаю вам поразмышлять над тем, что мы намеряемся в рамках смены парадигмы найти другой язык, который уже не позволяет и дальше использовать старое понятие комплексности, потому что теперь мы трактуем различие системы и окружающего мира как единство. При этом, однако, сложно понять (чтобы это понять, требуется гораздо более узконаправленное исследование), что же стало с проблемой комплексности. Избавились ли мы от нее благодаря тому, что уже не можем ее сформулировать? Или у нас появилось новое имя?

В любом случае важно осознавать, что принципиальное сосредоточение на операции как-то соотносится с базовой структурой понятия комплексности. С этим связана еще одна проблема, а именно введение наблюдателя в комплексную систему. Это еще можно сделать в рамках классической теории комплексности, заявив, что внутри комплексной системы есть наблюдатель со своей собственной комплексностью, который трактует свое отношение к системе как отношение система – окружающий мир. Для него система, к которой он принадлежит, является внутренним окружающим миром его самого как системы. Наблюдателем может быть, например, фирма, которая действует на рынке и в своей системе хозяйственного учета рассчитывает, как ей максимизировать свою прибыль, сохранить рентабельность или свою долю на рынке, или ориентируется на какой-то другой критерий, но при этом всегда превосходит рынок по своей рефлексивной способности. Рынок не способен к рефлексии. Он не является системой. Фирма может не превосходить своих конкурентов, это выяснится с течением времени, но вопрос заключается в том, как мы поступим с системой, которая содержит в себе часть, обладающую большей рефлексивной способностью, чем система в целом.

Эти рассуждения встречаются также в логике Готхарда Гюнтера: подсистема – это субъект внутри более крупной системы, коллектива, и этот субъект превосходит в своей рефлексивной способности систему в целом⁸⁴. На данном уровне это применимо к теориям планирования. Плановик строит модель системы. Он упрощает систему таким образом, который не при-

⁸⁴ См. Günther Gotthard. *Cybernetic Ontology and Transjunctural Operations* // Günther Gotthard. *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*. Bd. 1. Hamburg: Meiner, 1976. S. 249–328; здесь с. 318 и сл.

нят в самой системе; возможно, он более утонченный, более расчетливый, теоретичный, рациональный. Однако проблема в том, что этот плановик или эта рефлектирующая инстанция сама является объектом наблюдения. А что происходит в системе, которая выделяет особую часть, превосходящую другие в отношении рефлексии, и наблюдает за ней, так что наблюдаемый должен как бы врефлектировать в наблюдаемую рефлексивную способность то, что за ним наблюдают и что система, когда ее начинают планировать, уже не та же самая, но что люди готовятся к тому, что их сейчас будут планировать, что они теперь должны быть внимательны и принять меры предосторожности, утаить или приукрасить данные? Вы все это знаете по бюджетным прениям или по тому, что о них можно прочесть в газетах. Система, которая выделяет части, выполняющие функции планирования, наблюдения, описания, рефлексии и в этой своей способности превосходящие другие части, становится гиперкомплексной в том смысле, что это тоже в свою очередь рефлектируется. Под это значение можно было бы зарезервировать понятие «гиперкомплексность». В литературе по системной теории чаще просто утверждается, что система может создать несколько описаний самой себя⁸⁵, в частности, модель, в соответствии с которой осуществляется планирование, другую модель, в соответствии с которой ведут себя те, кто знает, что их планируют, но сами не планируют, и модель участия, с помощью которой пытаются максимизировать участие. Но все это, конечно, полная ерунда, потому что все еще больше запутывается, если каждый пытается как бы внедрить свою рефлексивную способность в горячее ядро решений. И тем не менее это тоже уровень описания описаний, который невозможно игнорировать в современной теории организаций.

Итак, эти рассуждения касались того, что происходит в системе, когда система описывается внутри системы как комплексная и когда в системе ведется наблюдение того, что система наблюдает процесс планирования системы. Вопрос в том, возможны ли тогда вообще стабильные состояния, какими пределами ограничены возможности учитывать гиперкомплексность такого рода и насколько эти возможности зависят от стандарти-

заций. Примером такой стандартизации являются бюджетные прения, участники которых исходят из бюджета предыдущего года и претендуют на увеличение бюджета, хотя вполне осознают, что эти претензии неосуществимы. Такой способ действий настолько стандартизирован, что можно ориентироваться на эту стандартизацию и играть краплеными картами; все знают, что они крапленые, и когда-нибудь наступит такой момент, когда переговоры должны завершиться, потому что бюджет должен быть принят. В случае сильно стандартизированной процедуры можно себе представить, что рефлексивная способность может быть увеличена, но тогда сама стандартизация становится проблематичной. Может возникнуть соблазн начать действовать именно там, где другие полагаются на стандартизацию. В этом случае мы имеем дело с обманом, возведенным в степень, или с явлением *free rider position*, феноменом безбилетного пассажира, который использует возможности, возникающие вследствие того, что другие придерживаются определенных правил.

Эти рассуждения подводят нас к современному состоянию дискуссии вокруг этой темы. С одной стороны, понятие операции, а с другой стороны, функция наблюдения и наблюдения второго порядка дают нам терминологию, которая еще не является теорией или решением проблемы, но все же позволяет отклониться от старой дискуссии и понаблюдать за тем, что происходит на самом деле, когда организации, семьи, лечебные мероприятия или что бы то ни было еще в этой терминологии становятся объектом планирования.

85 См., например: Rosen Robert. Complexity as a System Property // International Journal of General Systems 3 (1977). P. 227-232.

9. Идея рациональности

В некотором смысле эта дискуссия выводит нас к теме рациональности. В современных реальных условиях все сложнее представить себе то, что обозначается понятиями «порядок», «рациональность» и «предсказуемость». Во-первых, сейчас, когда я перехожу к разделу о рациональности, у нас нет никакой терминологической привязки. Понятие рациональности не формулируется через понятие комплексности, хотя в конечном итоге я хочу прийти именно к этому. Понятие рациональности, наверное, как ни одно другое в дискуссии общей системной теории, имеет исторический оттенок, историческую обусловленность, которую нужно иметь в виду.

Говорить об исторической обусловленности значит говорить о европейской обусловленности. Можно задуматься над тем, не развивалась ли история и семантика рациональности в Европе иначе, чем в остальном мире, и не заключена ли в этом обстоятельстве проблема, требующая социологического объяснения. Это приближает нас к Макс Веберу, но нас при этом волнует вопрос, можно ли с помощью того понятия рациональности, которое использует Вебер⁸⁶, удовлетворительным образом сформулировать нашу проблему. С исторической точки зрения, прежде всего необходимо отметить, что в староевропейской традиции, до XVII в., исходили из того, что я бы назвал «континуумом рациональности». В отношении действия это означает, что как само действие, так и условия, при которых можно успешно действовать, являются природой. Тот, кто действует, реализует свою собственную природу, действуя в условиях, которые тоже, в свою очередь, суть природа. В отношении мышления допущение континуума рациональности означает, что правильное познание соответствует правильности, заложенной в объекте. Объект производит впечатление тем, что он собой представляет, а мышление правильно тогда, когда оно правильно отображает эту сущность, эту форму, это своеобразие объекта. Правильность или истинность основываются на претерпевании впечатления. У Аристотеля это называется

86 См. Weber Max. *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie*. 5., rev. Auflage, Studienausgabe. Tübingen: Mohr, 1972. Глава I, § 2.

«*Pathemata*», и перевести это невозможно. При этом в качестве компонентов деятельности учитывается язык и, кстати, письменность тоже, поскольку благодаря языку и письменности человек не так безраздельно отдается тому, что претерпевает, как, например, животные.

И все же по сути речь идет об отображении мира. Мир, природа, а впоследствии творение устроены так, что каким-то образом заранее обеспечивается сходство по обе стороны отношения познания и действия. Это также служит оправданием доказательства по аналогии. *Analogia entis*, подобие бытия, означает, что с самого начала через природу или через творение была обеспечена возможность подобия, а следовательно, и ошибок. Можно действовать неправильно или безуспешно, можно думать неправильно, можно ошибаться. И все же подобие бытия гарантирует возможность снова во всем разобраться и суметь занять правильную — в космическом масштабе — позицию в своих действиях или мыслях.

По причинам, которые могли бы представлять также социологический интерес, в XVI в. такая ситуация постепенно начинает казаться спорной. Причины этого наверняка связаны с религиозными войнами. Исчезло единодушие по поводу истины и в результате начались взаимные атаки. Однако, возможно, причина кроется в книгопечатании. Отныне вдруг стало возможным иметь на своем столе книги с самими разными суждениями, и причем не в виде исключения, а регулярно. Теперь можно было заказать книгу, в которой отставались другие взгляды, и положить ее рядом с первой книгой, и с этим не было никаких трудностей, можно было воспользоваться пересылкой книги по почте или какой-нибудь другой услугой. То, что на столе оказывалась представлена сама противоречивость знания, стало обычным делом. Когда такое переживается регулярно, возникает вопрос, какие выводы нужно из этого сделать, причем независимо от вопроса о том, существует ли только одна истинная религия или несколько конфессий, по-разному интерпретирующих общий неизвестный фундамент. Как бы то ни было, в XVI в., по-видимому, появляется интерес к скептицизму, к возобновлению античной дискуссии о скепсисе, а также утверждается более прагматичный взгляд на жизнь — здесь можно было бы упомянуть Монтеня. Стефан Тулмин в своих франкфуртских

лекциях рассматривал это время как эпоху, которая была готова, на его взгляд, признать высокую степень неопределенности «человечной», т.е. присущей человеку, пыталась реагировать на это «толерантно», а затем в XVII в. была смыта новой волной рационализма⁸⁷. Здесь могут возникнуть некоторые сомнения, но тем не менее явно имела место попытка выйти из этой ситуации с помощью скепсиса, толерантности, признания за каждым права на свою точку зрения.

Однако решение, утвердившееся в XVII в. в первую очередь благодаря Декарту, было другим, и заключалось оно в расколе самого континуума рациональности. Существует ментальное устройство, разум, «mens», с одной стороны, и протяженное, материально заполненное пространство, не обладающее рациональностью, с другой стороны. Континуум рациональности, если вы принимаете эту терминологию, оказывается расколотым на рациональную и другую сторону. В результате рациональное соскальзывает на одну сторону различения. Раньше этого не было. Раньше рациональность была представлена по обе стороны, хотя и различным образом. Можно полагать, что XVII век представляет собой исключение, что картезианская модель по разным причинам не работала и что в XVIII в. люди снова вернулись к представлению о едином разуме. Наша историческая бухгалтерия тоже часто ведется таким образом, что XVIII в. считается веком Просвещения, когда предпринимались попытки с помощью разума построить в обществе новый общественный порядок. Нет смысла спорить о том, действительно ли имели место такие попытки, мне, однако, кажется, что от обратной стороны понятия рациональности так никогда и не удалось избавиться. XVIII в. – век не только Ньютона, но и Мюнхгаузена, не только разума, но и истории. В нем ярко выражена склонность к парадоксам, хотя скорее в изысканной литературной форме. Существует не только политически установленный суверенитет рационального общественного порядка, но и суверенитет любви, которая резервирует за собой особую сферу и не позволяет вмешиваться в вопрос о том, кто кого любит, с точки зрения научных, политических или семейных связей.

87 См. Toulmin Stephen E. *Kosmopolis: Die unerkannten Aufgaben der Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991; Toulmin Stephen E. *Return to Reason*. Cambridge, MA: Harvard UP, 2001.

Есть наслаждение; есть понятие «plaisir», обозначающее нечто, что опять-таки не поддается рациональному обоснованию, и через наслаждение происходит самолегитимация индивида. Наслаждение, интерес, «plaisir» – это термины, которые не позволяют указать кому-то, что он должен этим наслаждаться, что это приносит ему радость, а это вызывает его интерес. Такие вещи каждый должен знать сам для себя. Если кто-то говорит, что это его не интересует, то это последнее слово. Тогда уже нельзя сказать: «Нет, тебя это интересует». Эта терминология разворачивается иначе, чем терминология разума, и склонна изолировать разум как особую сферу, в которой можно принимать решения на основании определенных критериев и формулировать полученный опыт и знания.

В Америке отныне снова появляется очень уважаемая традиция политического либерализма, которая исходит из индивида, из прав человека, из неотъемлемых, обязательных качеств, признаваемых за индивидом. Эта отсылка к индивидуальности не предоставляет полную моральную свободу действий, а лишь отменяет старые порядки⁸⁸. Человек – это индивид, и неважно, в какой семье он родился, какому сословию принадлежит, какие патрон-клиентские отношения он вынужден поддерживать, чтобы отстоять свои интересы, или в какой секте он состоит. «Индивид» – это понятие, означающее отмену старых порядков, а впоследствии оно было обобщено в таких категориях, как «свобода» и «равенство»: все индивиды равны, все индивиды свободны. Вытекающие отсюда проблемы, в частности проблемы политического порядка, теперь необходимо решать на этом основании, т.е. на основании свободы и равенства. Возникает новая, адекватная этой ситуации мораль соблюдения договоров, толерантности и коммерческого рационализма. Я сейчас говорю это только для того, чтобы несколько релятивировать представление о том, что современность формировалась под доминирующим влиянием понятия просвещения и разума, прикована к этой традиции, существует, пока жива она, и вместе с ней придет в упадок.

88 См. Holmes Stephen. *Differenzierung und Arbeitsteilung im Denken des Liberalismus* // Luhmann Niklas (Hrsg.) *Soziale Differenzierung: Zur Geschichte einer Idee*. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985. S. 9-41; Holmes Stephen. *Benjamin Constant and the Making of Modern Liberalism*. New Haven: Yale UP, 1984.

Это тем более касается XIX-го века. Его особенность – по крайней мере, на мой взгляд – заключается в том, что не только в сфере рациональности, но и в принципе со многими различиями работают без рефлексии по поводу единства этих различий. Например, у нас есть различие государства и общества, в котором «общество» представляет собой скорее экономическую сферу, удовлетворение индивидуальных потребностей и связанные с ним усилия, а «государство» – политическую сферу, ответственность за порядок, право и обязательные для всех решения, но вопрос о единстве государства и общества, вопрос о суперсистеме не предполагается. Речь идет о сравнении значимости и, следовательно, об идеологически нагруженной проблеме: что более значимо – экономика или государство, какой линии придерживаться – западной или немецкой? В зависимости от сделанного выбора занимают идеологическую позицию, причем именно потому, что уже невозможно тематизировать единство самого различия. Эту ситуацию можно проиграть для всех различий, например, для различия индивида и коллектива, которое, насколько я могу судить, появилось в середине века, так же как и различие государства и общества, введенное в конституционные дебаты лишь после Гегеля Лоренцом фон Штайном. Схожая ситуация с различием общества и общности (Gemeinschaft). Наверное, достаточно упомянуть эти три различия, чтобы выявить общее, а именно то, что уже не ставится вопрос о единстве различия и, соответственно, вопрос о рациональности, которая должна наличествовать по обе стороны различия, если мы хотим ориентироваться на старую Европу.

К концу XIX в. снова намечается сосредоточение на проблеме рациональности и на различии рационального и иррационального. Теперь различают рациональные силы, которые проявляются, например, в экономической сфере, в рациональности национально ориентированной союзнической политики, в колониальной политике и тому подобном, и иррациональные силы, в какой бы форме они ни проявлялись. В случае Парето различие рационального и иррационального становится социологией⁸⁹. Также существует – и имеет более долгую традицию – различие разума и жизни. И при этом происходит очень

89 Парето, Вильфредо. Трактат по общей социологии [М., 1997].

странная история, когда у понятия жизни меняется антоним. Раньше различали жизнь и смерть, и это было очень убедительно: человек или живет, или умер. Конечно, теперь тоже не оставляют без внимания то обстоятельство, что люди умирают, но понятие, противоположное жизни – а соответственно, и само понятие жизни – меняется в сторону механики и рациональности. Понятие, противоположное понятию жизни, в эмпатическом смысле философии жизни и романтики – это не смерть, а механика, механистичность, ньютоновский мир и тому подобное. Расположенная на другой стороне различия жизнь – это не опосредованная законами исчисляемость происходящего, а непосредственность единения с миром. Эта идея непосредственности бытия сохраняется вплоть до Мартина Хайдеггера, по крайней мере, до его «Бытия и времени»⁹⁰, где непосредственность и опосредованность имеют значение в отношении к миру. Я не могу сейчас более подробно раскрыть эту тему. Это очень схематичное изложение и оно должно лишь дать вам представление об общей тенденции инсулировать проблему рациональности, если можно так сказать, т.е. ограничить ее какой-то одной сферой, которая может осуществляться в пределах одной функциональной системы. Рациональным может быть то, что рационально с экономической точки зрения – оптимизация соотношения цели и средств, обращение с ситуацией дефицита. По другой версии рациональным является то, что основано на правильном применении научных законов: если применяется научное знание, то действуют рационально. Такова модель начала XX-го века. Сегодня мы вряд ли будем утверждать, что любое применение науки рационально; мы уже очень далеки от подобного убеждения. Однако представление о том, что научные ошибки не только не работают, но и иррациональны, было широко распространено и способствовало тому, что понятие рациональности стали соотносить с отдельными функциональными системами, а общество трактовать как неопределенную в этой терминологии сферу.

Далее наметилась тенденция к типизации моделей рациональности, чему способствовали в первую очередь работы Макса Вебера: ценностная рациональность *versus* целераци-

90 См. Heidegger Martin. Sein und die Zeit. Tübingen: Niemeyer 1972. [Рус. пер.: Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997]

ональность или, если использовать терминологию Юргена Хабермаса⁹¹, стратегическая рациональность *versus* коммуникативная, ищущая взаимопонимания рациональность. Но и в этом случае возникает проблема, что само понятие должно быть одним и тем же по обе стороны различия, если и там, и там речь идет о рациональности. На вопрос о том, какой у них общий компонент, насколько мне известно, нет ответа ни у Вебера, ни у Хабермаса.

Сегодня наблюдается тенденция трактовать рациональность как рациональность действия независимо от того, является ли оно стратегическим или ориентировано на цели каким-то иным образом, и переформулировать цели через предпочтения: в зависимости от того, какие у человека предпочтения, он преследует соответствующие цели. Затраты, которые можно запланировать, отсортировывают все, что происходит неожиданно или приводит к тому, что человек сожалеет о принятом решении. Если сформулировать это в современной терминологии, то сначала вся область риска исключается из дискуссии о рациональности, а затем с большими сложностями, через концепции риск-менеджмента или расчета риска снова встраивается в эту дискуссию. В принципе понятие риска обозначает будущее, которое нельзя знать и которое не исключает раскаяния в принятых решениях, даже когда риск был рассчитан. Ведь если наступает ситуация риска, то положение дел снова меняется. Актуальная тенденция в теории действия сводится к тому, что рациональности рассматриваются как исчисляемая область целей и средств, которые, в свою очередь, являются следствиями действия, и эта область привносится в мир, который в целом не вписывается в рациональный расчет и реагирует неожиданным образом.

В терминологии Спенсера Брауна мы здесь снова имеем дело с «marked space», с рациональностью, которая поддается расчету, в которой можно проводить вероятностные и невероятностные исчисления и тем самым в значительной мере предупреждать то, что не поддается расчету, но все же таким образом невозможно учесть целый ряд факторов, относящихся к другой стороне различия. Риск никогда нельзя выразить

в форме затрат, чтобы решение было верным в любом случае, что бы ни произошло, поскольку успех покрывал бы затраты. Попробуйте проработать эту идею применительно к технологическим или экологическим рискам, и вы увидите, что это невозможно. Всегда есть нерациональная зона за пределами этого *marked space*, т.е. речь снова идет о разрыве континуума рациональности.

Вопрос в том, можно ли выйти из этой ситуации. Я хочу, по крайней мере, указать на одну такую попытку, в которой ключевое слово – это «системная рациональность» и которая также позволит нам снова включить в обсуждение проблематику комплексности. Эти размышления не порывают с традицией дискретизации рациональности. Рациональность относится только к системе, а не к миру. Именно этот пункт вызывает несогласие. Хабермас в этой связи говорит, что здесь речь идет только о системной рациональности, но система – это еще не все. Однако то же самое можно было бы сказать и о рациональности взаимопонимания. Если достигнуто взаимопонимание, все равно остаются вещи, по поводу которых взаимопонимания еще нет, или люди, с которыми оно пока не достигнуто. А условия меняются быстрее, чем готовность к достижению нового взаимопонимания. Эта сфера «потустороннего» играет важную роль в любой модели. Как мне кажется, для обращения с ней системная теория в каком-то смысле лучше оснащена технически, чем теория рациональности действия или коммуникативной рациональности, где другая сфера даже не удостоилась называться жизненным миром. Я не совсем понимаю, куда бы поместил эту сферу Хабермас.

О системной рациональности я хотел бы рассказать в той мере, в какой аспекты окружающего мира могут быть учтены в системе. Как вы, наверное, помните, понятие системы определяется через различие с окружающим миром, и тогда системная рациональность означает движение вспять, прекращение равновесия, индифферентности – то, что происходит в окружающем мире, происходит не с нами – и усиление раздражимости, чувствительности или резонанса – неважно, какой здесь используется термин – в системе. Это парадоксальное или, если угодно, утопическое движение, которое означает, что мы исключаем окружающий мир, а потом снова включаем его. Если думать об

91 См. Habermas Jürgen. Die Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bde. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.

этом, допуская неизменность конечного результата, то это представляется бессмысленными маневрами, суетой, не приносящей никаких результатов, но если понимать комплексность как возрастающую переменную (а я именно поэтому объединяю дискуссию о рациональности с дискуссией о комплексности), то можно себе представить, что система, скажем, с отлаженной рациональностью и отлаженной комплексностью действует и организована иначе, чем более простые системы, которые не пережили эту эволюцию или это планирование. Следовательно, можно себе представить, что среди моделей комплексности — вы помните, что при этом речь всегда идет о моделях отбора — встречаются более и менее пригодные для того, чтобы сделать поступающие из окружающего мира раздражения доступными для обработки в системе.

Если ставить вопрос таким образом, то для очень многих областей этот тезис может быть доказан социологически. Каким образом, например, политика подвергается воздействию экономических раздражителей? Только за счет того, что не выполняются планы? Вообще неизвестно, почему они не выполняются, но они не выполняются, и что тогда? Нужно ли повышать или понижать плановые показатели или реагировать как-нибудь еще? Или существует чувствительность к агрегированным экономическим показателям (о происхождении которых никто точно не знает, но все доверяют институтам экономики), таким как показатели безработицы, инфляции, стоимости валюты на международном рынке, на которые реагируют политикой и в отношении которых можно сделать акцент на разных политических опциях? В условиях открытой восприимчивости к экономическим показателям процветания или упадка, но не в условиях государственного планирования можно себе представить демократическую оппозицию. В этом случае кто-то может сказать, что он считает ситуацию критической, а кто-то может считать ее временной, и тогда первые предложат кейнсианские инструменты, а вторые сочтут, что рынок помогает себе сам и нужно лишь запастись терпением и наблюдать. Политические опции более открытые, чем в случае государственного планирования, и в этом отношении демократия в нашем понимании возможна: в то же время меньше вероятность такого экономического краха, который бы отразился и на политике. Но это только в том

случае, если все это верно! Я сейчас формулирую это только в качестве модели, чтобы показать, что есть возможности решения, которые в большей мере реагируют на ситуации в окружающем мире, не созданные ими самими, и не только отмечают результаты своей собственной деятельности («То, чего мы хотели, не получается» или «То, чего мы хотели, делается или не делается»), а могут развивать своего рода сенсориум, чувствительный к не зависящим от него проблемам. Применительно к экономике это означало бы, что политическая рациональность формируется как системная рациональность, как свойство политической системы принимать к сведению больше обстоятельств окружающего мира и уметь их обрабатывать.

Аналогичные вопросы можно задать и применительно к правовой системе. Может ли правовая система с помощью таких универсальных институтов, как собственность, договор, конституционное право и основные права юрдицифицировать, т.е. включить в правовой процесс общественное изменение? Является ли правовая система неподвижной и застывшей вследствие того, что ее статьи установлены и зафиксированы в текстовой форме, так что она в состоянии регистрировать только противоправное *versus* правовое? Или тот способ, каким сформулированы правовые понятия, созданы институты и задуманы процедуры, пригоден для того, чтобы при существующих текстах все больше информации делать юридически релевантной? Так, например, по сравнению с началом Нового времени или Средневековьем, мы располагаем более утонченными процедурами для проверки субъективных обстоятельств дела. Раньше не могла бы возникнуть сама идея считать волю на заключение договора юридически релевантной, потому что волю или мотивы невозможно было определить. При том типе процедур, который мы имеем сегодня, мы все же решаемся на это, как бы хорошо или плохо это ни осуществлялось на деле.

Если поместить эти рассуждения в теорию общества, то, наверное, можно сказать, что функция дифференциации функциональных систем заключается в том, чтобы повысить возможности рациональности, повысить раздражимость, чувствительность, резонанс в функциональных системах, дать возрасти способности системы испытывать нарушения и в то же время держать наготове меры противодействия или программы

их обработки, которые, правда, действуют не на уровне всего общества. Кстати, в этом я вижу одну из причин того, почему экологические проблемы проникают на уровень функциональных систем. Мы задаем вопросы о том, в каких исследованиях мы нуждаемся, что мы делаем в экономическом плане, чего мы можем добиться политическим путем и какие правовые формы подходят, а какие нет. Вместе с тем мы не можем себе представить какой-то институт, относящийся ко всему обществу и отвечающий за его сбалансированное развитие ввиду тех экологических проблем, которые оно порождает. Ведь тогда нам, вероятно, пришлось бы отказаться от данной формы системной рациональности, от испытания большей комплексности в отношении повторного введения окружающего мира в систему. Здесь мы снова имеем дело с фигурой *reentry*, т.е. опять-таки сталкиваемся с парадоксом, который может быть разрешен или раскрыт с помощью допущения вариативности комплексности и существования таких форм, которые в результате эволюции лучше функционируют, возможно, даже лучше оформлены, если можно так сказать, в планы и проекты, чем другие формы.

На этом я хотел бы завершить часть, посвященную общей системной теории, добавив еще два замечания, которые должны послужить стимулом к скептической оценке достигнутого.

Во-первых, часто звучат обвинения, что все это ужасно абстрактно. Я старался приводить примеры, но в то же время не хотел отрицать эту абстрактность. Однако непонятно, в чем, собственно, проблема, если общая системная теория абстрактна, но именно это ставят в упрек системной теории или заявляют, что она никогда не может быть доказана эмпирически и что с точки зрения логики недопустимо так манипулировать парадоксами, как это предлагаю делать я. Возможно, лучше всего это можно сформулировать с помощью понятия, которое я всегда помню на латыни и которое сложно или даже невозможно перевести: *supervacuius* – на старой латыни *supervacaneus*, но это еще хуже, это республиканская латынь, применительно к более поздней эпохе уже можно говорить «*supervacuius*»; и если вы посмотрите это слово в словаре, вы увидите, что оно переводится как «излишний», «чрезмерный». Теория излишня! Вообще-то *vacuius* означает что-то пустое, но ведь нельзя сказать «слишком пустое», может, «слишком выхолощенное», или как можно

это выразить? Мы остановимся на *supervacuius* и тогда мы можем спросить, не ориентирована ли системная теория на такую семантику, которая мало информативна, но зато оставляет открытым вопрос, можно ли манипулировать такими понятиями оперативно, если угодно, с позиций тактики и техники теоретической работы. Речь идет о попытке показать, каким образом к определенным понятиям, таким как *оперативная закрытость*, *аутопойесис*, *самоорганизация*, *подход теории различий*, *парадокс* подсоединяется (или не подсоединяется) что-то другое. Здесь важно выяснить, нельзя ли уже на этом уровне четко сформулировать решения: «Если ты начинаешь теорию именно таким образом, отталкиваясь от этих отправных точек, то потом ты уже не сможешь делать все, что угодно». Именно с этих позиций я пытался показать, что начинается путаница с понятием комплексности, если, с одной стороны, продолжать использовать понятия элемента и отношения, а с другой стороны, работать с понятием операции.

Нет необходимости отвечать на эти вопросы прямо сейчас, но мне кажется, что основная заслуга подобной теории состоит именно в том, что она вводит некий зонд в устоявшийся понятийный аппарат и позволяет увидеть, работает он еще или его нужно изменить. Только когда построено достаточно комплексное теоретическое сооружение, можно понять, что из этого вышло и можно ли с его помощью охватить определенные исследовательские области лучше, чем прежде.

И, наконец, последний момент. Если всерьез принимать концепцию автономной или аутопойетической системы, то вообще-то система должна содержать в себе отрицание самой себя. Система не обладает совершенной автономией, не является *self-containing*, если она не содержит собственного отрицания. В связи с этим возникает вопрос, есть ли в данной теории место, где она может отрицать саму себя. Для этого мне нужно обратиться к своему опыту ведения картотеки. Некоторые из вас знают, что существует такой аппарат с тысячами и тысячами карточек, на которые я постоянно записываю все, что мне кажется интересным или что, на мой взгляд, может пригодиться. Эта картотека довольно большая и существует уже около 40 лет. Там есть карточка, на которой написано, что содержание всех остальных карточек ложно. Таким образом, аргумент, опровер-

гающий все карточки, зафиксирован на одной из карточек. Но если я выдвигаю ящик с картотекой, эта карточка исчезает, или у нее появляется новый номер и новое место. Вы можете себе представить, что среди пятидесяти или шестидесяти тысяч карточек я не могу найти эту одну, решающую карточку, тем более что она всегда может, подобно джокеру, перескочить на другую позицию. В этом и заключается причина того, что я не могу в рамках данного курса лекций объяснить вам, почему все это неправильно, а должен дать вам на праздничные дни задание – подумать самим над этим вопросом. Я надеюсь, что в новом году вы приведете мне аргумент, который я не могу найти в своей картотеке. *(Расставание на время Рождественских каникул).*

III. Время

Девятая лекция

Дамы и господа, позвольте сначала пожелать вам счастливого нового года. Я надеюсь, что в это беспокойное время вам удалось оградить для себя островок частной жизни, который несколько отделен от мировых событий, но при этом не исключает вашего участия в них ⁹².

Теперь, после разбора вопросов, касающихся общей системной теории, я приступаю к следующему блоку. Я придерживаюсь плана, который вы получили в начале курса, но, возможно, мне следовало бы заранее сказать, о чем, собственно, пойдет речь далее и что определило выбор тем. Я попытаюсь применить формулировки из общей системной теории к темам, которые в том или ином отношении важны для социологической или социально-научной дискуссии, но которые очень часто используются без определения, как будто всем уже заранее известно, что такое, например, смысл, действие, время, коммуникация или ожидание. У меня такое впечатление, что изменения в ландшафте общей системной теории дают импульс к работе с понятиями и что мы, наверное, могли бы видеть нашу задачу в том, чтобы проверить, каким образом необходимо изменить, уточнить или даже отменить понятия обыденного или научного языка, если исходить из этого инструментария системной теории. Поэтому мы обратимся к хорошо знакомому и общепринятому понятийному аппарату, над которым стоит еще раз поразмыслить, хотя при этом никогда нельзя быть до конца уверенным, что то, что из этого получится, будет полезным и сможет продвинуть конкретные эмпирические исследования.

Я думаю, что такого рода приближение лучше всего можно осуществить в рамках темы «Время», поскольку здесь, как мне кажется, происходит, так сказать, наиболее радикальный подрыв привычных основ и происходит он с помощью понятия наблюдателя, т.е. даже не специфическими средствами сис-

⁹² Намек на распад СССР (создание Союза Независимых Государств в декабре 1991 г.) и Югославии (в январе 1992 г. Европа признала Хорватию и Словению в качестве суверенных государств).

темной теории. Если вы почитаете литературу о времени, вы обнаружите, что взаимопонимание по поводу того, что время – это всегда относительное понятие и зависит от системы, достигается очень легко. Я сам использовал различие мирового и системного времени, правда, из этого практически ничего не вышло, кроме самого различия мира и системы⁹³. Если мы в дальнейшем будем говорить о наблюдении временных отношений, о наблюдателе или о том, кто проводит различие (эти понятия я уже объяснял), то мы всегда сможем спроецировать это на систему. И тогда первый вопрос, который возникает, это кто наблюдатель или о какой системе идет речь. Идет ли речь о конкретном человеке, об организации, о студенте, который думает сначала, что у него много времени, но потом обнаруживает, что его остается все меньше, или о женщине, у которой должен родиться ребенок? Каждый раз, когда ставится вопрос о том, кто наблюдает, необходимо иметь в виду системную референцию.

Правда, анализ, который я хотел бы сейчас представить, относится к более радикальному уровню. Ведь, собственно говоря, какая польза от того, что говорят, что это время университета, это время человека X, это время современного общества и так далее? Прежде всего необходимо более точно знать, что обозначают словом «время», чтобы понять, существует ли взаимосвязь со структурными проблемами современного общества, индивида в ситуации биографического цейтнота или какой-нибудь сложной организации, например, в сфере индустрии моды или чего-то в этом роде.

Если ориентироваться на наблюдателя, нужно, во-первых, помнить о том, что речь здесь идет о двойной перспективе. С одной стороны, происходит наблюдение операции. Оно конкретно, и наблюдаемая реальность гарантирована прежде всего тем, что наблюдатель может наблюдать. Соответствует ли описание его объекта действительности, это один вопрос, но что ему вообще удастся в какой-то определенный момент осуществлять наблюдение, это уже другой вопрос. Дискуссия о конструктивизме и реализме все больше смещается к самой опе-

93 См., например: Luhmann Niklas. *Weltzeit und Systemgeschichte: Über Beziehungen zwischen Zeithorizonten und sozialen Strukturen gesellschaftlicher Systeme* // Luhmann Niklas. *Soziologische Aufklärung 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft*. Opladen: Westdeutscher Verlag 1975. S. 103-133.

рации, в частности, при использовании аргументов, подобных тому, который я только что привел: если кто-то ведет наблюдение, он должен иметь возможность это делать. Мир должен это допускать, экология должна быть в порядке, он должен жить, его голова должна функционировать настолько, чтобы он мог проводить различия, и так далее. Таким образом, с одной стороны, мы здесь имеем дело с оперативным подходом, а с другой стороны, с допущением, что наблюдение есть управление различиями. Соответственно, во-первых, возникает вопрос, когда происходит наблюдение, кто его осуществляет и что подразумевается, когда мы говорим, что время – это нечто такое, что подлежит наблюдению; и, во-вторых, возникает вопрос, что же такое различия.

Прежде чем я продолжу разводить эти два аспекта, я хотел бы указать на принципиальное изменение в семантической диспозиции, которое связано с тем, что мы берем за основу наблюдателя и ставим вопросы о том, кто наблюдает и какие при этом задействованы различия, самым решительным и серьезным образом. Ведь в нашей традиции, если я ее правильно понимаю, всегда думали по-другому. То, что я хочу обозначить как различие, как операцию, рассматривали скорее как деление мира. Это особенно сильно отразилось на области, связанной со временем и, разумеется, на способе образования понятий, категорий, и так далее. Сначала вы, наверное, будете исходить из того, что время «есть» нечто. Вы ведь говорите: «Это [есть] уже прошлое»⁹⁴. «Есть» и «бытие» – среди философов ведется большая дискуссия о том, что же означает «есть» в выражении «Это есть» – указывают на то, что существует нечто, о чем говорят, и естественный способ обращения с этим – это деление. В отношении времени основным, по-видимому, является деление на прошлое, настоящее и будущее. Если вас попросят описать время, вы, наверное, прибегните к этому делению, представив время в виде прямой, вдоль которой что-то движется.

Эта манера описывать время, исходя из деления и движения вдоль этого деления, стала причиной определенных затруднений в дискуссии, которые всякий раз подкрепляются цитатами из Августина. Во всех научных трактатах о времени приводится его цитата о том, что он знал, что такое время, пока не начал о

94 Ср. Аврелий Августин. *Исповедь*. Книга 11.

нем размышлять, но его понимание становилось все более неясным, как только он начал думать о времени⁹⁵. Очевидно, эта неясность не была абсолютной, коль скоро идея деления сохранилась. В «Исповеди» встречаются замечание вроде того, что время приходит из неизвестного, из темноты, *ex occulto* и исчезает в темноте⁹⁶, но оно присутствует на освещенном отрезке, на котором можно увидеть, что был разорен Рим, что родился Иисус Христос и так далее, и зафиксировать моменты времени. Кульминации эти рассуждения достигают в необъяснимости понятия движения⁹⁷. Что такое движение? Почему нам необходимо понятие движения, когда мы хотим говорить о времени? Это, очевидно, связано с тем, что мы представляем себе некое измерение, прямую, вдоль которой с определенной скоростью движется нечто, но не всё. Или мы представляем себе поток, которой течет сквозь нас. Поток, движение, процесс — это категории, которые подразумевают, что есть онтологическая диспозиция — описание мира во временном измерении. Мир «есть» разделенный, и в этом мире что-то движется.

Что произойдет, если мы заменим эту метафизику деления вопросом о том, кто проводит то или иное различие, кто является наблюдателем? Это последний вопрос из всех, которые можно задать, так как если мы хотим наблюдать наблюдателя, у нас должен быть наблюдатель, который наблюдает наблюдателя. Этот предел уже не перешагнуть. «*Meta ta physika*» в этой терминологии — это наблюдатель. И это одна из причин, почему я надеюсь с помощью данной перспективы выйти на социологические вопросы, которые, в свою очередь, вливаются в контекст преимущественно философской дискуссии. Наблюдателем может быть общество как таковое.

Для начала я хотел бы с этих позиций еще раз уточнить разницу между операцией и различием. Если отталкиваться от наблюдателя или от того, кто проводит временное различие, то первое, о чем можно спросить — когда это происходит? Когда различается время? Этот вопрос всегда задает другой наблюда-

95 См. Аврелий Августин. Исповедь. Книга II, глава XIV, XVII.

[“Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю»].

96 Ibid, книга II, глава XVII, XXII

97 См. также у Августина: Ibid, XXIII, XXIV, XXXI.

тель, возможно даже тот, кто хочет наблюдать самого себя и размышляет о том, почему это именно сейчас он должен, например, читать лекцию или почему именно сейчас, а не раньше или позже, не быстрее или медленнее, — и задает прочие подобные вопросы, касающиеся актуальной ситуации. Исходное положение сформулировано в самом общем виде: время фактически локализовано в акте, в операции, которая когда-то происходит. Вопрос в том, как наблюдатель наблюдателя хочет описать это «когда-то». Это означает, что сначала необходимо установить наблюдателя, который захочет наблюдать, чтобы увидеть, как и с какого момента он делит время. Как мне кажется, это имеет одно принципиально важное последствие, которое можно сформулировать следующим образом: все, что происходит, происходит одновременно. Оператор, наблюдатель, который наблюдает время, делает это тогда, когда он это делает, и не делает этого, когда он этого не делает. В тот момент, когда он думает о будущем, о прошлом, о скорости, об ускорении, о настоящем, о неотложности или о чем бы то ни было еще, происходит все, что происходит — именно тогда, ни до, ни после.

По крайней мере, так можно попробовать объяснить релятивизацию, ориентацию идеи времени на наблюдателя в отличие от представления о том, что время существует в реальности, хотя и в разных модусах, с индексами будущего, прошлого и настоящего. В обратной перспективе следовало бы сказать, что все, что происходит, происходит одновременно. Эта обратная перспектива содержит в себе требование мысленного эксперимента и видения того, что можно увидеть, если осознать, что все, что происходит, происходит одновременно. Что происходит сейчас, происходит сейчас и не происходит до этого, так как иначе оно является уже произошедшим, и также не происходит после этого. Подробных разработок этой проблемы сравнительно немного. Я как-то об этом делал доклад в Вене (в доработанном виде он напечатан в 5-м томе «Социологического просвещения»⁹⁸), потому что я знал, что на мое выступление может прийти Хельга Новотны, которая только что опублико-

98 См. Luhmann Niklas. Gleichzeitigkeit und Synchronisation // Luhmann Niklas. Soziologische Aufklärung 5: Konstruktivistische Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag 1990, S. 95-130. Доклад был прочитан Луманом 9-го ноября 1989 г. в Венском университете.

вала теорию растяжения настоящего времени (*Ausdehnung von Gegenwart*) в книге «Личное время»⁹⁹. Настоящее время все больше растягивается. Как может возникнуть такая идея, мне не стало ясно ни из текста, ни в ходе дискуссии. У меня противоположный тезис: нет, наоборот, мы сжимаемся. Мы делаем то, что делаем, и вот оно уже уходит, его уже нельзя изменить. Мы не можем это сделать еще раз. С другой стороны, мы должны иметь в виду будущее, в котором мы еще не можем действовать, еще не можем работать, планировать, распоряжаться, и другие тоже еще не могут.

В социологической литературе в ранней работе Альфреда Шютца «Смысловое строение социального мира» 1932 г. есть тезис, что люди стареют одновременно – «стареют вместе», как там, по-моему, говорится¹⁰⁰. Вопреки определенным визуальным фактам, никто не может стареть быстрее других. Мы живем «в ногу», независимо от того, как обстоят дела с нашим организмом, насколько насыщенной, конкретной, разнообразной или скучной является наша жизнь. Никто не может уже сейчас побывать в нашем будущем и сказать нам: «Будь осторожен, с тобой случится то-то и то-то». Хотя, конечно, встречаются более или менее необъяснимые попытки уже сейчас увидеть будущее. Разумеется, никто также не может остаться в прошлом, что особенно трагично сегодня, поскольку, например, в отношении поколения 1968 г. возникает такое чувство, что эти люди охотно бы остались там. Когда они каким-то образом дают о себе знать сегодня, они предстают связанными с прошлым, которое для них прошлым не является. Когда они собираются вместе, это напоминает сбор списанных артиллерийских лошадей, которые хотят еще раз услышать звук полковой трубы, – но сегодня жить в прошедшем времени, разумеется, уже невозможно. Если ты живешь с пониманием окружающего мира, выходя за

99 См. Nowontny Helga. *Eigenzeit: Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.

100 Шютц говорит об одновременности как о «феномене одновременного старения»: Schütz Alfred. *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: Eine Einleitung in die verstehende Soziologie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. S. 144. [Русский перевод: Шютц А. Смысловое строение социального мира [1932] // Шютц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. М. РОССПЭН, 2004. С. 808-809].

рамки своего времени, видишь объективные взаимосвязи, идеи, воспоминания, политические воспоминания и тому подобное, то и в этом случае тоже ясно, что невозможно поступать так, как будто ты все еще находишься там. Это имеет также значение для дискуссии вокруг традиционализма и традиции. Жить старым временем нельзя. Можно идеологически сознательно придерживаться прошлого. Жозеф Мари де Местр и другие писатели XIX в. придерживались традиции как идеологии. Это нечто другое, но и они вынуждены были делать это в настоящем времени. Один из важных для нас моментов заключается в том, чтобы вы осознали, что все, что происходит, происходит одновременно, и поэтому с точки зрения времени никто не находится ни в выигрыше, ни в проигрыше.

Второй момент, к которому я еще вернусь, когда буду говорить об организации, – это неконтролируемость одновременного. Если же что является одновременным, мы не можем достичь такового оперативным путем и, согласно общепринятым представлениям о каузальности, которые предполагают расхождение во времени между причиной и следствием, не можем воздействовать на это, не можем это изменить или преобразовать. Точно так же мы не можем реагировать на окружающий мир, который реален в это же время (*gleichzeitig*). Это открывает новый взгляд на проблемы синхронизации, которые всегда связаны с тем, что неясно, неопределенно, что относится к будущему и что уже невозможно изменить. Этот момент влечет за собой встречные вопросы относительно контроля, управления, каузальности как таковой. Здесь, на мой взгляд, прослеживается связь с тезисом об оперативной закрытости, с тезисом когнитивного конструктивизма о том, что система может заниматься только своими собственными рекурсиями, но не может своими операциями охватывать существующий в то же время окружающий мир.

Об этом я говорил в другом месте в связи с операциональной закрытостью, а сейчас мы как бы еще раз наблюдаем этот момент уже во временных аспектах. То, что происходит одновременно, мы не можем изменить. Нарезая эти периоды одновременности, мы можем в некотором смысле делать их больше или меньше. Мы можем говорить медленнее или же растягивать свою речь, так чтобы можно было ответить на реакцию в продолжении той

же самой речи. Определенные вещи мы можем делать медленнее и наблюдать, что происходит, и тогда несколько иначе разделять промежутки времени. Но возможности манипулировать настоящим и продлевать то, что получило название «specious present», видимое протяженное настоящее, очень ограничены и связаны с операционным модусом системы. Для коммуникации это означает одно, для восприятия – другое. Если бывалый солдат видит приближающуюся опасность, слышит, как сбрасывают бомбы, то он может знать, сколько у него времени до того, когда нужно будет броситься на землю¹⁰¹. Здесь настоящее имеет определенную перцептивную протяженность. Но это ничего не меняет по сути, а лишь показывает, что малая протяженность того или иного настоящего встроена в качестве переменной в задействованную идею времени.

Пожалуй, этого пока достаточно об оперативном подходе. Второй, не менее важный вопрос касается того, с какими различиями работают те, кто тематизирует или воспринимает время, т.е. с помощью каких различий они наблюдают время. Здесь мы тоже видим расхождение с онтологическим подходом теории времени, в котором утверждается, что время есть нечто, что существует, и что теории времени отражают суть предмета «время» либо правильно, либо неправильно. Следовательно, время следует трактовать как данность, так что когда речь идет о времени, то это вопрос познания и дискуссии об истинности или ложности понятий и представлений. С точки зрения наблюдателя, напротив, вопрос о том, с помощью каких различий тематизируется время, полностью открыт. Это необязательно как-то зафиксировано на основании одновременности. Мое высказывание, что все, что происходит, происходит одновременно, мало что говорит о времени. Одновременность – это понятие, которое требует неодновременности по другую сторону понятия, но ничего не говорит о ней самой. Время становится живым или доступным для описания и обозначения только тогда, когда в него встраивается различие. Простое указание на одновременность еще ни о чем не говорит, кроме того, что все хронологические раз-

101 И при этом необязательно падать в лужу, как замечает Луман в беседе с Александром Клуге в телевизионной передаче «Остерегайтесь поспешного понимания!» (Vorsicht vor zu raschem Verstehen. News & Stories. SAT.1, 4-е июля 1994 г.).

личения должны оперативно кем-то когда-то осуществляться.

Отсюда следует, например, то, что будущее и прошлое всегда происходят одновременно. Это очень странно. Об этом можно было бы поговорить подольше, но само различие как различие, как единство – это когда-то сделанное различие, в котором обе стороны установлены одновременно. Говорить о прошлом не имело бы смысла, если бы не было будущего. Но, возможно, теория различия (наверное, вы еще помните, что мы должны обозначать, какую сторону различия мы имеем в виду в актуальный момент) вынуждает нас обозначать то, от чего мы отталкиваемся, т.е. обозначать объект нашего интереса – прошлое это или будущее. В той мере, в какой это уже не имеет различающего значения, исчезает также и время. Различение времени, как всякое другое различие, хотя и актуально с обеими сторонами одновременно, но вместе с тем само по себе устроено асимметрично, так что всякий раз используется одна, а не другая сторона. В этом смысл операции наблюдения.

Возможность перейти отсюда к социологии или к общим вопросам исторической семантики появляется, если задаться вопросом о том, какие различия важны в том или ином случае. Они не могут быть какими угодно. Ничто не может быть каким угодно. Когда говорят, что выбор различия является произвольным, то либо об этом мало подумали, либо не проработали вытекающий отсюда вопрос. Данная концепция различия времени должна давать возможность увидеть, какую систему представляет собой наблюдатель и какие структурные нагрузки, условия собственного аутопойесиса и оперативные типы восприятия, коммуникации или, возможно, жизни тянутся за ним и испытывают его, чтобы увидеть, какого рода различия имеют значение.

Однако самый первый шаг заключается в том, чтобы понять, какие различия имели значение раньше. Кое-что об этом вы найдете в литературе. На сегодняшний день довольно широкая дискуссия по этому вопросу практически прекращена. Тогда решался вопрос о том, как мыслится время – линейно или циклически: циклическое сознание времени *versus* линейное сознание времени. Считалось, что есть культуры с преимущественно линейным сознанием времени, а есть культуры преимущественно циклической ориентации. Всегда можно найти отрывочные

цитаты из выборочных древних текстов, которые бы подтверждали этот тезис, но вообще-то трудно себе представить, чтобы та или иная культура сводила бы всю временную ориентацию к одному типу. Утверждалось, что иудейский народ мыслил в основном линейно, так же как и египтяне. Так же, как Нил течет через Египет, так и они смотрели на время как на черту, которая линейным образом куда-то ведет. Но и в египетской мифологии, естественно, была также ритмика дня и года, восхода и захода солнца и смены времен года. Повторение играло важную роль в египетском ритуале, обеспечивая уверенность в том, что прохождение Солнцем зодиакального круга и все, что с этим связано, повторится. Существовало как линейное, так и циклическое представление о времени. У греков это тоже не было иначе. Я не могу себе представить, чтобы греки полагали, что, например, время от времени надо снова вести персидские войны и что нужно повторять битвы при Саламине и Марафоне. В той мере, в какой греки вспоминали свою историю и рудиментарное представление о прогрессе в мире богов и в истории Греции находило свое воплощение в литературе, они уже не могли представлять себе, что все это происходит по одну сторону цикла и должно повториться. Я не думаю, что сегодня еще можно всерьез обсуждать противопоставление циклического и линейного. Критика такого рода, которую я только что изложил, встречается в литературе. Но там встречается и повторяемая по инерции мысль о циклической *versus* линейной временной ориентации в той форме, в которой ее вычитали у других авторов.

Другой вопрос касается различия движущегося и неподвижного. Это различие, как представляется, имело решающее значение для европейской истории прежде всего с точки зрения различия между божественной реальностью или способом наблюдения, с одной стороны, и людской реальностью, с другой стороны. Мы привыкли мыслить время с точки зрения движения и представлять себе, что есть что-то стабильное, вроде берега реки, и мы бы не могли воспринимать движение или время, если бы в то же время не существовало нечто неподвижное, относительно чего движется время. Однако это был культурно, исторически и, возможно, социально обусловленный взгляд на вещи. Отнюдь не все культуры, даже среди тех, которые сохранились до сегодняшнего дня, работали в основном с этой схе-

мой *движущееся/неподвижное*. Гейдельбергский египтолог Ян Ассман провел прекрасное исследование сознания времени у египтян, в котором он интерпретирует два различных понятия времени, обозначаемые также разными словами, как если бы они не были никак связаны между собой. С одной стороны, это «реальность» (это не мое обозначение; речь идет о представлении, что время откуда-то приходит и потом присутствует в качестве результата и является тем, чем является этот результат) и, с другой стороны, «виртуальность» – время как возможность¹⁰². Это можно было бы прочитать как различие между прошлым и будущим. Не знаю, может быть, такое прочтение перегружает материал, но в любом случае нужно выбирать, какое выражение будет использовано: тематизировать ли временное измерение в большей мере относительно того, что привело к тому, что теперь достигнуто определенное состояние, построен город или умер король, или тематизировать время в отношении неопределенности грядущего, шанса, возможности, того, что еще предстоит сделать. Если бы еще можно было проникнуть в материал или опросить людей, то, конечно, можно было бы узнать, как две эти системы понятий связаны друг с другом: можно ли результативность и виртуальность связать таким образом, чтобы увидеть, что результат ограничивает возможности? Или же наоборот, увидеть, что некие возможности даны нам благодаря тому, что мы создали технику, имеем в своем распоряжении письменность или получили от нового поколения богов больше свободы? Я не могу ответить на вопросы подобного рода, но они возникают, если посмотреть на это различие: являются ли результативность и виртуальность разными аспектами мира, никак не связанными между собой, или существует также идея единства времени? Насколько мне удавалось следить за работами Ассмана, развитие в сторону сознания единства, а также символики обобщения различных ситуаций, например, рождения и смерти или восхода и захода солнца, было очень постепенным и осуществлялось главным образом нарративно, но так и не привело к понятийно-теоретическому проникновению в

¹⁰² См. Assmann Jan. Das Doppelgesicht der Zeit im altägyptischen Denken // Peisl Anton, Mohler Armin (Hrsg.) Die Zeit. München: Oldenbourg, 1983. S. 189-223; Assmann Jan. Stein und Zeit: Mensch und Gesellschaft im Alten Ägypten. München: Fink 1991, 2. Aufl. 1995. S. 32-58.

единство различного. Впрочем, я здесь говорю о чем-то таком, в чем я некомпетентен. Мне важно лишь обратить ваше внимание на то, что западноевропейская традиции, в отличие, скажем, от египетской, работает со специфическими различиями, которые не следует понимать как само собой разумеющиеся, как нечто врожденное, появляющееся вместе с сознанием времени или как *essential* любых представлений о времени.

Особенность западноевропейской традиции различения движущегося и неподвижного заключается в том, что это различение даст возможность представить себе единство различения, а именно единство в Боге, в неподвижном двигателе, как его понимал Аристотель. Бог есть инстанция, которая, будучи неподвижной, отвечает за совокупность всего движения и всего неподвижного, наблюдает ее, выпускает из себя, создает. Над различием движущегося и неподвижного есть единство. Эта идея может получить развитие в моделях эманации — единство неподвижного порождает изнутри себя двойственность движущегося и неподвижного; само оно неподвижно, но оно проводит различие между движущимся и неподвижным, так же как Я у Фихте порождает изнутри себя различие между Я и Не-Я — или в виде космологии. Здесь можно увидеть, что существует возможность выйти за пределы сугубой дизъюнкции или качественной разнородности временных аспектов и — с позиций мифологии или философии — поставить вопрос о том, как это было изначально: что является началом и как возникает различие? Какие последствия это имеет для нашей сегодняшней ситуации? Должны ли мы рассматривать время как нечто, присущее только людям? Находится ли Бог по ту сторону всех времен? Является ли Бог кем-то, кто видит одновременно все прошлое и все будущее? Учитывая тезис об одновременности, сформулированный несколькими минутами ранее, теперь следовало бы сказать, что для Бога все время одновременно и что его присутствие длится так долго, сколько вообще длится время. Подобные высказывания вы можете встретить и в теологии.

Если же к этому присовокупить анализ в духе социологии знания, то можно было бы спросить, какое общество описывает время таким образом и что при этом относят к неподвижному или недвижимому, а что — к движущемуся. Вот части аристотелевской, а отчасти платоновской традиции сущности, например,

относятся к неизменному, а история — к движущемуся. Это означает, что историю вообще нельзя воспринимать всерьез, потому что это афера, в которую всегда что-то вклинивается и совершенство не может по-настоящему осуществиться. В XVI в. имела место долгая дискуссия о поэзии и истории, в которой говорилось, что хотя стихи — это сплошной вымысел, но они затрагивают сущностные свойства вещей, тогда как история постоянно сама себя сбивает с толку и нарушает саму себя и что из-за этого происходит нечто такое, что не было предусмотрено в природе или в сути вещей. Можно предположить, что здесь имеет значение своеобразный компромисс между интересами стабильности и интересами изменчивости. Это можно перевести в категории социологического анализа, в частности, в теорию дворянства, согласно которой дворянина в историческом плане определяет издавна существующее богатство и, соответственно, деловые способности его семьи, и это отмечается его рождением. Он, как говорили средневековые юристы, не может измениться под влиянием нравственных факторов. Была дискуссия о лишении дворянского достоинства в качестве наказания за бесчестие, т.е. за совершение поступков, которые наносят очень сильный ущерб репутации. Однако юридическая проверка этого бесчестия была настолько сложной, что по более или менее практическим причинам на это закрывали глаза. Поэтому в дворянстве видели некую константу, которая давалась одновременно с рождением, а время повторно вводилось уже обходным путем — через политические механизмы пожалования дворянства. Впрочем, эта дискуссия еще не использовала такие понятия, как будущее и прошлое, а различала между постоянным и изменчивым. Вопрос был в том, в какой мере повседневное поведение привносит изменчивость в дворянское сословие. Например, дворянин не имел права заниматься торговлей. Но что он делает, когда в октябре ему надо продавать урожай? Теряет ли он тогда свой дворянский титул на три недели, чтобы потом получить его обратно? Сложный вопрос. Но и эти замечания должны лишь указать на то, что культура, отталкиваясь от не подлежащего сомнению различия между движущимся и неподвижным, неизменным и изменчивым порождает проблемы, при помощи которых она пытается объяснить свою реальность. И, как мы показали на данном примере с дворянством,

она должна всегда учитывать обе стороны различия.

Для перехода к современности мне представляется важным то обстоятельство, что все большую роль начинает играть различие прошлого и будущего. В одной дискуссии, которая сейчас тоже уже не так актуальна, утверждается, что есть народы, у которых в языке нет понятия будущего и, следовательно, они не могут выразить ни будущее, ни прошлое. Но и в ходе дискуссий об индо-германском языке обсуждается вопрос, были ли претерит, аорист или имперфект, футурум или футурум II в нашем языке изначально временными формами глагола. Эта область, в которой, как мне кажется, можно долго искать и мало что найти, поскольку сложно вернуться к времени возникновения этих языков. Почему греческий аорист, обозначающий действия, а не состояние в прошлом, как перфект, сохранился в греческом, а из латыни исчез? Может быть, он сохранился потому, что греки подмешали в него «S», а звук «S» сложно не услышать в речи, или есть другие причины? Я думаю только, что ввиду в том числе этнографических исследований, трактовавших сознание времени как полностью зависимое от языка (так, например, утверждается, что индейцы Хопи якобы не знают времени), всегда нужно смотреть на то, каким образом эти культуры выражали отношения времени, которые были им, разумеется, известны, — через формы условного наклонения или маркируя типичные события («К вечерней дойке я снова здесь»). Мы тоже могли бы так сказать, если бы у нас были животные, которых нужно было бы доить. Моменты времени можно помечать типичными событиями, в отношении которых все знают, когда они состоятся. С помощью таких форм условного наклонения выражается время.

В основе этого, по-видимому, лежит самое глубокое и базовое различие До и После. Собственно говоря, время можно увидеть только тогда, когда можно различить До и После. Но крайней мере, на современном этапе дискуссии считается, что различие До и После является самым базовым различием, которое позволяет видеть время относительно момента Сейчас благодаря вопросу о том, что является временем До и После с точки зрения сегодня, сейчас, этого часа. Впрочем, этот момент Сейчас можно переместить, так что, реконструируя событие, например, в суде при рассмотрении несчастного случая или правонарушения, можно задать вопрос, что произошло сна-

чала, а что потом. Различие До/После можно использовать также, в значительной мере абстрагируясь от идеи движения. Предшествовавшие состояния можно установить и в том случае, когда неизвестно, какое движение, какой процесс, какая каузальность привела к состоянию После. С помощью различия времени и До и После можно развести по разным временным ситуациям состояния, которые невозможно спроецировать друг на друга, так как это привело бы к противоречиям уже на уровне нейрофизиологии — я не могу одновременно находиться здесь и разговаривать по телефону в своей комнате. И, как мне кажется, это можно сделать независимо от того, можно ли себе представить, как одно, будучи каузально обусловленным, выходит из другого или же какие процессы связывают или не связывают ситуацию. Если бы не было этого различия До/После, то вопрос причинности или процесс актуализировались бы отнюдь не в качестве того, что связывает. Однако если употреблять различие До и После на таком базовом уровне, то нужно обращать внимание на соблюдение дистанции по отношению к различию будущего и прошлого. Может существовать множество повседневных или же литературных описаний ситуаций через отношения *До/После*, при том что будущее и прошлое еще не приобретают особого значения в сознании времени.

Каким образом я развожу эти две сферы на уровне понятий, мне самому не до конца ясно. Понятие горизонта у Гуссерля позволяет мыслить До, присоединять к нему новое До и так далее. Так я никогда не смогу достичь конца, но я могу все время двигаться в одном специфическом направлении, допуская, что все, чего я достигаю с каждым новым шагом, тоже будет поддаваться определению. Лишь горизонт, согласно метафоре, обладает своего рода бесконечностью — он смещается. Будущее в таком случае тоже было бы временным горизонтом, который может быть наполнен последовательностью После, но состоит не из суммы событий, а из *И-так-далее-движения*. У Гуссерля речь идет об интенциональном акте просматривания будущих определенностей. Этим понятием горизонта можно манипулировать, но основной вопрос в том, какие причины есть у культуры, чтобы описывать время через это различие будущего и прошлого и тем самым переходить от различия *До/После* к более глобальной перспективе, в которой, если смотреть из опре-

деленного настоящего, есть прошлое и будущее. Эта тенденция имеет место во всех культурах, как только будущее начинает рассматриваться не только в значении отдельного события. Однако в современном обществе это различие прошлого и будущего по вполне очевидным причинам становится доминирующим, и это доминирование тем более усиливается, чем более явно общество исходит из того, что будущее должно быть не таким, как прошлое. Инвариантности, сквозные неизменности сокращаются, пока, наконец, уже ничто не может считаться стабильным, причем вопрос заключается лишь в том, за какой промежуток времени что-то изменится. Мы даже человека не считаем стабильным существом: он погубит или себя, или всех сразу, или создаст с помощью геной технологии геноидоподобные существа, превосходящие его по своим способностям, и затем исчезнет в результате конкуренции со своими собственными творениями. Все в какой-то мере возможно, вопрос лишь в том, сколько человеческого времени нам еще осталось. Поскольку речь идет о будущем, может быть, этого и не произойдет, но сама возможность работать со стабильным, с невозможностями и необходимостями, с инвариантами существенно сокращается, причем, как показал Ханс Блуменберг в своем прекрасном, очень обстоятельном исследовании, сокращается в том числе и в пределах жизни отдельного человека¹⁰³. За сравнительно долгий период жизни мы видим столько изменений, что экстраполируем это в допущение о том, что когда-нибудь все будет по-другому.

В той мере, в какой это допущение проникает в нашу жизнь, описание общества и вообще отношений времени, в том числе индивидуальной жизни, с помощью различия прошлого и будущего оказывается практически неизбежным. Различение движущегося и неподвижного есть лишь вопрос продолжительности временных промежутков, которые принимаются во внимание. В краткосрочной перспективе многое представляется стабильным, в долгосрочной перспективе то же самое уже не является стабильным. Очень многие структуры, типичные для Нового времени, были переориентированы на этот модус. Так, происходит переход от представления о человеческой жизни с точки

103 См. Blumenberg Hans. *Lebenszeit und Weltzeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

зрения рождения и происхождения к карьере и биографическому сознанию. Автобиографии или биографии других теперь пишут не с точки зрения того, какие это были неординарные люди, какие завоевания совершил Александр Македонский и как он в отдельных ситуациях всегда проявлял себя именно как Александр Македонский, но с точки зрения решений и выбора опций, который затем становятся прошлым, из которого нужно исходить. Получаются как бы историзированные биографии. Это один пример. Но и Французская революция была сигналом. Даже во Франции с ее королем, ее великолепным Версалем и абсолютистским государством в его совершенной форме хватило некоторых незначительных волнений – и вот уже все рушится. Меняется весь мир идей. Современники, которые это замечают, одновременно фиксируют последствия, которое это имеет для сознания времени. Например, у Новалиса я нашел такую фразу: «Время стабильных форм для нас закончилось». Если была возможна Французская революция, то, по крайней мере, в общественной сфере возможно все.

Применительно к способу наблюдения это означает, что настоящее сжимается до одной точки, в которой будущее и прошлое считаются различными. Настоящее есть точка различия будущего и прошлого. У Новалиса можно встретить формулировки вроде той, что настоящее есть дифференциал функций будущего и прошлого¹⁰⁴. Как бы он себе это ни представлял, в любом случае настоящее – это уже не пусть даже сравнительно короткий отрезок времени между прошлым и будущим, который не дает им столкнуться друг с другом, и это уже не точка контакта с Богом, для которого все – настоящее время, тогда как мы, люди, имеем возможность соединить наше настоящее с настоящим Бога только в один миг своей жизни – перед смертью. Это представление тоже исчезает, и вместо него появляется своеобразное принуждение к принятию решения, некая точка переключения: «Сейчас у нас есть пространство для маневра; сейчас мы можем – опять-таки все одновременно – что-то изменить». Но как только это стало прошлым, как только эти атомные станции уже стоят здесь, то они уже стоят, и ликвидировать

104 См. Novalis. *Das allgemeine Brouillon*. 4. Handschriftengruppe, Nr. 1132 // Novalis. *Werke, Tagebücher und Briefe* Friedrich von Hardenbergs. Bd. 2: *Das philosophisch-theoretische Werk*. München, Hanser, 1978. S. 717.

их будет затруднительно, разорительно и, может быть, вообще невозможно. Прошедшее настоящее было настоящим, которое, по мнению многих, в этом вопросе приняло неправильное решение, пока еще была возможность решать. Теперь мы уже не можем решать, мы находимся в другом настоящем и имеем иную ситуацию принятия решения, чем прежде. Настоящее понимается как точка переключения, как точка, которую можно потерять из виду, упустив что-то из-за бездеятельности или сделав что-то, о чем впоследствии пожалеешь. Однако единственная возможность действовать свободно всегда есть только в настоящем. В будущем мы еще не можем действовать, а в прошлом — уже не можем.

Странно, но о настоящем написано немного. В отношении вопроса о том, что означает временная форма «настоящее», наблюдается явный недостаток рефлексии. У Жака Дерриды — вы узнаете об этом, когда начнете изучать философию — можно найти представление о том, что старая онтологическая метафизика была сформирована через присутствие — «présence»¹⁰⁵: формы, которые применяют, различения, которые проводят, интенциональные операции выражения у Гуссерля, возможно, также коммуникация всегда подразумевают, что есть нечто, во что или в направлении чего формируют, формулируют или на что пытаются воздействовать интенциями. Настоящее в этом смысле понимается как качество бытия, которое неопределенно или как бы размыто по краям с точки зрения продолжительности. Для Дерриды это пройденная метафизика. В контексте различительного сознания, которое относительно близко теории различения, мы должны изначально устанавливать различие. Тогда настоящее было бы другой, всегда неизвестной стороной наших операций. Деррида говорит о «íchnos» (греч. след); это означает, что мы можем сейчас что-то сделать, но настоящее в прежнем смысле есть отсутствие того, что мы можем видеть непосредственно перед собой. Это связано с представлением о том, что всякое различие по сути является операцией, смещением различия. Мы не можем сохранять различие стабильным, а должны постоянно переходить от одного к другому, тематизируя то один объект, то другой, то одно различие, то другое. У Дерриды это выражено через игру слов *différence/différance*.

105 См. Derrida Jacques. *Marges de la philosophie*. Paris: Minuit, 1972.

Таким образом, существуют сравнительно хорошо проработанные рассуждения о настоящем, которые, однако, в своем контексте задуманы как философско-исторические и в некотором смысле заканчиваются критикой онтологической метафизики, не переходя в актуальную социологию, например, в социологию рискованного поведения, ответственности, различных временных перспектив и так далее. Однако можно было бы себе представить довольно привлекательный исследовательский проект, посвященный тому, насколько современные беспокойства, стрессы, избыточные нагрузки, будь то в индивидуальной карьере или в обществе, в сфере экологии или техники, связаны с тем, что у нас мало времени, в течение которого мы вообще можем что-то сделать. Будущее еще, а прошлое уже недоступно, так что уже самым способом тематизирования времени мы сами ставим себя в сложное положение. Это не следует понимать в том смысле, что мы тут совершаем какую-то ошибку, — это значит, что когда мы рассматриваем наше общество во временном аспекте, мы осмысливаем его именно так.

Последний вопрос по теме времени касается феноменов синхронизации. Если исходить из того, что настоящее представляет собой вынужденное положение, в котором нужно действовать, имея при этом ограниченное пространство для маневра или мало времени, то, разумеется, сама собой напрашивается мысль о планировании и о том, что мы должны, так сказать, планировать самих себя как прошлое, которое пригодится в будущем. Мы всегда должны мыслить множество отношений времени, должны отличать нынешнее настоящее от будущих настоящих, которые пока неопределенны, но для которых мы сейчас являемся прошлым. Время рефлексивно отражается в самом себе — не столько в значении исторической перспективы, как это часто встречается, сколько в значении планового менталитета. Историки уже в XVIII в. научились понимать, что, в частности, национальная история — это наше прошлое, в котором, однако, настоящее германских племен имело совершенно иное значение. Если смотреть ретроспективно, то настоящее — это настоящее с другим прошлым и другим будущим, чем то, которое мы видим сегодня, так что, как принято говорить, «дух времени» конструирует свое собственное время, свою собственную историю. Можно писать национальную историю или даже мировую

историю или историю идей, но это всегда делается с точки зрения определенного времени и поэтому нужно иметь в виду, что описываемые историей времена рассматриваются не из своего, а из другого настоящего. На данном уровне это является общепринятым представлением, распространенным также среди историков, хотя они и не формулируют это так сложно в терминах двойной (прошедшее настоящее время, будущее настоящее время, настоящее будущее время) и тройной модализации (будущие настоящие времена настоящего будущего времени)¹⁰⁶.

Если иметь в виду эти двойные или тройные модализации, то очень быстро упираться в границы того, что может быть освоено в ходе планирования, прежде всего организационного планирования, так как речь идет главным образом о нем. Если человеку организационного типа задать четко сформулированный вопрос о том, какое прошлое важно для него в отношении какого будущего настоящего, то он сначала будет сбив с толку, потому что не привык думать таким образом. Однако фактически планирование крупных проектов происходит именно так, например, когда планируется бурение крупных нефтяных скважин в Северном море, где необходимо свести в общие цепочки событий комплексное технологическое, экономическое, оперативное, финансовое и прочее планирование¹⁰⁷. Настоящее время, в котором нечто должно завершиться, формируется на основании того, что это нечто должно завершиться, с тем чтобы могло состояться что-то другое. Мы постоянно приходим к размышлениям о том, что в некоем определенном будущем является уже неизменным прошлым. Из этих проблем планирования проистекают также возможности нарушения плана, срыва или использования временных зазоров и проблем в планировании с тем, чтобы повлиять на что-то. Все это известно из социологии организаций.

Вспомните хотя бы организационные проблемы в области моды. Во-первых, тут мы имеем дело с проблемой мимолетности. Мода этого лета – это уже не мода прошлого, но также и не мода следующего лета. С зимой дела обстоят точно так

¹⁰⁶ См. также Koselleck Reinhart. *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.

¹⁰⁷ Возможно, Луман имеет в виду исследования, представленные в книге: Stinchcombe Arthur L., Heimer Carol A. *Organizational Theory and Project Management: Administering Uncertainty in Norwegian Offshore Oil*. Oslo: Norwegian UP, 1985.

же. А производство соответствующих тканей и одежды должно сочетаться с внутренней отделкой автомобилей. Поэтому сначала должен быть решен вопрос о цветовой гамме. Он может решаться за два года до производства. Когда цветовая гамма определена, можно подумать о планировании дизайна и тому подобном. Потом проводятся большие показы, на которых совершают закупки конфекционеры. Мода, которую мы воспринимаем как нестабильную в тот момент, когда совершаем покушку, в определенной степени является точно запланированной в отношении временного ритма. Это зависит от финансовой мощи фирм, от размера производственных предприятий, от скорости печатания тканей и тому подобного. За последние пять-десять лет сложилась следующая ситуация: на больших показах мод дизайнеры и продавцы тканей демонстрируют свои ткани и пытаются добиться от конфекционеров того, чтобы те купили их ткани и сшили из них вечерние наряды. Кроме того, на показах присутствуют представители крупных фирм, обладающих большой финансовой мощью. Они копируют модели, разумеется, не один в один, потому что иначе их уличили бы в плагиате, а с легкими вариациями, так, чтобы с юридической точки зрения нельзя было подкопаться. Эти фирмы, обладающие большой финансовой мощью, отправляют образцы по телексу или каким-то иным образом прямым в Гонконг. Их продукция уже представлена в универмагах в тот момент, когда дамы за пять или шесть или десять тысяч марок покупают себе вечерние платья, которые они наденут один раз в жизни. Потом, когда эти дамы идут в «Карштадт», они видят, что там эти модели уже предложены в виде готового платья. Группа людей, которые могут себе позволить купить за пять или десять тысяч марок платье, которое они наденут один-единственный раз, сокращается. Впрочем, это может быть связано также с тем, что из-за налогов они все равно не могут покупать одежду в Германии, а могут только в Париже, и наоборот, французы должны покупать такую одежду в Германии, чтобы налогово-финансовое управление не стало интересоваться происхождением денег. Такая вот осмотрительность. Тогда возникает вопрос, не внедрилась ли джинсовая культура уже настолько сильно, что в будущем уже вообще не будут носить такую эксклюзивную одежду. Наконец, крупные фирмы имеют возможность разорить мелкие фирмы за

счет техники копирования и быстрого массового производства удачных моделей; и они, разумеется, знают, кто купил образцы моделей и кто хочет запустить их в производство. Затем существует также дополняющая техника, когда все чаще производится одежда, не имеющая успеха, или наблюдается недовыручка и новые модели могут быть предложены с опозданием, но они сразу запускаются в производство. Кто сделал неудачные закупки, или не был снабжен товаром, или по каким-то причинам не был обеспечен информацией, которая показала бы ему невыгодность его решения, теперь, в тот момент, когда вообще-то уже слишком поздно, все-таки еще может сделать закупки.

Эти тенденции получили развитие в течение считанных лет, и по ним можно увидеть, как происходит расчет времени. При этом речь идет не о времени, которое описывают социологи, изображая феномены моды как нестабильные, а о своеобразном смещении сроков, дат, «Уже-невозможно» или «Еще-возможно», о перспективах финансовой мощи, публичности и условий финансирования. Финансирование знаменитых кутюрье осуществляется не из их личных средств, а за счет кредитов от поставщиков. То есть они в один миг могут оказаться без средств. В такой ситуации время играет существенную роль, хотя этому, наверное, нельзя или не нужно давать оценку в возвышенной терминологии будущих прошлых времен. В отдельных аспектах временная перспектива вторгается в планирование предприятия и рыночное планирование. Для вас здесь нет ничего нового, если вы вспомните о том, что в пишут в газетах: японцы меняют машины чаще, чем мы, и это рассматривается как признак могущества, хотя, конечно, можно придерживаться иного мнения на этот счет. Здесь выигрыш во времени, темп, изменения трактуются как рыночные стратегии.

Сюда добавляется второй аспект, связанный с тем, что мы должны учитывать все большее проникновение будущих времен с их сроками и условленными датами, которое ведет к тому, что определенные вещи можно сделать только до какого-то определенного момента времени, а позже уже нельзя. При этом теряются или, во всяком случае, сильно видоизменяются целые иерархии значимостей и ценностей. Если молодой ученый знает, что он до определенного возраста должен стать кандидатом наук, чтобы иметь возможность получить какую-то должность,

которую он уже не сможет получить, будучи старше этого возраста, то это может повлиять на выбор темы диссертации. И если мы должны провести лекцию в определенный момент времени, за полчаса до этого момента мы уже не можем начать ничего толкового, потому что нам не хватит времени сделать что-то относительно продолжительное. Временные перспективы вторгаются в объективные (*sachliche*) значимости, в ценностные предпочтения. Тем самым вся дискуссия по поводу ценностей загоняется в тиски абстракций, хотя в повседневной жизни решающими являются совершенно другие факторы, в том числе в вопросе о том, сколько у меня времени и когда я уже или еще не могу делать определенные вещи.

И последний вопрос по этой теме. Я думаю, что необходимо отличать рассуждения о времени на уровне организации, а также рассуждения о времени на уровне индивидуальной карьеры от общественных измерений времени. Когда мы формулируем теорию времени, т.е. наблюдаем, как другие люди наблюдают время, мы должны различать, кого мы, собственно говоря, наблюдаем — людей или социальные системы. Именно с этого я начал. Для этого следует различать, с одной стороны, общественную перспективу, с другой стороны, организационную перспективу и, возможно, с третьей стороны, перспективу индивидуальной жизни, различать хотя бы для того, чтобы увидеть, как эти перспективы переходят одна в другую и от чего зависит их взаимообусловленность. Об организационной сфере я успел кое-что рассказать, так что сейчас могу исходить из того, что вы это уже слышали. Уже можно видеть детализованность и ограничения, которые вытекают из планирования времени в организации; при этом организации являются единственным механизмом, с помощью которого можно, например, осуществить кардинальные изменения в технологии или на фундаментальном уровне отреагировать на экологические проблемы. Создание некоего этического канона, который потом в лучшем случае будет разложен курьером в почтовые ящики частных домов, ничего не даст. Нужно всегда представлять себе организацию, которая переведет это в свой календарный график, и тогда, независимо от важности конкретного дела, появится столько ограничений, что со стороны будет сложно понять, что же, собственно говоря, осуществимо с техничес-

кой, экономической и организационной точки зрения.

Я вспоминаю дискуссию в Линце вокруг компании Voest Alpine AG, которая занимается производством стали и коксованием и которая подверглась нападкам из-за загрязнения окружающей среды. На нее оказывалось давление как со стороны Вены, так и со стороны города Линца, и она должна была принять определенные меры для уменьшения выбросов. Однако на тот момент, когда составлялся календарный график, предусматривавший сокращение выбросов к определенному году вдвое, было неизвестно, сколько это будет стоить, т.е. невозможно было определить финансовые затраты, а предприятие тогда несло убытки. Технологическая сторона того, как можно удовлетворить эти требования, также была неизвестна. Над агломерационными машинами нужно было установить пластины, на которых оседал бы газ и которые имели бы такой химический состав, чтобы могли улавливать серу. Однако было непонятно, как нужно чистить эти пластины — химическим или механическим способом, т.е. вытряхиванием. Не знали также, какой срок эксплуатации пластин при том или ином методе очистки. К ученым тоже было не обратиться, так как они все равно этого не знают. Нельзя было нанять какого-нибудь выпускника физического или химического факультета и сказать, чтобы он прочитал об этом в своих книжках, потому что там об этом все равно ничего не написано. У крупных фирм есть связи, и в Питсбурге уже работали над схожими проблемами, но в Линце разделение труда организовано так, что одни проводят одни эксперименты, а другие — другие. И все же вопрос прочности пластин, вопрос о том, что будет с производственным процессом, пока будут менять пластины, и так далее и тому подобное — все это было абсолютно неясно. В результате лимит расходов был превышен, и соблюдение договоренности о сроках тоже было невозможно. Разумеется, это вызвало переполох, но чем ближе рассматриваешь эти вещи с производственной стороны, тем сильнее искушение поставить тех, кто жалуется, на место тех, на кого они жалуются, и спросить их, что бы они сделали, если бы им самим пришлось бы это улаживать. Во время этой ситуации неопределенности не только в отношении технологии и пределов финансовых затрат, но и с точки зрения организационных возможностей кокс перестали грузить на открытые вагонетки, а транспортировали

из коксовального завода автоматизированным способом и в закрытом виде. Это очистило воздух от отходящих газов и дало возможность в массовом порядке уволить рабочих, которые до этого всегда выполняли эту работу лопатами. Однако теперь вопрос был в том, уволят ли рабочих или нет. Это, в свою очередь, было связано с финансовым планом, так как часть расходов планировалось возместить за счет сокращений, которые, однако, не приветствовались. В результате сложилась ситуация, в которой сложно было предсказать, где и когда произойдет политический взрыв.

За общими вопросами времени, которые возникают, когда мы должны очень быстро и очень кардинально изменить что-либо как в технологии, так и в экологической политике, всегда нужно видеть такого рода организационные проблемы реализации. Я не хочу утверждать, что нет свободы выбора между более и менее удачными решениями, но временные перспективы, которые диктует нам экологическая реальность, временные перспективы, которые приняты в организации, управляемой рационально, и временные перспективы политика, который хочет повлиять на что-то за время действия правительства, за срок исполнения должности и при этом, возможно, еще в условиях скандала — я вспоминаю ситуацию в городе Зальцгиттере¹⁰⁸: сколько отпущено времени на то, чтобы отреагировать на скандал? — все это очень разные временные перспективы. Здесь сходится столько всего, что складывается впечатление, что временное измерение — один из решающих аспектов на всех уровнях: как на уровне организации, так и на уровне общества и уж тем более на уровне экологического контекста общественной действительности.

При этом я еще даже не упомянул о том, что перед всеми людьми, которые не могут почивать на лаврах своей семьи в том смысле, что тем, что они есть, они обязаны не факту своего рождения или наследству в акциях, на которое они точно могут рассчитывать, а должны что-то делать из своей жизни, для чего раньше были стандартизированные предписания в отношении сроков (сейчас это уже не совсем так): до какого-то определенного времени нужно получить аттестат зрелости,

¹⁰⁸ Луман, вероятно, имеет в виду дебаты по поводу захоронения радиоактивных отходов в шахте «Конрад» бывшего железного рудника.

учеба в вузе длится столько-то, можно проучиться на один год подольше, жениться можно только тогда, когда уже есть работа и так далее, а работа начинается только после учебы, – так вот, перед всеми этими людьми встают проблемы синхронизации. Соответствующие модели исчезают. Во многих сферах время становится более эластичным, но из-за этого также менее стабильным в своих последующих присоединениях. Люди не знают точно, когда наступает подходящее время для женитьбы, когда нужно рожать детей, на какой период профессиональной деятельности можно рассчитывать, как долго будет актуальной выбранная профессиональная подготовка и будет ли она актуальной вообще и так далее, и тому подобное. Существуют лишь немногочисленные стандартизированные общественные нормы, которые это регулируют, когда можно посмотреть, как это делают соседские дети, как с этим обычно поступают в кругу твоих друзей, но в целом можно наблюдать пестрое многообразие самых разных решений. Я полагаю, что эта ситуация обостряет сознание времени и, следовательно, сознание контингентности. Перед нами всегда стоит вопрос, что мы упустили, делая то, что нам казалось важным, и будет ли у нас впоследствии возможность снова продолжить то, что мы упустили. С одной стороны, у нас тогда больше возможностей, чем раньше, но, с другой стороны, мы сталкиваемся с вопросом о том, что будет представлять собой будущее настоящее, если смотреть с точки зрения настоящего будущего.

Поэтому я и изложил вам эти размышления о времени. Сами по себе они являются лишь частным аспектом того, что я буду рассматривать в следующем часе, а именно смысла. Время есть измерение смысла. В следующем часе я хочу попытаться порассуждать о проблеме смысла – опять-таки с точки зрения того, с помощью каких различений мы наблюдаем смысл. Поэтому позднее я еще раз совсем коротко вернусь к теме времени, а именно в связи с теорией смыслового переживания и действия.

IV. Смысл

Десятая лекция

Я подумал, что для перехода от раздела о времени к разделу о смысле, может быть, будет полезно еще раз вернуться к наблюдателю, чтобы напомнить о том, что и о смысле мы тоже рассуждаем с точки зрения того, кто наблюдает с помощью смысла. В вопросе о смысле это особенно сложно потому, что мы просто-напросто не можем себе представить, чтобы что-то наблюдалось без смысловых импликаций. Поэтому я на примере времени хочу еще раз попытаться пояснить, что имеется в виду, когда ставится вопрос о наблюдателе, или, иначе говоря, что имеется в виду, когда задают вопрос о различении, исходя из которого артикулируется наблюдаемое обстоятельство дел (Sachverhalt). Готовясь к лекции, я еще раз просмотрел два текста – рассуждения Гегеля о времени и трактат Аристотеля «Физика» – и сейчас хочу зачитать вам введение к разделу о времени из «Энциклопедии философских наук». Речь идет о § 258, если вы захотите перечитать этот фрагмент и попытаться его понять, что, наверное, довольно сложно – предположительно, и для самого Гегеля. Я вынужден читать медленно, чтобы до вас дошел смысл: «Время как отрицательное единство вне-себя-бытия *есть также* нечто всецело абстрактное и идеальное. Оно *есть бытие, которое, будучи, не есть, а не будучи, есть [...]*»¹⁰⁹. Ограничимся этим. Здесь я хочу спросить лишь о том, почему к этой проблеме Гегель подходит через схему бытия и небытия. Почему Гегель использует различение бытия и небытия для того, чтобы говорить о времени? Начиная уже с первого предложения, это погружает его в проблемы, связанные с тем, что время явно является чем-то, что есть, и вместе с тем чем-то, чего нет, т.е. чего еще нет или уже нет. Тем самым он получает парадокс, и он, очевидно, этого и хочет, однако не совсем понятно, почему. Из текста этого тоже не узнать.

Подобный подход имеет свою традицию. Если вы посмотрите

¹⁰⁹ Hegel Georg Wilhelm Friedrich. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Hamburg: Meiner, 1975. S. 209. [Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. М., 1975. С. 52]

те трактат Аристотеля по физике, это книга IV, глава 14, то он тоже начинается с бытия и небытия и тоже с текста, который в своей формулировке подразумевает, что существует и то, и другое, т.е. и бытие, и небытие¹¹⁰. Каков здесь смысл этого «есть»? Оно есть нечто, что не есть. Или оно есть нечто, что есть. У Аристотеля затем происходит еще один интересный поворот, когда он начинает говорить о «теперь», о моменте, в котором небытие прошедшего и небытие будущего как бы совпадают и два небытия, если можно так сказать, сливаются, образуя одно бытие. Как же так? Зачем же спрашивать о бытии и небытии, если уже заранее известно, что такое время, а это нечто такое, чего еще нет или чего уже нет, т.е. нечто, что должно быть поделено на «до» и «после», т.е. на прошлое и будущее? Какое знание о времени имеют еще до того, как начать применять различение? Кроме того, при перечитывании этого аристотелевского текста мне показалось интересным то, что «ну», «теперь» субстантивировано. Он говорит о «to de nu», т.е. о «теперь» (das Jetzt). Во французских переводах это «le maintenant», а в моем немецком тексте – «момент теперь» (der Jetztpunkt). Но если я теперь говорю «теперь», то я говорю теперь «теперь» и вы знаете, что я имею в виду, когда я теперь говорю «теперь», а именно в точности тогда, когда я это говорю. Это своего рода наречие, «indexical expression», что-то, что понимают только тогда, когда сами присутствуют в тот момент, когда это говорится. Эта референция к ситуации, в которой что-то устно говорится, изымается при номинализации. Теперь имеется Теперь (das Jetzt), которое, очевидно, обладает неким качеством, которое стабильно когда-то проявляется, может проявиться, проявилось или проявится. Если читать текст с социологической точки зрения, то возникает вопрос, с какой стати здесь субстантивируется наречие, которое используется в контексте повседневной речи? В устной речи это понятно из ситуации, в письменном тексте это становится странным, так что за различением, за трактовкой «теперь» мы вдруг видим различие (Differenz) устного и письменного, а также понимаем, что искусственность разговора о времени и использование онтологической схемы *бытие/небытие* – у Аристотеля к этому еще добавляется схема *часть/целое* – очевидно, приводит к тому, что «теперь» становится частью

времени, хотя это два небытия, скомбинированные в одно «теперь». В этой схеме возможность сказать, что «теперь» есть часть времени, а время есть целое, поделенное на одни только «теперь», «моменты теперь», по-видимому, является результатом письменной культуры. Однако формулируя это таким образом, мы все равно обращаемся к различению (Unterscheidung), идущему вразрез семантикам, посредством которых самовыражается письменная культура.

Я пока не даю ответа на все эти вопросы, а говорю лишь о том, что то, что за этим стоит, можно свести к следующему вопросу: что собой представляет первичное различение? Например, здесь задействовано понятие движения, которое кажется понятием, соединяющим небытие с бытием, но этого недостаточно для определения времени, так как время не движется в том смысле, что оно проходит как бы мимо нас, что оно то было у нас, то снова ушло, а потом, по-видимому, когда время этого уже не хочет, его и вовсе нет. Это понимает и Аристотель. Порядок разработки теории времени как-то зависит от различения, и вопрос в том, кто проводит подобное различение, кто является наблюдателем, и вслед за этим вопросом сразу же возникает другой: кто задает этот вопрос? То, что мы задаем этот вопрос и можем попытаться ответить на него с помощью концепций рекурсивности, импликации или даже понятия смысла, вполне в духе как концепции аутопойесиса, так и того, что я сейчас хочу сказать о смысле.

Это была промежуточная часть, которая должна была лишь на время вызвать наблюдателя, чтобы потом снова позволить ему удалиться. Теперь я перехожу к понятию смысла.

Наверное, лучше всего отталкиваться от обыденного понимания. В обыденной жизни смысл, очевидно, понимается как нечто такое, что мы можем утратить или чего может не хватать, что может отсутствовать. Мы постоянно страдаем от утраты смысла. Вопрос о смысле внезапно возникает, и тогда на помощь призывают, например, религию, которая должна дать нам смысл, которого нам не хватает, хотя это очень странно, если посмотреть на историю религии. Ведь религия была интерпретацией мира, а мир был создан Богом именно *таким*. В хронологическом развитии священной истории мир был таким, каким он был, и это не было ответом на вопрос, как нам обрести

смысл. Примечательно, что мы сегодня приписываем религии смыслообразующую функцию и при этом в качестве наблюдателей предполагаем, что можем различать между имеющим смысл и бессмысленным. Но можем ли мы это делать? И имеет ли смысл различение между имеющим смысл и бессмысленным? И опять-таки: имеет смысл для кого?

Если обратиться с этими трудностями к философии, которая привлечет для решения подобных вопросов свою компетентность, то полученные сведения, как мне кажется, будут сводиться к тому, что смысл – это что-то, что относится к субъекту, т.е. если нужно и можно задать вопрос о том, для кого нечто имеет смысл, то имеется в виду субъект не в формальном смысле, а субъект в значении индивида, который живет и размышляет о самом себе и практикует смысл как форму ориентации вообще или же как форму удовлетворительной ориентации. Гуссерль, к примеру, в «Трансцендентальной феноменологии», особенно в той части, которая посвящена критике науки и техники, настаивает на том, что переживание якобы протекает посредством смыслообразующих функций сознания¹¹¹. Коллега Гратхоф тоже, навсрное, будет на этом настаивать¹¹². Но для этого должна быть решена проблема интерсубъективности. Ведь если каждый субъект производит для себя смысл, конституирует смысл и оценивает для себя, имеет ли этот смысл смысл или он бессмысленный, то тогда мы сталкиваемся с проблемой, что же происходит между субъектами и существует ли то, что называют сферой «интерсубъективности», которая, в свою очередь, имеет смысл – но опять-таки для какого субъекта?

Эта сложность подводит нас, как мне кажется, к поворотному моменту или, по крайней мере, к такому моменту, когда мы можем уяснить себе, что мы должны применять категорию смысла к двум различным типам систем (это уже моя термино-

111 См. Husserl Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Husserliana Bd. IV. Den Haag: Nijhoff 1976. [Рус. пер.: Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию. СПб, 2004]

112 Имеется в виду коллега Лумана по Билефельдскому университету Рихард Гратхоф. См., например, его работу: Grathoff Richard. Milieu und Lebenswelt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.

логия), а именно к психическим системам, системам сознания, которые осмысленно переживают, и к социальным системам, системам коммуникации, которые воспроизводят смысл за счет того, что он используется в коммуникации. Это еще ничего не проясняет в вопросе о том, что же такое смысл, как мы будем определять смысл и как мы будем понимать это понятие, а пока просто указывает на сложность, которая заключается в том, что мы лишились субъекта или, если угодно, онтологической инстанции, кого-то, с кем мы могли бы соотнести конституирование смысла, который делает это, который осуществляет это, которому это можно инкриминировать, которого, возможно, нужно знать лично, чтобы понять, что для него означает смысл; лишились некой бытийности на заднем плане, пусть это даже были бы только некие правила конституирования смысла, которые истинны *a priori*, т.е. для всех эмпирических субъектов. Если вы вместе со мной совершаете этот теоретический ход, четко разделяя сознание и коммуникацию (к этому вопросу я еще вернусь дальше по ходу лекции), то это некоторым образом лишает понятие смысла почвы, поскольку у нас теперь уже нет адреса, нет наблюдателя, которого мы можем наблюдать, а есть две разные вещи, а именно сознание, с одной стороны, и социальная коммуникация, с другой. Вопрос в том, сможем ли мы найти такое понятие, такой порядок, в котором то, что мы называем смыслом, не пришлось бы определять через референцию, тем самым перекладывая проблему на субъекта или на какого-то носителя смысла, на какую-то инстанцию, конституирующую смысл, а в рамках которого можно было бы разработать в достаточной мере формальное понятие смысла.

Моя следующая попытка сформулировать понятие смысла без определенной системной или онтологической референции заключается в использовании различия медиума и формы. Об этом я должен сначала кое-что сказать, потому что отношение этого различия к системной теории нельзя назвать простым и потому что я как раз хочу этим воспользоваться, чтобы поговорить о смысле в смысле соотношения медиума и формы, но при этом не хочу предопределять заранее, какая именно система оперирует для того, чтобы конституировать смысл, пережить смысл, узнать смысл, воспроизвести смысл и так далее. Преимущество этого различия медиума и формы в том, что

оно не отсылает сразу же к субъекту, к носителю смысла, а дает возможность сначала представить себе смысл в самом абстрактном виде и работать над самим понятийным аппаратом, который создает ясность в отношении того, как следует мыслить соотношение медиума и формы. На этот путь я вышел через различение, предложенное Фритцем Хайдером в статье 1926 г., которая потом практически исчезла из виду, а в 1959 г. в сокращенном виде была опубликована на английском языке и заново открыта Карлом Вейком¹¹³. Почему-то все новое приходит именно из австрийских краев.

Итак, у Хайдера речь идет только о медиа восприятия (по образованию Хайдер психолог). Он формулирует свой вопрос так: каким образом получается так, что мы можем идентифицировать, слышать определенные звуки, шорохи, что мы можем видеть определенные вещи (именно поэтому его статья называется «Вещь и медиум»), что нечто имеет очертания, где-то начинается, где-то заканчивается, имеет определенную форму или определенный гештальт? Идея «медиума» состоит в том, что существует область слабых сопряженностей массово наличествующих элементов: частицы воздуха, физические носители света — ведь «свет» не является физическим понятием, это понятие для обозначения медиума, в котором мы что-то видим. Без света, и это очень легко можно проверить, мы ничего не увидим. То есть имеется явное различие между невидимым медиумом и зримой «формой», как бы я сейчас сказал, или гештальтом. Если бы мы видели также сам свет, имея перед глазами постоянные блики, то мы не смогли бы распознать очертания предметов. В пограничных случаях, в силу имеющихся у нас привычек, мы еще можем интерпретировать видимое, но я не знаю, переживали ли вы нечто подобное, когда вы ночью едете на машине по мокрой дороге и вдруг не видите ничего, кроме мерцающего света, комбинации бликов, и уже невозможно понять, едешь ли ты еще по дороге и едут ли тебе навстречу другие машины. В

113 См.: Heider Fritz. Ding und Medium // Symposion. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache 1 (1926). S. 109-157; Heider Fritz. Thing and Medium // Heider Fritz. On Perception, Event Structure, and Psychological Environment. Selected Papers. Psychological Issues 1, no. 3. New York: International UP, 1959. S. 1-34; Weick Karl. Der Prozeß des Organisierens. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

той мере, в какой гештальт редуцируется к самому свету, даже если этот свет имеет форму, например, лампы, восприятие осложняется. Еще в большей степени это относится к восприятию звука: если бы воздух сам постоянно создавал шумы, то было бы сложно воспринимать язык или другие артикулируемые или идентифицируемые шумы.

Отсюда появляется возможность работать с различием, которое в современной литературе в целом передается выражением *слабая сопряженность / жесткая сопряженность*. В системной теории это отчасти вылилось в другую тенденцию, которую я пока оставляю без внимания. Речь идет об утверждении, что жизнеспособные, стабильные системы должны иметь *слабую сопряженность*¹¹⁴: не может быть так, чтобы все зависело от всего; взаимозависимость должна прерываться. В этом, как бы до-системно-теоретическом различии медиума и формы говорится, что есть масса элементов, которые своим статусом элемента не обязаны определенному сопряжению, а предоставляют материал, из которого могут создаваться сопряжения. Хайдер имел в виду прежде всего медиа восприятия, но можно представить себе также язык как набор слов и множество предложений. Это одна из причин того, почему я от «медиума и вещи» переключился на «медиум и форму»: чтобы включить в рассмотрение язык.

Есть множество слов, и есть определенные правила комбинаторики. Можно образовывать предложения, и предложения будут формами в медиуме «язык», тогда как слова, в свою очередь, являются формами в медиуме возможных шумов или возможного оптического дизайна. Есть свет и воздух как медиа восприятия, в которых можно образовывать слова, в речи или на письме. В свою очередь, слова — это тоже медиум, с помощью которого можно образовывать предложения, т.е. осмысленные высказывания. Речь каждый раз идет о том, чтобы открыть для комбинационных возможностей область слабой сопряженности, которая, со своей стороны, предполагает формы на уровне базальных элементов, и уже отсюда иметь возможность образовывать формы в ходе непрерывного функционирования систем

114 См., например: Simon Herbert A. The Architecture of Complexity // Proceedings of the American Philosophical Society 106 (1962). P. 467-482; Glassman Robert B. Persistence and Loose Coupling in Living Systems // Behavioral Science 18 (1973). P. 83-98.

какого угодно рода – сознательных или коммуникативных.

При этом важны некоторые дополнительные размышления, на которые я здесь могу только указать. Одно размышление касается того, что медиум всегда воспроизводится только через формообразование. Если бы никто никогда не составлял предложений, слова были бы забыты. Язык не может поддерживаться только в виде лексики, и лексику, естественно, можно изобрести только в том случае, если есть письменность, и у нее своя специфическая цель. Но сам язык – это именно говорение, писание или чтение; он воспроизводит возможность формообразования и в качестве возможности завязан на то, чтобы его использовали. Это первое дополнительное размышление.

Второе размышление касается того, что медиум стабильнее, чем формообразование. Звук угасает, объект может исчезнуть, но мы все равно каждый раз видим и слышим с помощью медиума что-то другое. Это ведет к некоторым проблемам в отношении классических представлений о стабильности. Дело в том, что стабильность заключена как раз не в формах. Стабильно то, что характеризуется слабым сопряжением, не имеет формы, что на классическом языке называется «материей» или «неопределенностью». Все, что приобретает стабильность, тем самым становится ненадежным, критическим и временным; оно действительно лишь на определенное время. Кто-то формулирует определенное предложение, и оно стихает и никогда не используется снова, или же оно записывается и тогда при случае снова артикулируется, но в промежутке мы заняты другим. Это странное смещение долговечности возможного, с одной стороны, и временного формообразования, которое ведет к воспроизводству возможностей. Это не простая концепция стабильного и нестабильного или долговечного и преходящего, а отношение слабой сопряженности, которая может быть закреплена в жесткие формы, но лишь на время – более или менее продолжительное, в зависимости от того, как оперируют системы. И закрепляются эти формы всегда выборочно, так что возможности медиума никогда не могут быть прикованы к *одной* форме. Если это происходит, то тогда мы имеем форму «медиум язык» и произносим слова «медиум язык» или записываем их на другом медиуме и потом можем определить, что собой представляют элементы этого медиума, обеспечивающие возможность

слабой сопряженности, т.е. слова. Но за исключением этого случая, каждый медиум создается заново для специфического использования во временных, часто быстро сменяющих друг друга формах.

Здесь, поскольку это относится к социологической аргументации, я хочу упомянуть о том, что таким образом можно также реконструировать символически генерализованные медиа коммуникации, или интеракции Талкотта Парсонса¹¹⁵. Деньги можно понимать как медиум, который может быть кристаллизован в платежи: платить можно только ту или иную определенную цену. Если вы придете в банк, дадите сотруднику чистый бланк и скажете, что вы хотите что-нибудь учредить, оплатить или подарить, банк не начнет действовать. Точно так же если кто-нибудь хочет что-то сказать, но не знает, что он хочет сказать, или если у кого-то есть власть, но он ее не использует для того, чтобы что-нибудь приказать, а только усаживается в символическое кресло власти и говорит: «Вот он я, я вам попозже скажу, что вы должны делать». Именно эта секвенция медиа восприятия, коммуникации, языка и более узких, ограниченных специфическими функциями медиа, таких как деньги или власть, вызывает интерес в социологии и в теории общества. Мы приходим ко все новым медиа для ограниченных областей, которые, однако, постоянно разъединяют свои элементы и постоянно предоставляют новые комбинационные возможности.

Охарактеризовав с помощью этих понятий возможности анализа и применения понятия «смысл», я теперь снова возвращаюсь ему самому и ставлю вопрос о том, можно ли себе представить, что смысл – это не что-то субстанциальное или феноменальное, некое качественное единство, а особого рода различие медиума и формы. Я не совсем уверен, что эти понятия действительно удастся совместить, но в данный момент полагаю, что смысл на самом деле есть нечто вроде постоянно-го призыва к формированию специфических форм, которые к тому же всегда отличаются тем, что они образованы в медиуме «смысл», но представляют смысл как категорию в целом. В противном случае мы опять-таки имеем дело со словом «смысл», которое можно услышать, если оно произносится, или прочи-

¹¹⁵ См.: Parsons Talcott. Zur Theorie der sozialen Interaktionsmedien.

Opladen: Westdeutscher Verlag, 1980.

тать, если оно написано, но только слово «смысл» — не единственное, что имеет смысл, оно просто время от времени появляется в каких-то предложениях.

Далее, по-видимому, необходимо подумать и найти ответ на вопрос, что собой представляет медиальная сторона или медиум смысла, если мы хотим отличать его от форм смысла. Для этого нешлохо было бы освоить выражение «медиальный субстрат», так как если медиум всегда является возможностью формообразования внутри медиума, то нам вообще-то нужна трехчастная терминология: во-первых, субстрат, элементы, которые слабо сопряжены между собой и которые могут быть сопряжены жестко, но при этом всегда селективно; во-вторых, формы и, в-третьих, взаимодействие, в котором весь этот аппарат медиума и формы имеет смысл только в том случае, если он используется. Если работать с этой терминологической подпоркой «медиальный субстрат», то можно было бы сказать, что всякое переживание смысла всегда протекает в виде двух частей или в виде различения. Если бы мы выражали это в терминологии Спенсера Брауна, то сказали бы, что на внутренней стороне мы всегда имеем своего рода форму, с которой можно работать. Что-то определенное было увидено: я вижу, что смысл этого прибора¹¹⁶ можно актуализировать только повернув винт и положив в него препараты. В остальных случаях он только мешает, об него можно споткнуться и сломать его. Смысл в определенных конфигурациях, в определенных гештальтах, в определенных формах — это только внутренняя сторона медиума. Но всегда есть еще внешняя сторона других возможностей применения или, в случае воспринимаемых объектов, внешняя сторона, за которой они заканчиваются, «и-так-далее» пространства или относительно постоянство вещей, судя по которому мы не станем предполагать, что они будут на том же месте и через триста лет.

Это рассуждение — как вы видите, я намеренно чередую совершенно разные теоретические ресурсы, и это был только один подход к данной проблематике — можно несколько точнее описать через феноменологический анализ Гуссерля. Многие работы Гуссерля были изданы лишь посмертно, но этот анализ он

¹¹⁶ В этот момент Луман, вероятно, показывает на демонстрационный прибор, который стоит в аудитории и используется химиками.

опубликовал сам. Хорошее его изложение вы найдете в «Идеях I» 1913 года и в более поздних «Опыте и суждении»¹¹⁷. Мысль — мыслимая всегда относительно субъекта — такова, что субъект, сознание работает интенционально, т.е. в форме актов. Эта актуализация в интенциональной активности сознания направлена на что-то определенное. Мы идентифицируем предметы, людей, символы, что угодно, но всегда, как говорит Гуссерль, в горизонте указания на другие возможности. Мы никогда не попадаем в онтологическую ловушку, когда, думая о чем-то, человек оказывается так поглощен этим, что не может освободиться и всегда думает только «это», скажем, всегда думает только о «гостиной» или, если брать актуальный пример, всегда только о «системной теории» и вообще не может думать ни о чем другом, кроме как о «системно-теоретическом». Напротив, у нас, коль скоро мы так думаем, всегда есть мысль о том, почему же это «теория» или что здесь означает «система». Это значит, что все — и символика, и вещи — в некоем горизонте возможных определенностей, как говорит Гуссерль, или определенности определенного стиля указывает на другие возможности. Мы никогда не оказываемся в неразмеченном пространстве (unmarked space) в смысле Спенсера Брауна, в абсолютно неопределенной ситуации, из которой никак нельзя выйти. Мы всегда работаем на внутренней стороне различений и всегда с другими ближайшими возможностями. Мы знаем: если мы выйдем отсюда, нам надо идти определенными путями, чтобы покинуть университет, подойти к нашим машинам и завести двигатель — ключ от машины у нас в кармане. Всегда есть некий кластер смыслообразований.

Но смысл — это не только данное указание на другие возможности, но и локализация этого указания во всем, что именно мы представляем себе в качестве предмета нашей актуализации, нашего актуального переживания. Точно так же, если мы перейдем от сознания к коммуникации, то для всего, что может

¹¹⁷ См. Husserl Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die Phänomenologie. Husserliana Bd. III. Den Haag: Nijhoff, 1950. [Рус. пер.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. I. М., 1999]; Husserl Edmund. Erfahrung und Urteil: Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Hamburg: Meiner, 1972. .

быть сказано, для любой информации тоже всегда есть сфера выбора: чего я ожидал, и что происходит? Что меня удивляет по сравнению с тем, что тоже могло бы произойти? Кто что говорит? Должен ли я ответить «да» или «нет»? Все моменты, которые актуализируются оперативно, живут и имеют смысл только потому, что они размещены в горизонте других возможностей.

Если оставаться на уровне феноменологических описаний, то появляется возможность задать вопрос: а, может быть, у кого-то другого это происходит по-другому? Если все говорят: «Нет, у нас все так же», то есть все основания полагать, что это так. С методологической точки зрения мы имеем дело с описанием, которое представляет себе нечто и затем проверяет себя на особенностях субъективной, соотношенной с субъектом переработки смысла. Я полагаю, что это сильный в методологическом отношении аргумент, что сначала вводят очевидности, а потом смотрят, не подвергает ли их кто-нибудь сомнению. Если кто-то сомневается и имеет веские доказательства, нужно посмотреть, что необходимо исправить в собственной теоретической конструкции, чтобы учесть это сомнение; но пока никто не сомневается, пока никто не пришел и не сказал, что он постоянно переживает смысл, из которого он никак не может выйти, причин для исправлений нет. Но даже если кто-нибудь придет и скажет такое, опровержением его слов будет то, что он говорит это в определенной ситуации. Тогда, вероятно, нужно пояснить, что такое «отсылка» (*Verweisung*), как обращаться с «отсылкой» и как узнать, что ты обращаешься с «отсылкой». На уровне собственно феноменологии это, на мой взгляд, довольно сильный аргумент. Для меня, если вы позволите мне сформулировать это в биографическом плане, этот способ обеспечения очевидности и был тем уроком, едва ли ни единственным, что я почерпнул из чтения Гуссерля: если это так и есть, то в будущем я должен исходить из этого.

Однако это не означает, что тем самым мы уже располагаем оптимальной формой различения. Терминология «интенции» и «акта» — Гуссерль говорит также о «выражении» и использует ряд других терминов, рассматривать которые здесь нет необходимости — не является для нас самой выгодной в теоретическом плане формой. Я думаю, что различение медиума и формы — это возможность увидеть, что смысл всегда требует аппрезентации

(снова выражение Гуссерля), «действия соприсутствующими» (*Mitvergegenwärtigung*) других возможностей в конкретном акте. То есть действительное и возможное — это не две отдельные сферы. Иначе мы снова имели бы дело с онтологией, если бы делили это таким образом: здесь есть возможное, а там — действительное, причем действительное — невозможно, а возможное — недействительно. Разумеется, это не так. Пространство потенциальностей, совокупность отсылок, горизонтность всех смыслов — это оживляющий или придающий смысл момент во всем специфическом, во всякой идентичности, во всем, что коммуникативно сообщается в качестве информации, а также во всем том, к чему можно осознанно обратиться и что можно тематизировать. Речь идет не о региональном разделении сфер бытия, существующих рядом друг с другом, а о взаимопроникновении актуальности и возможности, если использовать терминологию, которой я на данный момент отдаю предпочтение. Если придавать значение дефиниции, то можно было бы сказать так: смысл есть медиум, который работает с различием актуальности и потенциальности, а именно с дифференцией, с различием в том смысле, что единство всегда присутствует в различии, т.е. в том, что видят в данный момент (актуально), всегда есть возможные перспективы, и наоборот: возможности нельзя тематизировать, нельзя помыслить, нельзя даже использовать коммуникативно, если не делать этого в данный момент (актуально). Мы должны иметь возможность говорить о возможностях или думать о возможностях, пусть даже в форме модальной логики или чего-то в этом роде. Но если она не актуализируется, то она и не возможность. Тогда ее просто нет, она никак не свершается, не является «операцией», если снова использовать здесь эту терминологию. Я надеюсь, вас не смущает то, что я постоянно переплетаю эти теории, но в этом часть моего замысла — попытаться свести воедино то, что в интеллектуальном плане разрабатывалось обособленно. Разумеется, это делается с точки зрения выявления того, что может пригодиться нам как социологам, а что нет.

Следующий момент касается тезиса о том, что медиум «смысл», по всей видимости, неизбежен и универсален. Это означает, во-первых, что мы вынуждены использовать его и в том случае, когда употребляем отрицания. Иными словами,

смысл – это категория, которую невозможно отрицать, потому что если мы говорим, что что-то не имеет смысла, то в этом высказывании мы снова прибегаем к смыслу. Кстати, у этого аргумента есть философская традиция: «Если я думаю, что я не могу думать, то по крайней мере об этом я должен думать, т.е. я сам себя опровергаю». Существует такая фигура оперативного самоопровержения или перформативного самопротиворечия, если угодно выразить это в «апелизирующей», т.е. отсылающей к Апелю терминологии¹¹⁸.

Это один момент. Мы не можем выйти из этого медиума. Если мы оперируем сознательно или коммуникативно, мы всегда изначально привязаны к использованию медиума «смысл». На этом уровне нас вводит в заблуждение наш язык, который намскает нам, что мы можем о чем-то сказать, что это не имеет смысла. Я еще вернусь к этому, но, пожалуй, стоит еще раз провести различие между смысловым (*sinnhaft*), или относящимся к смыслу в самом общем смысле и представлением об *имеющем смысл* и не *имеющем смысл* (*sinnvoll / nicht sinnvoll*), которое поддается отрицанию. Прежде всего, я полагаю, нужно зафиксировать то, что все отрицания – поскольку они оперируют не в неопределенном пространстве, а, будучи определенными отрицаниями, всегда отсылают к чему-то конкретному или же наоборот, поскольку каждое определение включает в себя отрицание других возможных определений – требуют некоего присутствия мира, которое, в свою очередь, имеет форму смысла, т.е. образует форму. Когда говорят о том, что что-то не соответствует действительности или не имеет смысла в определенной аргументативной ситуации, тем самым хотят достичь чего-то определенного, исключить что-то определенное, т.е. хотят процессировать смысл. Поэтому мы не можем мысленно поместить себя в мир, в котором нет систем, процессирующих смысл. Или – я должен выражаться осторожнее – мы, конечно, можем себе представить мир, в котором уничтожены все люди и все общества и в котором существуют только камни или, не знаю, насекомые и пустынный пейзаж после ядерной катастрофы. Мы себе можем представить мир, в котором смысл больше

не производится и не воспроизводится в операциях, но само это представление мы можем сформировать только в рамках смысла. Мы вынуждены представлять себе, что могло бы выжить. И мы думаем о том, что было раньше и что было разрушено. Мы не можем по-настоящему представить себе мироощущение камней: что чувствует камень, когда он ощущает, какой он каменный? Это представление, которое мы можем сконструировать, но не можем осуществить. Мы можем отрицать [его] и говорить, что мир для камня доступен вне смысла, но это высказывание имеет смысл для нас, потому что мы воспринимаем его по контрасту с тем, что имеет смысл для людей и какую функцию выполняет смысл в ориентационном пространстве человека.

Трудности появляются, когда начинаешь думать о животных. Можно ли категорию смысла применять по отношению к животным – это вопрос, который мы при случае уже обсуждали и который кажется мне неразрешимым, так как, наблюдая животных, мы наблюдаем их в смысловом мире и поэтому стараемся представить мир с точки зрения летучей мыши, зяблика или коровы и понять, как эти животные упорядочивают свою, для них, безусловно, узнаваемую среду восприятия, пространство, которое они видят вне себя. Много говорит в пользу того, что это как-то связано со смысловыми переходами или протосмыслом, если вспомнить ту непринужденность и элегантность, с которой животные порхают от ситуации к ситуации. Возникает впечатление, что это явно не просто спорадические действия или акты *ad hoc*. Мы склонны представлять, что животные видят пространство как смысловое, как соотношение предыдущего с последующим, но я не знаю, можем ли мы это знать, потому что мы так и так вынуждены предполагать смысл. Но это отдельная проблема, которая указывает нам на универсальность или неизбежность медиума «смысл» для специфических систем – систем сознания и коммуникации. К этой универсальности относится то, что в данный медиум встроено отрицание его самого, что имеет смысл также представление о том, что для других отправных точек или для систем другого рода смысл не доступен – и это опять-таки будет высказыванием, которое доступно нам только в виде смыслового высказывания.

Я думаю, этого пока достаточно по вопросу о том, какое раз-

118 См., например: Apel Karl-Otto. Auseinandersetzungen // Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998. S. 33 и далее и S. 81 и далее.

личение актуализируется посредством смысла (это различие актуальности и потенциальности), и по вопросу о системной референции, в соответствии с которой существуют системы, конституирующие смысл, причем использование ими смысла относится к самому способу их оперирования.

Отталкиваясь от этого исходного положения, можно ретроспективно взглянуть на дискуссию, которая имела место в 1960-е – начале 1970-х гг., когда мир еще делили по старому образцу на дух и природу, смысловое и механистичное, интеракцию и технику или как-нибудь еще и, в соответствии с этими делениями, имели также различные методологические представления. Для естественных наук и техники существуют определенные аппараты познания, привязанные к естественнонаучным методам, к законам природы, к узко понимаемым каузальностям, и, наоборот, для области смысла имеются, к примеру, герменевтические методы. Если мы переживаем мир в смысловом плане, что мы, согласно этому представлению, совершенно не обязаны делать, то мы переживаем его как «текст», и тогда смысл имеет нечто общее с «интерпретацией», с тем, что мы сами создаем смысл, отталкиваясь от какого-то текста. При этом текст – это необязательно книга. Можно мир мыслить как текст и в этом случае говорить, что герменевтики интерпретируют мир. Вы сталкивались с этим в процессе учебы как с особым специфическим методом.

Что мне бросается в глаза в этой дискуссии, так это параллелизм понятий смысла, с одной стороны, и комплексности, с другой. Для инженеров и теоретиков планирования проблема комплексности в то время была решающей: планирование застревает на комплексности, планирующая инстанция находится за пределами того, что она планирует, и не обладает «требуемым разнообразием» («requisite variety») (Эшби)¹¹⁹, т.е. не имеет возможности воспринять столько же состояний, сколько принимает то, что она планирует, или окружающий мир. Она, как гласит формула, должна редуцировать комплексность. Она должна пытаться найти элегантные решения для гораздо более сложных проблем. Она должна упрощать. Она должна механизировать, абстрагировать, создавать модели и затем пытаться

управлять системами с помощью таких моделей.

Однако, как вы, возможно, еще помните, в той части лекции, в которой речь шла о комплексности, мы уже отметили, что комплексность – это принуждение к отбору. Если комплексность описывается как множество элементов, из которых каждый не может быть соединен с любым другим элементом, то в понятие комплексности уже встроено принуждение к отбору. Каждый образец актуализации комплексности избирателен: можно говорить только со своим начальником и со своими подчиненными, но не со своими коллегами. Одним вещам место здесь, а другим – там. Механизм, у которого детали, винтики, колесики и стержни соединены по-другому, уже не будет работать; нужно скомпоновать их так, как написано в руководстве по эксплуатации, а иначе ничего не получится, хотя, вероятно, существуют и другие возможности. Комплексность – это всегда режим отбора, который осуществляется по определенным критериям.

Если вы сравните с этим анализ смысла, то вы увидите, что смысл – это тоже принуждение к отбору. Мы имеем избыток указаний, мы должны знать, что мы с этим можем сделать, т.е. что мы сделаем следующим шагом при исключении других возможностей. У нас есть машина, но мы должны сначала решить, куда мы на ней поедem. Мы обладаем языковой компетенцией, но мы должны сначала решить, что мы скажем.

Вопрос в том, не является ли противопоставление управления комплексностью, с одной стороны, и смысловой интерпретации, герменевтики, текстовой ориентации, с другой, таким противопоставлением, которое возможно только при условии, что в обоих случаях имеют дело с одной и той же проблемой, которая только сформулирована по-разному, а именно с проблемой принуждения к отбору. Я намеренно говорю «принуждение»: без отбора нельзя воспроизвести актуальности, осуществить что-либо, оперативно дать ход чему-либо. Но для отбора нужны критерии. О критериях можно спорить, как в технической сфере, так и в области герменевтики. Поэтому данную дискуссию можно было бы обобщить, сказав следующее: смысл есть очень эффективная техника обращения с комплексностью. Это не много дает в том, что касается информации, потому что по-прежнему неизвестно, как с этим обращаться. Но определенные возможности управления смыслом или возможности огра-

119 См. Ashby W. Ross. Requisite Variety and Its Implications for the Control of Complex Systems // Cybernetica 1 (1958). P. 83-99.

ничения возможностей обхождения со смыслом становятся, пожалуй, более понятными благодаря тому, что мы обращаем внимание на актуализацию принуждения к отбору. Мы делаем это, а не то, мы переживаем нечто как информацию, т.е. как выбор из других возможностей, или мы осуществляем некое действие, и в этом случае снова имеет место выбор из других возможностей. Это актуализация принуждения к отбору и поиска решений или критериев, *подходящего/неподходящего*, пристойности, способности прийти к консенсусу, можно называть это как угодно, навязана тем вынужденным положением, в котором мы находимся в случае осмысленного переживания. И то же самое вынужденное положение мы переживаем тогда, когда мыслим в условиях давления комплексности, т.е. когда спрашиваем, какие части подходят к другим частям. Это одна и та же проблема. На следующей ступени тоже еще можно задать вопрос о том, насколько допустимо использование техники, которая более или менее автономно улаживает эти комбинаторные вопросы, решает вопросы выбора за нас. Сегодня, естественно, в этом случае вспоминают о компьютере.

Я повторяю, что с этой формулой: «Смысл есть эффективная (potente) форма редукции комплексности, разрешения навязанной проблемы отбора» мы получаем не так много конкретной информации, но ввести это размышление меня побуждает идея, что с его помощью можно разрешить старую дискуссию «техника *versus* герменевтика» и затем, возможно, задать вопрос, как же в процессе эволюции возникло нечто такое как медиум «смысл»; т.е. отчего оказалось выгодным сделать это различие актуальности и потенциальности структурным законом или медиумом артикуляции определенных систем, чтобы постоянно принуждать их к отбору; или мы могли бы сказать по-другому: чтобы постоянно вынуждать их временно приспособляться к временным положениям. Почему, если смотреть на это с точки зрения эволюционной теории, это дает преимущества в мире, который и так уже стал очень комплексным в результате эволюции?

Можно таким образом теоретизировать и представлять себе эволюционное преимущество таких результатов развития, как сознание или коммуникация, но это ничего не меняет в том, что мы строим свою аргументацию внутри медиума «смысл» и всегда только внутри медиума «смысл». Потому что и такие форму-

лы, как комплексность, селективность, редукция комплексности, эволюция – все это элементы теории в научном ландшафте, который возник сравнительно недавно, который может быть локализован, который можно отнести к определенному контексту смыслового мира и который понятен только тогда, когда все это проделано. Однако это означает, что попытка представить смысл как функционально эквивалентную «Powertechnik», т.е. как нечто очень эффективное, некоторым образом превосходящее то, что могут выполнять менее приспособленные животные, если говорить осторожно, или растения, все еще является теорией и, следовательно, позицией, которая вынуждена автологически применять к самой себе то, что она анализирует. Мы констатируем, что понимание того, что благодаря этому медиуму мы обладаем эволюционным превосходством, мы вынуждены формулировать внутри этого медиума и не можем выйти за его пределы. Сейчас, наверное, можно сказать, что это аргументация *pro domo*, «в собственных интересах»: раз уж мы обременены смыслом, мы ищем этому еще и эволюционно-теоретические оправдания.

Я перехожу к следующей части, где речь пойдет о вопросе, который мы до сих пор откладывали на потом: можно ли сказать еще что-то содержательное о сфере смысла, о медиуме «смысл»? Пока речь ведь шла только о смысле как таковом. Без какого-то разумного обоснования – и я до сих пор так и не нашел этому разумного обоснования – я когда-то начал различать предметное (sachliche), временное и социальное измерение смысла¹²⁰. Сейчас уже это различие можно встретить во многих работах, как будто классификация смысловых измерений на предметное, временное и социальное является регулярно повторяемым теоретическим результатом, когда уже никто не пытается вывести эту классификацию дедуктивно – и я тоже не в состоянии это сделать. Понятие не распадается само по себе на эти измерения, а скомпоновано так феноменологически. Когда мне задают вопрос об обосновании, я обычно прошу назвать

120 См. Luhmann Niklas. Sinn als Grundbegriff der Soziologie // Habermas Jürgen, Luhmann Niklas. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie: Was leistet die Systemforschung? Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971. S. 25-100, здесь S. 48 и далее; Luhmann Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984. S. 110 и далее.

еще какое-нибудь измерение. И тогда уже обдумываю, работает это или нет. Иногда предлагают «пространство», но это не совсем подходит, потому что пространство невозможно отделить от предметной дифференциации. Примите это пока так, как есть. Может быть, как раз вам удастся найти или другие категории, или дополнительные измерения.

На мой взгляд, для последующих рассуждений более важным, чем это обоснование, является то, что мы имеем дело с феноменом фокусировки определенного различия или, как можно было бы сказать по-другому, с копированием некоего содержания (*Sachverhalt*), сначала данного в том виде, как оно есть, на что-то другое. Если принять терминологию Гуссерля (а у Гуссерля есть эксплицитные высказывания об этом), то можно себе представить, что речь идет о двойных горизонтах. При этом речь идет не о горизонте в значении пространственной метафоры, согласно которой можно все время идти вперед, а горизонт будет постоянно отодвигаться, и когда-нибудь ты устанешь и остановишься, так и не достигнув горизонта. Здесь речь идет о двух горизонтах в том смысле, что каждое из измерений конституируется посредством различия и за счет этого отличается от других измерений. Каждое измерение имеет свои особые двойные горизонты и тем самым отличается от других измерений.

Я хотел бы это сначала изложить абстрактно, чтобы затем перейти к вопросу о том, не является ли само различие историческим, т.е. не возникло ли оно в результате развития. Во-первых, можно сказать, что измерение времени — мы об этом уже говорили на предыдущей лекции, так что я могу это сформулировать кратко — обозначено различием будущего и прошлого, т.е. существуют два этих горизонта. Можно мысленно уноситься все дальше в прошлое, пока это не потеряет для нас смысл, представлять себе, что было до Большого взрыва, а можно мыслями уноситься все дальше в будущее. С каждым шагом уменьшаются возможности уточнения, определения того, что мы, собственно, себе представляем, но в принципе это продвижение возможно до тех пор, пока наше присутствие в «сейчас» (*Gegenwärtigkeit*), т.е. наша собственная система, не подскажет нам, что в оперативном плане дальнейшее продвижение ничего не даст. Будущее и прошлое. Кроме того, есть возможность — и

об этом тоже говорилось на предыдущей лекции — копировать горизонты, представляя себе, что в будущем настоящим будет то, для чего сегодняшнее настоящее является прошлым, а те настоящие, которые наступят потом, будут для него будущим. Вся игра проигрывается двойным образом: мы имеем соотношенное с настоящим различие будущего и прошлого, и мы имеем лежащие в будущем и прошлом различия локализованных во времени настоящих с соответствующими им временными горизонтами. Понятно, что этот способ рассмотрения является историческим. В истории идей, в исторической семантике можно увидеть, что это было далеко не всегда само собой разумеющимся и что у нас эта рефлексивная структура появилась только в XVIII в., хотя можно быть уверенным, что для практической ориентации этот ход, по-видимому, играл важную роль уже раньше.

Применительно к предметному измерению я полагаю, что эти двойные горизонты можно описать как внутренние и внешние. Это не должно означать, что различие «внутреннее — внешнее» всегда относится к системам. Не нужно видеть в предметном измерении исключительно системы. Такого рода анализ, вероятно, возможен и без референции к системной теории. У Гуссерля действительно можно найти представление о том, что все, что мы идентифицируем, имеет внутренний горизонт и внешний горизонт. Можно как бы уходить от одной вещи и переходить к другой, к другим способам употребления, к кому-то другому, кто может ее употребить и так далее. Однако можно вдуматься в саму вещь, проникнуть в нее аналитически, подумать над тем, из каких элементов она состоит, и это тоже опять-таки возможно *ad libitum*: теоретически ее можно разложить на атомы и субатомарные миры. В предметном, но не во временном измерении, когда хотят что-то идентифицировать, можно двигаться в двух направлениях: можно анализировать сам объект и делать этот до тех пор, пока не пропадет интерес к нему, или можно классифицировать объект относительно других объектов, локализовать его в пространстве или как-то иначе наделить его внешними связями и следовать полученным отсылкам.

Наконец, социальное измерение, по-видимому, ставит перед нами ту же самую проблему. С социальностью человек сталкивается тогда, когда забывает о том, что он сам являет-

ся единственным наблюдателем и вовлекает в рассмотрение других людей в качестве наблюдателей наблюдения. Тогда он уже не оказывается лицом к лицу к миру, а видит, что другие наблюдают то, что наблюдает он сам. Сначала это основывается на предметном измерении, поскольку других приходится тематизировать не как что-то, что можно идентифицировать с помощью самоанализа, а как что-то, что находится где-то вовне. Представление о том, что другие – это не только объекты, не только тела, которые могут приближаться ко мне или удаляться, которые могут представлять или не представлять для меня опасность, а сами являются наблюдателями, которые видят, что я делаю, так что возникает двойной горизонт или то, что мы позднее будем анализировать как проблему двойной контингенции¹²¹ (я размышляю о том, что я должен сделать, чтобы ты сделал для меня то, что ты должен для меня сделать); так вот, эта идея социальности в какой-то исторический момент отделяется от предметного измерения, потому что она не может быть привязана к качествам, к опасным или благоприятным качествам объектов и не может быть разрешена посредством декомпозиции, анализа другого. Я мало чего достигну, если все время буду стараться как можно точнее определить, что происходит в голове другого человека. Представим, что другой человек сидит передо мной на диване, а я сижу в кресле и думаю, что происходит у него в голове, и если я все думаю и думаю, то я оказываюсь в ситуации, когда меня самого наблюдают, и тот, кто сам вроде бы является объектом рассмотрения, постепенно выясняет, что он должен делать, чтобы сократить это рассмотрение, продлить или вызвать какие-либо другие эффекты у другого.

Тезис заключается в том, что все три смысловые измерения гомологичны по структуре. Они основываются на удвоении горизонта, т.е. имеют всякий раз ровно два горизонта. Вопрос, почему это так, снова отсылает нас к понятию различения или к понятию наблюдателя. Если мы так социализированы исторически, мы, очевидно, учимся проводить эти различия, учимся дифференцировать схемы наблюдения по времени, социальности и предметным деталям. И во всех трех случаях имеет место рефлексивность. Во временном измерении в прошлом мы тоже обнаруживаем будущие и прошедшие времена. В предметном

¹²¹ См. ниже гл. VII.

измерении во внутреннем мы тоже обнаруживаем части, которые для оставшейся внутренней стороны являются окружающим миром, или же в окружающем мире обнаруживаем объекты, для которых исходный объект является окружающим миром. С помощью системной теории этому можно дать более элегантное объяснение, чем с точки зрения теории вещей, но для меня важно, чтобы то, что сейчас выступает в качестве темы описания, не было привязано к системной теории, чтобы также и здесь повторялась следующая структура: все, что идентифицируется, может разрабатываться как в направлении вовнутрь, так и наружу, так что внутри тоже всегда найдется что-то, что можно разрабатывать в направлении вовнутрь и наружу, и снаружи тоже найдется что-то, что можно разрабатывать в направлении вовнутрь и наружу. То же самое мы видим в социальной структуре, так как здесь, отталкиваясь от *Ego* и *Alter Ego*, можно поразмышлять о том, что я начинаю с самого себя и потом думаю, что другой – это тоже Я, для которого я представляю другое Я. Таким образом, я дважды представлен внутри себя: как *Ego* и как *Alter Ego*. Если это может быть полезным и если потратить на эту рефлексию время и внимание, то тогда можно поразмыслить над тем, что произойдет, если это станет известно, т.е. что произойдет, если каждый будет думать, что он – это и то, и другое. Удастся ли тогда вообще добиться какого-нибудь результата и с помощью каких действий? Или на случай затруднений в оперировании систем есть правила остановки, чтобы мы больше не делали этого или имели это в виду только как теоретическую возможность в горизонте социальности?

Если мы таким образом различаем эти измерения в их аналогии, в их схожести, то можно задать вопрос: а не является ли умение разделять эти измерения историческим феноменом? И тогда вопрос был бы в том, сможем ли мы понять более ранние общества, если мы исходим из неодинаковости измерений. Возможно, есть более простые способы восприятия, более простые типы когниции, более простые типы переживания, для которых было бы неясно или не нуждалось бы в объяснении то, как именно разрабатывается определенный объект переживания или определенная тема коммуникации – в направлении времени, в направлении социальности, т.е. консенсуса или разнотелости или в направлении предметных особенностей. Если

спроецировать это на более древние эпохи, то это, вероятно, приведет к чрезвычайно сложному анализу, потому что нам придется избавиться от привычки думать в таких различениях, в которых мы умеем думать сегодня. Как я уже говорил, готовясь к этому курсу, я еще раз прочитал вводную часть трактата Аристотеля «Физика», и мне бросилось в глаза то, что он делает нечто такое, что постоянно происходит и у меня самого: он постоянно вылетает в текст слово «одновременно» (zugleich), по-гречески «hama». Если посмотреть в словаре, то оно имеет и пространственное, и временное значение: «hama» означает «вместе (с тем)» (beisammen) и «одновременно» (zugleich). В контексте аристотелевского текста это слово можно интерпретировать во временном значении, но небезынтересно также представить себе, что в то же время оно каким-то образом означает и пространственное соприкосновение, так что для Аристотеля в естественном или квазиестественном восприятии удаленные вещи разделяет также временная дистанция.

Следовательно, можно задать вопрос о том, как развивается сознание времени, и с тем же успехом можно задать вопрос о том, как социальное измерение отделяется от предметного измерения и какое значение это имеет для временных отношений. В какой мере и вследствие чего становится обычным считать, что люди – это не только тела, но что они также имеют какие-то убеждения, которые нужно знать и на которые можно повлиять? Какую роль в этом играет, например, религия, какую роль играет институт исповеди? Исповедь, вероятно, была тем инструментом, с помощью которого людям навязывались убеждения или внушалось представление о том, что они должны внутренне соглашаться с тем, что они делают, или что они хотя и знают, что грешны и не могут быть другими, по крайней мере должны считать нарушением норм нравственности то, что они поступают так нехорошо, как они поступают. Когда же происходит интернализация социальной важности собственного поведения и когда в этом контексте возникает потребность в мотивах, которые можно представить и за которые нужно брать на себя ответственность? Является ли это само собой разумеющимся? Для нас само собой разумеющимся является то, что мы всегда можем мыслить таким образом: что мы можем и Цезаря допросить на предмет его мотивов, и нсандертальцам, идущим

на охоту, приписать какие-то мотивы поступать так, а не иначе. Но действительно ли социальный порядок регулировался через ориентацию на мотивы, через критику мотивов и подозрения в мотивах – это уже совершенно другой вопрос.

На фоне этих размышлений вырисовывается огромный и, разумеется, неосуществимый проект: подумать над тем, как возникновение смыслового измерения соотносится с общественным развитием и какие социо-структурные причины свидетельствовали в пользу более явного размежевания измерений и инициировали его. Если иметь в виду этот вопрос, то можно встретить некоторые отдельные указания, например, в Средневековье, на отделение экономического времени от религиозного, от времени суток, праздников, годового цикла, режима дня и так далее. Было время, когда зимой ночные часы были длиннее, а дневные – короче. Представьте себе последствия этого для организации труда, если ночь длится шесть часов и день длится шесть часов, но при этом зимой часы ночью длиннее, чем днем, и наоборот. Через организацию труда, в связи с темой оплаты труда, становятся актуальными вопросы времени: если ты получаешь за работу деньги, то ты хочешь за каждый час получать одинаковую сумму, а не работать за одну и ту же зарплату то больше, то меньше, потому что часы то длиннее, то короче. Потом уже отсюда довольно скоро переходят к деталям. Схожий вопрос представляется мне значимым для одного американского проекта о средневековом театре (по крайней мере, я пытаюсь включить этот вопрос в дискуссию в рамках данного проекта): вопрос о том, какое историческое значение имеет театр, разыгрываемый на площадях, где нет четкого разделения на сцену и зрителей, в котором сюжет, коллизия – как правило, из истории, разнообразные сказания о героях – и телодвижения известны и в котором можно узнать только, что видимые нами тела видят в пространстве, а чего они не видят – вплоть до запутанных историй обмана, например, у Шекспира («Гамлет»). Зритель видит, что люди не знают чего-то, что ему самому уже известно, или что часть персонажей на сцене что-то знает, чего не знают другие, и начинает их обманывать. Вся драматургия развивается через череду обманов, включая притворство в мотивах и в социальных отношениях. У Расина это четко ведет к распаду гарантированного социального порядка. Можно было

бы написать историю театра с точки зрения выделения социального измерения, в отличие от профессионального и телесного поведения в известных историях.

Да, я уже подхожу к концу, но если вы мне дадите несколько минут и если пленка в магнитофоне еще не закончилась, я могу, наверное, сказать еще об одном моменте, который относится к заключительной части, а именно о том, как мы теперь вернемся к исходному вопросу: есть ли смысл различать между имеющим смысл и не имеющим смысла?

Я еще раз напомним об особенностях смысла: невозможность его отрицать, универсальность, принудительный характер, т.е. необходимость совершения операций в медиуме «смысл», принадлежность к внутреннему миру и, наконец, то обстоятельство, что система, конституирующая смысл, тоже имеет смысл – если она занимается рефлексией, то это опять-таки происходит в медиуме «смысл». Это теоретические ориентиры по употреблению понятия «смысл». Но что имеется в виду, когда формулируется более узкое понятие «осмысленного» (*das Sinnvolle*)? Какой смысл является «осмысленным»? Мне здесь представляется очень важным одно рассуждение Алоиза Хана, которое он опубликовал в связи со своими исследованиями памяти, признаний, саморепрезентаций и так далее. Он полагает, что категорию «осмысленного» можно использовать только тогда, когда речь идет об интеграции самоописаний.¹²² Если угодно, их, в свою очередь, можно разделить на субъективные, т.е. личные, относящиеся к индивидуальному сознанию самоописания, с одной стороны, и социальные, с другой. Это бы потребовало объяснения категории самоописания. В любом случае, речь идет о том, что система, использующая смысл, не может быть абсолютно прозрачна для себя самой. Мы не можем уместить в одной формуле результат длинной цепочки операций, структур, которые мы имеем, возможностей дифференциации, которые у нас есть, но вместо этого мы можем себе представить, кем мы являемся. Мы можем описать, в чем смысл университета, а потом вдруг очень скоро обнаружить, что многое из того, что происходит в университете, бессмысленно, т.е. в этом смысле

122 См. Hahn Alois. *Identität und Selbstthematization* // Hahn Alois, Kapp Volker (Hrsg.) *Selbstthematization und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Gedächtnis*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. S. 9-24.

не подходит под самоописание университета.

Отсюда мы приходим к пониманию того, что сетование на бессмысленность, а оно, пожалуй, чаще всего слышится в нашем обществе, усиливается вместе с требованиями самоописаний. Чем больше нас принуждают отдавать отчет, чем больше давление, оказываемое на нас в связи с необходимостью легитимации, чем больше принуждение говорить, в чем, собственно, смысл (нашей ли собственной жизни, учреждения или какого-то отдела в организации), – чем в большей степени это происходит, тем сильнее нас принуждают различать осмысленное и бессмысленное. С помощью системной теории мы могли бы догнать и перегнать развитие языка, навязывающего нам идею о том, что смысл поддается отрицанию, что он во многих случаях отсутствует. Это позволило бы нам увидеть, что существует взаимосвязь, с одной стороны, между потребностью в смысле, в адресации этой потребности к религии и, с другой стороны, усиливающимся принуждением к индивидуализации отдельных людей, но также организаций, которые теперь находятся в усиленном поиске корпоративной идентичности или культуры и функциональных систем, в которых теперь думают о том, что, например, политика должна представить формулы обоснования, для чего она пригодна и необходима и для чего нужно собирать такие налоги. Сейчас я об этом говорю очень коротко, просто чтобы завершить этот раздел о смысле. В следующей лекции я несколько более подробно рассмотрю то, что подразумевалось с самого начала, а именно различение психических и социальных систем.

1. Проблемы «теории действия»

Одиннадцатая лекция

Сегодня я начинаю раздел, посвященный психическим и социальным системам, и я подумал, что, возможно, имеет смысл начать с обращения к тематике, которая не заявлена открыто, но, конечно же, подразумевается, а именно с проблемы отношений индивида и общества. По крайней мере, так звучит классическая формула, которая по постановке вопроса выходит далеко за рамки истории социологии, появляется, наверное, в XVIII в., а в XIX в. становится главной темой идеологической и идейно-политической дискуссии. При этом разделение индивида и общества обусловлено отказом от естественного единства, которое в европейской традиции было задано понятием природы, природы человека и родовой классификацией живых существ на животных, людей, ангелов и так далее. Мы же имеем дело с эпохой, когда эта ориентация на природу перестает существовать или ослабевает, и вместо этого нужно считаться с обществом, которое уже не распределяет людей естественным образом по деревням, городам и нациям, а развивает все более индивидуальное представление о человеке. Это связано также с тем, что слово «индивид» теперь приобретает новый смысл. Традиционно оно понималось буквально, т.е. как нечто неделимое, и, разумеется, было много индивидов, много неделимых единиц бытия. В XVIII в. значение слова «индивид», известное вам, стало ограничиваться людьми. Возможно, это связано с тем, что люди уже не знали латыни или уже не думали на латыни, скажем так, и поэтому не рефлексировали эту странность, что неделимыми, т.е. индивидами считались только люди и именно люди. Само слово теперь становится доступным для использования в любых целях, как бы свободным от своих корней, и его значение ограничивается людьми.

Я полагаю, что отсюда есть два пути, из которых один является господствующим, а другой еще предстоит открыть. Они объединяют попытки учесть более выраженный индивидуализм или более выраженную индивидуальность людей в значении их

уникальности, личного своеобразия и так далее. Первая традиция связана с понятием «субъект». Человек рассматривается как субъект себя самого и всего мира. Другой, не так четко прослеживающийся путь проходит через понятие популяции, являющееся преемником прежней родовой классификации. Отныне «популяция» состоит из индивидуальных экземпляров и не просто передает от поколения к поколению простые, характерные для рода признаки на протяжении всей истории, а открыта для демографического и эволюционного развития: эволюция сортирует индивидов в рамках одной популяции. Этот переход от истории рода к эволюции популяции начинается в XVIII в. и представляет собой один из способов переориентации понятий на признание индивидуальности отдельных экземпляров. Необходимо понимать, что биология, демография, теория эволюции развиваются по этому пути и являются попыткой в большей мере учитывать индивидуальность отдельных особей, но при этом не следует терять из виду более широкие перспективы.

Однако доминирующая традиция, которая доминирует в том числе и потому, что интересна философам, т.е. уходит корнями в философию, – это теория субъекта. Если смотреть на это с большой дистанции, не считая самого себя субъектом, обращает на себя внимание то, что здесь имеются две причины для недовольства, которые парадоксальным образом противоречат друг другу. Первая касается отчуждения. Общество не дает субъекту пробиться к своей сущности, он уже не является натурально тем, кем должен быть человек, он уже не ориентирован на осуществление в себе человека, и общество приводит к тому, что субъект оказывается отчужден. За этим следует требование эмансипации. Здесь снова имеет место переориентация старых понятий. Раньше эмансипация означала освобождение из-под власти родителей. С юридической точки зрения это обоснование правовой самостоятельности. Однако в XVIII в. все люди были самостоятельны в правовом отношении. Существует общая теория правоспособности, общая теория гражданства. Для нас сегодня это норма. Тем самым еще одно понятие, еще одно слово освобождается для нового применения, и эмансипация превращается в требование к обществу, которое обычно связано со свержением господства. Теория в некотором роде колеблется между отчуждением, с одной стороны, и эмансипацией, с

другой стороны, и пытается объединить их в представлении о том, что общество должно обеспечивать человеку возможность «самореализации», как говорят сегодня.

Таким образом, в каком-то смысле связь с обществом слишком тесная и слишком слабая. Социология, которая возникает в конце XIX в., наследует эту тему. Можно изучить всех классиков социологии на предмет того, как они трактуют проблему отношений общества и индивида. Это можно сделать в отношении Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера, Георга Зиммеля и кого угодно еще. Одновременно и параллельно с этим развивается философская, а также метафизическая дискуссия, которая начинается с Канта и которую лучше всего можно оценить, если иметь в виду, что речь в ней идет о реантропологизации философских понятий. На абстрактном уровне субъект определяется через самореференцию и сознание, но после Канта происходит реантропологизация, которая означает, что, говоря о субъекте, имеют в виду конкретных людей с телами и специфическим *хабитусом* сознания, с личностью и тому подобным, т.е., если угодно, речь идет об эмпирических экземплярах как материализациях субъекта в эмпирической действительности. То же самое произошло еще один раз: вспомните, как угасла дискуссия, которая в Германии разворачивалась вокруг таких имен, как Гуссерль и Хайдеггер и которая отличалась явно антигуманистическими или, во всяком случае, антиантропологическими тенденциями (в §10 хайдеггеровского «Бытия и времени» вы увидите явное отвержение антропологии в качестве фундаментальной теории метафизики)¹²³, когда она была импортирована во Францию. Французы после Второй мировой войны говорят о философии Гуссерля и Хайдеггера так, как если бы это были теории о людях. Впрочем, при этом проявляют осторожность, используя формулировку «*réalité humaine*», «человеческая реальность», как будто под этим не обязательно подразумеваются конкретные экземпляры, живущие вокруг нас. Но и здесь проявляется тенденция считать ориентацию на человека обязательной для философии. Вместо того, чтобы сначала создать философскую теорию, имеющую категориально-понятийную или какую бы то ни было основу, а потом посмотреть, каким образом в этих рамках можно классифицировать человека, философы ориенти-

123 См. Хайдеггер М. Бытие и время. Глава II, сноска 82.

руются на человека; очевидно, потребность в такой ориентации человека на человека является очень сильной величиной, о которой мы как социологи можем порассуждать.

У социологии свои особые сложности в связи с этой темой, поскольку, с одной стороны, ввиду существования биологии и психологии, она уже не может исходить из того, что все, что происходит у человека и в человеке, должно быть темой социологии, но, с другой стороны, она тоже ощущает неотъемлемость гуманистической или антропологической ориентации. Я думаю, что можно сказать очень жестко: только системная теория позволяет от нее отказаться. Только владея тем понятийным аппаратом, который я предложил, можно найти место для проблемы локализации человека в теории, в нашем случае в теории общества. Я скоро вернусь к этому. Пока же я хочу лишь показать, что социологические решения до сих пор располагались в пограничной области между индивидом и обществом и при этом предпринимались попытки найти понятия, которые были, что называется, ни рыба, ни мясо: они не отказывались от одного, но и не нацеливались на другое. В этом, как мне кажется, одна из причин того, почему социологи в целом так сильно опираются на понятие действия; ведь о действии вряд ли можно говорить, если полностью абстрагироваться от человека и попытаться внедрить в теорию действия, происходящие без человеческого участия. Я думаю, и я еще аргументирую это более подробно, что с «коммуникацией» дела обстоят несколько иначе, тогда как «действие» относится к отдельному человеку, а не к процессу, объединяющему нескольких людей. Понятие действия практически навязывает представление о том, что за ним стоят люди или что люди являются причиной, носителями, субъектами – неважно, какая используется формулировка – действий.

Я думаю, что все остальные понятийные системы, которые входят в этот контекст соединения индивида и общества, в конечном итоге можно свести к понятию действия. Это касается в первую очередь понятия роли. Роль часто, особенно у Парсонса, однозначно трактуется как связующее понятие между индивидом и обществом. Роль имеет формат, который подогнан под отдельного человека. Университет не является ролью, а профессор, студент – это обозначения ролей, согласно которым

кто-то один является профессором: *двое* не могут быть *одним* профессором, хотя в определенных обстоятельствах можно делить штатную ставку. Понятие роли подогнано под отдельного человека, но вместе с тем оно имеет абстрактный формат, так как роль может исполняться разными людьми приблизительно в одинаковой форме, и существуют такие ориентации, для которых совершенно все равно, кто исполняет роль. Например, кондуктор трамвая: коль скоро он владеет своим ремеслом и не выделяется какими-то неприятными прочими качествами — этого уже достаточно. Понятие роли, которое обычно определяют как ожидание определенного поведения или действия и которое фиксирует и идентифицирует совокупность ожиданий, входит в круг проблем, касающихся одновременного вовлечения в теорию человека и общества, индивида и общества.

Если за отправную точку вы хотите взять понятие действия, то стоит посмотреть повнимательнее и спросить себя, что понимается под действием. Или, иначе говоря, что не имеется в виду, когда речь идет о действии. Вы помните, что я всегда выбираю понятия с точки зрения наблюдателя, который должен различать, от чего он хочет отличать действие, если он хочет обозначить понятием действия что-то определенное, и что выпадает из теории, что исключается при построении теории действия. Уже этот вопрос, нацеленный на повышение точности понятий, на работу с понятиями, вызывает серьезные трудности. Если посмотреть литературу, то можно найти разные замыслы по исключению, разные намерения рассматривать что-то как не-действие. В различии между «action» и «behavior» «поведение» является чем-то таким, что доступно также и животным и что у человека происходит сходным с животными образом, возможно, с помощью более изощренного координирующего механизма головного мозга, с большей комплексностью и так далее. «Behavior» — это понятие, которое проявляется в эмпирических интенциях и как бы оставляет субъекта за скобками. Парсонс всегда придавал большое значение этому различению применительно к американскому контексту. Свою заслугу он видел в том, что он возглавил восстание против бихевиоризма и попытался опровергнуть бихевиористов, которые полагали, что могут изучать морских свинок и американских студентов на одном и том же уровне и не видеть между ними существенной

разницы, кроме, пожалуй, способа, которым они реагируют на «входы» (Inputs) и «выходы» (Outputs). Это был главный спор, который завладел умами американских ученых в 1930-х гг. и который привлек внимание к Парсонсу как к автору европейских, неэмпирических, почти что философских, волюнтаристских и так далее работ, потому что именно это отличало теорию действия. Это один из фронтов, которые мы находим в социологической литературе.

С недавних пор настойчиво проводится идея рациональности диспозиции действия. Истоки этого, если захотеть, можно найти у Макса Вебера. Макс Вебер полагал, что если мы хотим объяснить действие, нам нужно прежде всего установить различие цели и средства, т.е. нужно увидеть, что действующий понимает сам себя и может быть понятым, если будет задан вопрос, для каких целей он использует свое действие или что-то еще в качестве средства. Тем самым в понятие действия внедряется проблематика рациональности, и возникают сложности с выяснением того, что тем самым исключается и каким образом исключается то, что тем самым должно быть исключено. Может быть, действие, которое не ориентируется на цель и средства, уже не действие, а поведение? Является ли рациональная составляющая ключевым смыслом, ключевой референцией данного понятия?

В теории рационального выбора эта проблема развивалась таким образом, что ею обычно вообще не занимались, а исходили из того, что имея в виду рациональное действие, т.е. анализируя то, как кто-то делает выбор из определенных перспектив при ожидаемой полезности, можно разработать важные социальные теории. При этом некоторое отклонение от теоретических расчетов нормально. В этом заключалась одна из причин того, почему Вебер ориентировался на «идеальные типы», а не на полное описание реальности.

У меня, помимо этого вопроса относительно рационального ядра как отличительного признака понятия «действие», в связи с этим понятием возникают еще две трудности, которые, вероятно, можно трактовать как проблемы внешнего и внутреннего отмежевания действия. В плане внешнего отмежевания мне неясно, какие последствия относятся к действию, а какие нет. Где обрывается цепочка последствий, чтобы можно было сказать,

что вот до сих пор продолжается действие, а потом начинается результат, который сам, однако, не является частью действия? Является ли, например, то, что вы слышите, что я говорю, моим действием? Происходит ли это в ваших головах, или, по крайней мере, акустика, колебания воздуха, моя артикуляция еще являются моим действием? Где начинается результат и где заканчивается цепочка последствий, которую еще относят к действию? Когда начинают относить что-либо к действию и обозначать ответственность, тенденция обычно такова, что к действию относят как можно больше последствий. Если же, с другой стороны, уважать свободу движения других действующих или свободу движения окружающего мира, действие придется урезать до непосредственной интенции, которая формируется и как бы подталкивает тело что-то сделать, но не более того. Этот фронт неясен. Я не так хорошо знаю соответствующую литературу, чтобы сказать, что эти вопросы нигде не рассматриваются. Но если обычно люди исходят из того, что каждый знает, что имеется в виду, когда они говорят о действии, то у меня с этим есть некоторые трудности. Это касается внешней границы и, соответственно, вопроса о том, как далеко действие простирается в окружающем мире.

Внутренняя граница связана с вопросом о мотивации. Обычно о действии говорят лишь в том случае, если можно выявить мотивы или — в более узком смысле, но это необязательно должно быть так — если можно установить намерение действующего, т.е. приписать действие определенному намерению. Поэтому наблюдается тенденция формулировать понятие действия в духе теории атрибуции, т.е. всякий раз предполагать наличие действия тогда, когда кто-нибудь — это может быть сам действующий или кто-то другой — приписывает действие самолично-му решению действующего, когда действующего хотят сделать ответственным за его действие или когда можно предположить понятные мотивы, почему он поступает так, а не иначе, т.е. всякий раз, когда есть объясняющая схема, которая в некотором роде заканчивается внутри действующего и «вчитывает» туда мотивы или намерения. Но здесь тоже есть свои сложности, потому что неясно, в чем заключаются эти мотивы. Действительно ли это психологические причины? Или это то, что в феноменологической литературе называется «accounts», возможные

оправдания? Если меня спрашивают, почему я что-то сделал, я могу что-то сказать, что мне самому кажется убедительным, и обычно действуют уже будучи готовым к подобным вопросам, или же этот вопрос является абсолютно глупым, так что его с самого начала не ожидают и могут отклонить. Например, если я что-нибудь покупаю в магазине и мне задают вопрос, почему я это покупаю, я могу сказать: потому что я хочу это иметь, вот и все объяснение.

Здесь можно вернуться к различению действия и поведения и снова спросить, всегда ли существовало подобное приписывание мотивов, было ли это так уже у неандертальцев или у древних греков или в эпоху великого переселения народов или где-нибудь еще? Всегда ли у людей были мотивы? Или можно сказать, что необходимость иметь мотивы связана с культурным развитием, так что потребность в объяснении действий или в определении действия в качестве такового через внутреннее приписывание становится актуальной лишь в той мере, в какой расширяется диапазон возможностей действия? Общество становится более комплексным. Мы можем делать то или другое. Мы всегда находимся в ситуации выбора, вследствие чего возникает необходимость в мотивах, и лишь тогда формируется концепция действия, ориентированная на убеждения, намерения, мотивы, внутренние состояния. Мы, наверное, не должны отягощать этим аспектом древнегреческую теорию, относящуюся как бы к естественному праву и естественной морали: хотя, с другой стороны, тогда не совсем понятно, как греки ладили друг с другом, если они совсем не учитывали то, по каким причинам кто-то действовал так, а не иначе.

Короче говоря, вопрос о действии, базирующемся на мотивах, может иметь смысл в том случае, если мы хотим рассмотреть развитие ориентированного на индивида понимания действия как эволюционное или культурное развитие. Но даже если такая постановка вопроса имеет смысл — а я считаю, что она вполне осмысленная, и я также не хочу полностью исключать понятие действия, утверждая, что оно уже не имеет никакого значения, — это, как мне кажется, не решает нашу проблему, так как не отвечает на вопрос, каким образом индивид, если изучить его в психологическом и биологическом плане и принимать всерьез со всем тем, что нам о нем уже известно, может

быть связан с обществом. Если ставить вопрос таким образом, то складывается впечатление, что теория действия выполняет функцию своего рода склейки между индивидом и обществом. Действие – это нечто такое, что имеет значение по обе стороны и вообще-то не может быть рассечено, разрезано на индивидуальную часть и общественную.

В этом контексте есть по меньшей мере два момента, которые мы должны для себя отметить. Первый касается противостояния теории действия и системной теории. На данный момент это одна из тех дискуссий, в которых, на мой взгляд, неправильно ставится проблема. Ведь системная теория в социологической традиции всегда воспринимала себя как теорию действия, как теорию систем действия. Я напому вам о Парсонсе и о том, что я излагал парсонсовскую теорию на основе формулы «Action is system», так что если смотреть с этих позиций, выстроить противостояние будет сложно. На самом деле люди, думающие в этом направлении, имеют тенденцию перескакивать через Парсонса, считая его теоретический замысел неудавшимся, и возвращаться сразу к Макс Веберу. Но это не дает ответа на наш вопрос о контурах теории действия и о том, как системы могут образовываться из действий, если действие в этом значении психически и биологически укоренено в отдельном человеке.

Далее есть возражение со стороны эмпирической социологии, которая базируется на понятии действия и методологически, и с точки зрения теорий, используемых для обработки данных. Социологи задают вопросы об установках и о прочих всевозможных вещах, но уже сам вопрос и ответ являются действиями. Представление о том, что действующий субъект является эмпирическим материалом, к которому можно приблизиться в ходе обычного исследования, распространено у всех социологов-эмпириков. Рената Майнц как-то заметила (это ее замечание довольно часто цитируется), что теория систем, если она абстрагируется от действия, похожа на даму без нижней части туловища. В действительности дела обстоят еще хуже, так как у дамы нет и верхней части туловища. У нее вообще нет тела, и все тело не является частью социальной системы, но тогда Рената Майнц наверняка задаст вопрос о том, о чем же тогда мы говорим, если мы абстрагируемся от того, что люди действуют.

Но мы не хотим от этого абстрагироваться, а хотим освободить понятие действия от этой функции склейки или шарнира между индивидуальными, психическими, биологическими системами, с одной стороны, и системами обществ, с другой. Это имеет смысл только тогда, когда мы уже приблизительно знаем, на что идем, действуя таким образом, и какая теория еще остается возможной в этом случае.

Я думаю, что системная теория, если посмотреть, как она развивалась, готова к этому. Во-первых, системная теория сохраняет концепции самореференции. Рекурсивность и все то, что раньше было привилегией субъекта, теперь является признаком систем как таковых, т.е. в том числе и коммуникативных систем, так что есть разные версии самореференции, но по-прежнему существует определенное сходство в отношении одного ряда систем, которые можно было бы назвать самореферентными системами. Во-вторых, это общий медиум – смысл. Это было темой предыдущей лекции, и в целом все согласны с тем, что как психические, так и социальные системы, как операции сознания, так и коммуникативные операции работают с медиумом, имеющим аналогичное строение. Это не должно означать, что они осуществляют одни и те же операции, но и те, и другие имеют дело с этим странным медиумом, который связан с переизбытком возможностей, принуждением проводить отбор, с актуализирующей концентрацией на чем-то определенном и с необходимостью что-то другое исключать – все это верно как в отношении сознания, так и в отношении коммуникации. И, наконец, тезис о том, что система – это не какой-то особый объект, а различие между системой и окружающим миром, так что тело, процессы, происходящие в сознании, относятся как раз к окружающему миру системы. Причем когда говорят, что они относятся к окружающему миру системы, это является не суждением о важности или неважности, а только решением вопроса о том, как система и окружающий мир могут быть постоянно согласованы друг с другом.

То, что человеку отводится место в окружающем мире, не несет в себе ничего пренебрежительного или унижающего, как часто ошибочно полагают; напротив, расположение в окружающем мире, возможно, даже более приятное, если принять во внимание нашу обычно критическую установку по отношению

к обществу. Во всяком случае я лично лучше бы чувствовал себя в окружающем мире общества, чем в обществе, где другие люди продумывали бы мои мысли, а биологические или химические реакции приводили бы в движение мое тело, на которое у меня совсем другие планы. То есть различие системы и окружающего мира дает возможность помыслить радикальный индивидуализм в окружающем мире системы, причем таким образом, который был бы недостижимым, если бы мы считали людей частью общества и, следовательно, придерживались бы гуманистического представления, которое делает людей элементом или даже целью общества. Если мы представим себе, что общество движется к человеческой цели или что оно должно создавать человеческие условия, то у меня возникает такое чувство, что это наше представление просто ошибочно и абсолютно нереалистично. Можно придумать политические представления, политические цели и дать ход всевозможным критическим коммуникациям, но все это всегда происходит только в обществе. До сих пор результат подобных усилий не дает нам поводов для особого оптимизма относительно вопроса о том, позволяет ли общество жить жизнью, соответствующей человеку. По крайней мере, теоретически, наверное, следует быть открытым и к другим вариантам.

2. Два способа оперирования аутопойесиса

Таковы контуры теоретического решения, в соответствии с которым человек в смысле биологически и психологически индивидуализированного живого существа относится не к социальной системе, а к окружающему миру социальной системы. Подтвердить это решение или же подтолкнуть к нему может точный анализ операций, воспроизводящих систему. Что, собственно говоря, делает сознание? Что фактически происходит в клетке или в организме, в нервной системе, в гормональной системе, в иммунной системе и так далее? Как сознание распоряжается вниманием? Как коммуникация передает опции, как она задает предпосылки, которые впоследствии учитываются или отрицаются? И так далее. Если у вас есть системная теория, основанная на понятии операции, и, следовательно, вы включаете в рассмотрение время, то вы должны четко определить тип операции и сказать, что вот такой тип системы, как социальная система, может создаваться только одним видом операций, а не смешением всех возможных физических, химических, биологических, психологических и прочих явлений. Одна система, одна операция, время: если вы до конца осмыслите этот теоретический аппарат, вы неизбежно придете к однозначному размежеванию психических и социальных систем и, разумеется, живых, физических и социальных систем. Выбор таков: или отказаться от понятия системы, основанного на понятии операции, или согласиться с тем, что человек и социальная система, люди, индивид и общество — это отдельные системы, которые никоим образом не могут накладываться одна на другую.

Это не значит, что нельзя себе представить, что наблюдатель, кем бы он ни был, все же может определить операции как некие единства, протекающие одновременно в психическом и социальном плане. В этом месте аргументация становится сложной, поскольку в методологическом плане она ведет к странному выводу. Во-первых, наблюдатель всегда может идентифицировать так, как ему представляется правдоподобным. Допустим, мы не станем категорически исключать возможность того, что если кто-то говорит, что он слышит, как кто-то говорит, то близости действительно кто-то есть, кто говорит и сообщает что-то кому-то. Это одновременно нечто психическое, телесное и социальное, когда, например, говорится: «Он довольно далеко,

я слышу его очень плохо, я не понимаю его, и если я хочу его понять, я должен подойти к нему, я, со своим телом, должен подойти туда и слушать его». Для такого наблюдателя полностью разделять психическое, телесное и социальное не имеет никакого смысла. Таким образом, наблюдатель может идентифицировать так, как ему представляется целесообразным или как он лучше всего умеет классифицировать мир, который он наблюдает. Вы видите, что я в некоторой мере отрекаюсь от всего, что говорил до сих пор, и утверждаю прямо противоположное с этих сомнительных позиций наблюдателя. И вот теперь вопрос заключается в том, кто же, собственно говоря, наблюдатель: кто этот наблюдатель? Можно всю теорию отмотать назад к наблюдателю и сказать себе, что есть теории, которые предпочитают наблюдать так, как будто психическое и социальное – это одно и то же, а есть другие теории, которые отвергают такую позицию, т.е. видят смысл в разграничении этих вещей. В таком кувырке, в таком круговороте мы увидим, что мы сами снова появляемся в нашей собственной теории. Мы видим самих себя в качестве одного из многих наблюдателей, который теоретически поглощен идеей о том, что все должно быть разделено, который может в рамках своей теории привести веские доказательства этого и который одновременно может конструировать такое представление, что в реальности, которую он наблюдает, в которой он сам принимает участие как теоретик с определенными предпочтениями, имеются также другие теории, которые это делают по-другому. И тогда встает вопрос, остаемся ли мы в пределах науки и можем решить это научным путем или же существуют глубоко укорененные предрассудки или обыденные убеждения, которые тоже могут быть задействованы в науке и влиять на нашу мотивацию относительно того, хотим ли мы наблюдать с точки зрения теории действия или же воздерживаясь от затрат на такого рода понятийность.

Я надеюсь, что вам в какой-то степени стало ясно, что наука социология описывает саму себя с помощью категории наблюдателя, потому что каждый раз, когда говорят, что, мол, этот способ идентификации, этот способ создания единства – дело наблюдателя, возникает следующий вопрос: кто этот наблюдатель? И тогда нужно заново перестраивать всю эту область в соответствии с наблюдением второго порядка.

Но теперь вернемся к более простой трактовке. Я хочу еще раз проиграть этот аргумент с точки зрения эмерджентности. «Эмерджентность» – это такое слово, которое появляется во многих науках и имеет отчасти методологическое значение. Для нас важна эмерджентность социальных систем. В социологии в этом случае вспоминают, например, дюркгеймовскую версию. Дюркгейм говорил о том, что социальные факты можно объяснить только через социальные факты.¹²⁴ Эта такая методология, которая создает социологию, ограничивая ее социальными контекстами и не включая, например, физические или психологические детерминанты. Это своеобразный маневр, позволяющий отмежеваться от психологии и, возможно, также от биологии. Это одна форма, в которой встречается аргумент эмерджентности. Другая форма касается проблемы редукционизма. Можно ли социальные состояния редуктивным образом свести к психологическим состояниям? Можно ли все, что воспринимается в социальном плане, объяснить с помощью психологического обследования участников? И если это возможно на уровне психологии, может быть, это сработает и на уровне нейропсихологии, а если и это возможно, то, может быть, удастся найти объяснение на уровне химического состава клетки, и в конце концов придется проникнуть в зловещий внутренний мир атомов и здесь столкнуться с недетерминированностью, как говорят физики, и тогда можно будет все начинать с начала? Или снова вернуться к холизму. Именно эту тенденцию можно наблюдать сегодня.

В этой дискуссии об эмерджентных явлениях происходит смещение основных моментов объяснения с одного уровня на другой. Я имею в виду, что эта теория не отвечает и даже не задает вопроса, который я намеревался задать, а именно как или чем выделяется эмерджентный уровень или эмерджентная система? Какой именно признак отличает эмерджентный порядок от состояния, которое мыслимо и без этого порядка, от его материальной или энергетической основы? Каков критерий, который делает возможной эмерджентность? Я думаю, в этой связи счастливым случаем можно считать публикацию статьи об аутопойесисе социальных систем в «Кёльнском журнале соци-

¹²⁴ См. Дюркгейм Э. Метод социологии. [Западноевропейская социология XIX – начала XX веков. М., 1996. С. 256-309]

логии и социальной антропологии» (автор Виль Мартенс), которая посвящена именно этой проблеме, причем главным образом в связи с концепцией аутопойесиса и концепцией коммуникации¹²⁵. Я еще вернусь к теории коммуникации, а сейчас следует упомянуть о том, что я предложил трехкомпонентную теорию, которая, кстати, имеет лингвистическую традицию и которую, если угодно, можно найти и у античных авторов¹²⁶. Согласно этой теории, дифференция информации – о чем говорится? что именно сообщается в отличие от многих других фактов, имеющих место в мире? – порождает сообщение и понимание. Кто-то должен понять, иначе коммуникация не состоится, независимо от вопроса о том, как он отреагирует на это. Согласится он или нет, это уже его дело. По этому поводу он может начать новую коммуникацию. Эта трехчастность определяется в статье Вилия Мартенса как психологическое и даже физическое основание коммуникации. Соответственно, коммуникация – это нечто такое, к чему индивид приходит у себя в голове. Я сначала должен обдумать то, о чем я собираюсь говорить, что я скажу и чего не скажу, что я могу считать новостью, считать неизвестным, чтобы об этом сообщить. Это работа происходит у меня в голове. И я должен сообщить, т.е. я должен по меньшей мере где-то присутствовать физически. Кровоснабжение моего мозга должно быть достаточным, и силы моих мышц должно хватать для того, чтобы я держался прямо и так далее и тому подобное. Следовательно, понимание опять-таки имеет психическую и физическую реальность. Я не могу быть в бессознательном состоянии или изнемогать от боли, я должен уметь сосредоточиться, особенно если это сложная лекция. Понимание – это тоже физическая и психическая работа, которая требует больших или меньших усилий.

Итак, мы имеем три эти вещи. Тезис гласит, что социальность реализуется только в слиянии или в синтезе этих трех компонентов, т.е. социальное возникает в том случае, если информация, сообщение и понимание производятся в виде единс-

125 См. Martens Wil. Die Autopoiesis sozialer Systeme // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 43 (1991). S. 625-646; см. также: Luhmann Niklas. Wer kennt Wil Martens? Eine Anmerkung zum Problem der Emergenz sozialer Systeme // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 44 (1992). S. 139-142.

126 См. об этом: Luhmann Niklas. Soziale Systeme [F/M 1984]. гл. IV.

тва и оказывают обратное воздействие на участвующие психические системы. Психические системы должны вести себя соответствующим образом, чтобы это получилось. Но единство, эмерджентность социального – это только сам по себе синтез, тогда как элементы по-прежнему могут и должны описываться на психологическом и биологическом уровне. Без этого фундамента ничего не получится. То есть речь идет именно о теории эмерджентности нового порядка на основании комбинаторного соединения в новые единства. Я надеюсь, вы попадетесь на эту удочку. Сначала это кажется очень убедительным, но потом возникают вопросы. Прочитайте как-нибудь текст Вилия Мартенса. Я получил специальный выпуск и еще письмо и могу прочитать это письмо и этот специальный выпуск, но когда я это читаю, у меня появляется вопрос: что есть в тексте от самого автора или, другими словами, что входит в коммуникацию? Это явно, к примеру, не кровообращение, обеспечивающее кровоснабжение его мозга, когда он писал этот текст. В тексте, помещенном в «Кёльнском журнале», нет крови: в редакции отказались бы от статьи, если бы из нее хлестала кровь. Нет в ней и состояния сознания. Я не знаю, что думал автор. Я могу себе представить, что его мозг снабжался кровью, что в его мышцах было достаточно силы, чтобы он мог прямо сидеть за компьютером, что он был заинтересован в участии в науке и в том, чтобы обратить на себя внимание, что какой-то случай так заворожил его, что он подумал, что не плохо бы и другим о нем узнать. Это конструкции (впоследствии я буду говорить о «взаимопроникновении»), которые становятся очевидными в ходе коммуникации, но которые сами в коммуникации отсутствуют.

Поэтому перед нами встает вопрос, что утверждается в тексте и не опровергает ли сам текст то, что он утверждает. Привносит ли текст в коммуникацию мысли и кровь? Так как я в силу привычки прислушиваюсь к парадоксам и бываю ими очарован, то здесь тоже как раз тот случай, когда мое внимание привлекает парадокс. Текст утверждает нечто, что он опровергает своей операцией. В нем нет крови, нет мысли. Фактически в нем есть только буквы и то, что опытный читатель может из них составить – слова, предложения и тому подобное. Это и есть коммуникация. Если мыслить реалистично и в категориях операций, то я не могу ничего увидеть, кроме этого. Оценить

попытку Мартенса можно опять-таки только с точки зрения истории теорий; она может быть интересна лишь постольку, поскольку речь здесь идет о еще одной попытке соединить индивида и общество, удовлетворив притязания обоих. Индивиды привносят такие моменты, как информация, сообщение, понимание, но это были бы просто разрозненные фрагменты, о которых они бы и не додумались, если бы не было социального синтеза. А коль скоро есть социальный синтез, индивиды вынуждены приспособляться к возможностям коммуникации и соответствующим образом менять свои внутренние состояния.

Получив такое послание, можно действовать следующим образом. Можно сказать себе: все само по себе правильно. Коммуникацию, вероятно, можно описать целиком на уровне психологических или физических фактов. Собственно говоря, при этом ничего не было бы упущено – за исключением самого аутопойесиса. Что коммуникация пытается поддержать посредством коммуникации? И как возможно, что это все еще продолжается? Как возможно воспроизводство коммуникации из себя самой, т.е. коммуникации из коммуникации, без включения психических или физических операций? Я думаю, из теории нельзя почерпнуть ничего, кроме тезиса о том, что все это происходит за счет полного исключения – исключения психических и физических репродукций, фактов, состояний, событий.

Матурана на одной из лекций здесь, в Билефельдском университете, сказал¹²⁷, что живые клетки можно описать целиком на химическом уровне, что все, что можно найти в клетке, можно передать в форме описаний химической структуры соответствующих молекул, и это было бы описанием состояния клетки – но не аутопойесиса. Аутопойесис – это принцип, который может быть реализован только в живых клетках и только в форме жизни, и хотя он отображается в химических описаниях, он не может быть объяснен в своей репродуктивной автономии. Если допустить, что данная теория верна, то применительно к вопросу об эмерджентности это означает, что эмерджентность возможна только за счет абсолютного отмежевания от энергетических и материальных или биологических и психологических условий, которое на другом уровне приводит к формированию

¹²⁷ Умберто Р. Матурана был приглашен Никласом Луманом в университет г. Билефельда в зимнем семестре 1986-1987 гг.

систем. Мы имеем дело с совершенным отделением, исключением проникающих воздействий, которые, если бы они проявились, имели бы разрушительные последствия. Если бы вы действительно привнесли в коммуникацию состояния сознания, то это было бы крайне сложно и почти неизбежно нарушило бы коммуникацию. Представьте себе, что врач подходит к постели больного и спрашивает, как у него дела. Какая неловкость возникла бы, если бы при этом стало известно, что врач думает на самом деле! Больной бы уже не смог ответить. Коммуникация бы раскололась, если бы больной хотя бы приблизительно знал, что думает врач, когда спрашивает, как у него дела. Или вспомните другой знаменитый пример – автобиографию Тристрама Шенди¹²⁸, который пытался записать все свои состояния на протяжении жизни, включая записывание этих состояний, в чем он, однако, не преуспел, потому как уже в первые недели или месяцы этой своей жизни он не поспевал со своим описанием за жизнью, которая бежала вперед. Здесь речь идет даже не о последовательном соединении звеньев цепи: *коммуникация / сознание / коммуникация / сознание*, а о попытке посредством коммуникации дать отчет о реалиях биологического и психологического существования. Коммуникации бы это не удалось, даже если бы она была полностью ограничена своими собственными средствами и использовала бы их на все сто процентов. Она слишком медленна, так что любая попытка сделать это была бы разрушительной (цель огромного романа о Тристраме Шенди заключалась именно в том, чтобы показать это), даже если эта попытка осуществляется исключительно в рамках коммуникации, т.е. в рамках романа, и по-другому это невозможно себе даже представить. Я думаю, что этот аргумент можно повторить на всех других уровнях. Известно, что когда атомы соединяются в молекулы, это влияет на их внутреннюю электронику. Они не подобны шарикам с толстым мехом, которые склеиваются, и получаются молекулы; нет, они меняют свое внутреннее состояние, как бы это ни называлось на языке микрофизики, вследствие коммуникации с другими атомами и создания химического единства, молекулы, но несмотря ни на

¹²⁸ из романа Лоуренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», который вышел в 1760-1769 гг. в девяти томах.

это никакая часть атомной энергии не переходит в химический состав, и здесь можно лишь сказать: «К счастью!» То есть у вас нет возможности посредством химических операций высвободить атомную энергию. Это совершенно другой уровень. И только так возможен устойчивый, основанный на химии мир, который затем, в зависимости от обстоятельств, делает возможными жизнь, сознание, общество и все прочее. Хорошо, это что касается понятия эмерджентности.

Сейчас я хотел бы в продолжение вышесказанного сделать еще одно замечание и уже в следующей лекции перейти к понятию структурной сопряженности, языка и других понятий, связывающих сознание и социальную систему. Сейчас еще остается время для одного из этих понятий, а именно для понятия взаимопроникновения, что связано также с тем, что это понятие является ключевым в статье Вилля Мартенса, а на эмерджентность он, собственно говоря, лишь намекает.

Если придерживаться теории оперативной сепарации систем, то нельзя говорить о пересечениях. Можно, как всегда, поместить внутрь наблюдателя, который может синтезировать множества, объединять различное – и если он это делает, то он делает это. Но с точки зрения операций, системы разделены, и деятельность наблюдателя тоже зависит от того, что он функционирует физически, химически, биологически, психологически, социологически или как угодно еще. В результате понятие взаимопроникновения оказывается невостребованным. Парсонс, правда, использовал его (вспомните одну из предыдущих моих лекций), чтобы соединить различные подсистемы, т.е. чтобы объяснить, как культура проникает в социальную систему или как происходит взаимопроникновение культуры и социальной системы, как социальная система через социализацию воздействует на индивидов, как индивиды через процессы научения укрупняют свои собственные организмы. Так вот, Парсонс использовал понятие взаимопроникновения для того, чтобы обозначить эти сферы пересечения разных систем и сказать, что что-то из культурной системы должно проникать в систему социальную. В соответствии с общей структурой теории, это проникновение мыслилось не на уровне операций. Парсонс скорее полагал, что эти системы только способствуют эмерджентности действия, т.е. сами не являются операциями. Если они выделяются в качестве

систем действия, то опять-таки на уровне действия и системных образований, которые, в свою очередь, должны выполнять все требования к системному образованию. Понятие, которое по идее должно было сообщать, что же, собственно говоря, участвует в функционировании другой системы или каким образом культура является частью социальной системы, так и не удалось по-настоящему согласовать с четырехчастным делением парсонсовских ячеек. Пришлось бы интернализировать как бы несколько межсистемных связей одновременно, поскольку предусматривались также внутренние подсистемы, и тогда система определялась бы через отношения взаимопроникновения. Это было недопустимо по разным причинам, и поэтому осталось неясным, как возможно наложение, пересечение, конгруэнтность разных систем в одной системе.

Парсонс в разговоре как-то сослался на социолога по имени Лумис, который работал над моделями пересечения систем и разработал систему понятий, согласно которой существовали взаимосвязи, в которых разные системы действовали как одна¹²⁹. Но я не думаю, что Парсонс использовал этот ход в своих публикациях. Это было сформулировано целиком на системно-теоретическом жаргоне 1950-х – начала 1960-х гг. Мне сложно это понять, а кроме того, передо мной встает проблема: следует ли отказаться от понятия взаимопроникновения или можно найти ему другое применение? Мое предложение не очень удачно с точки зрения терминологии, и я сам не совсем доволен тем, что использую то же понятие, только с другим смысловым содержанием, однако есть феномен, который необходимо как-то включить в теорию, а именно способ, которым системы реагируют на комплексность своего окружающего мира.

Если мы снова возьмем пример кровообращения и коммуникации, то можно спросить, как в коммуникации учитывается то, что люди в достаточной степени стабильны, достаточно репродуктивны для того, чтобы принимать участие в коммуникации. Разве я всякий раз, когда говорю с вами, когда читаю лекцию, не исхожу из того, что вы находитесь в ясном уме или, по крайней мере, кровоснабжение вашего мозга достаточно для того, что-

¹²⁹ Вероятно, имеется в виду Чарльз П. Лумис. См. его работу: Loomis Charles P. Social Systems: Essays on their Persistence and Change. Princeton, NY: Van Nostrand, 1960.

бы вы могли контролировать свои тела и сидеть прямо, пусть даже опираясь на различные подпорки? Разве в любой коммуникации не предполагается, что окружающий мир гарантирует высоко комплексные предварительные условия коммуникации? То, что исключается, что не участвует в операциях, тем не менее рассматривается как присутствующее. Граница системы с психической или биологической областью встроена в коммуникацию в качестве предположения или предпосылки функционирования. Эти теоретические фигуры время от времени появляются и в философии. У Жака Дерриды, например, можно найти идею о том, что имеется некий неприсутствующий фактор, который оставляет следы, по-французски *traces*, по-гречески *ichnos*; потом эти следы замечаются, ни один из них не делается видимым. В ходе коммуникации не говорят постоянно о том, достаточно ли хорошо кровоснабжение головы. Следы замечаются, а замечание следов снова становится видимым. Если есть сомнения, об этом можно поговорить. И это идущее издалека. Если, возможность поговорить об этом предполагает, что это всегда присутствует. «Отсутствующее» – на жаргоне Дерриды – присутствует, хотя оно вообще-то и не присутствует – чистый парадокс в формулировке.

Если я совершу маневр, возможно, неприемлемый для Дерриды, и перенесу это на совершенно другую почву, а именно в системную теорию, то, наверное, можно будет сказать, что взаимопроникновение – это что-то вроде принятия во внимание отсутствующего. Исключаемое за счет того, что оно исключено, снова рассматривается как присутствующее. Мы предполагаем, что мир – чем бы он ни являлся, о чем нельзя говорить – дает возможность говорить, писать, печатать, осуществлять электронную коммуникацию и так далее. Без этой предпосылки операция не могла бы начаться. Она также не могла бы обрести контуры. Она не могла бы использовать свою собственную избирательность для того, чтобы делать это и не делать то, если бы не было чего-то другого, что в данный момент не учитывается, но является условием возможности самой операции. Возможно, обозначение этого момента понятием «взаимопроникновение» проблематично, но данная тематика имеет место, и если бы мы не одобрили это понятие, то нужно было бы придумывать этому другое имя, но так как в социологической теории схожие содер-

жания называются взаимопроникновением, я позаимствовал это понятие, несмотря на связанные с этим недоразумения. Однако эта проблема очень типична для теории, которая все больше запутывается в собственных обязательствах относительно отбора понятий и по сути признает только свой собственный жаргон. Нужно ли все строить заново с помощью искусственно придуманных терминов или следует с помощью выбираемых понятий намекнуть на то, что существуют определенные взаимосвязи с содержанием, которое до сих пор подразумевалось под этими понятиями? У меня нет четкой позиции по этому вопросу, но я часто отдаю предпочтение преемственности в терминологии, чтобы иметь возможность обозначить внутри этой терминологии разрыв преемственности. Ну ладно, на сегодня сказано достаточно.

Двенадцатая лекция

На прошлой лекции мы уже сталкивались с последствиями определенных теоретических решений и сейчас снова займемся ими. Вы видели, что я четко разделил психические и социальные системы – в некотором смысле вопреки повседневному опыту, который убеждает нас, что люди собираются вместе для того, чтобы поговорить друг с другом. Это, если угодно, ставит теорию перед необходимостью компенсации, так как одновременно с этим приходится заявлять и признавать существование каузальных связей, которые курсируют между психическими и социальными системами. Поэтому мы сначала разведем понятия оперативной закрытости и каузальной открытости: именно оперативная закрытость конституирует объект, систему, которая может быть восприимчива к каузальным связям. Без закрытости этот объект не существовал бы как система, по крайней мере, как самореферентная система, и была бы необходима системная теория совсем другого рода. Но и этого недостаточно. Мы должны избежать повторного смещения системы и окружающего мира, как и психических и социальных систем. Мы должны добиться совместимости нашей теории с концепцией аутопойесиса. Провокационным моментом в данной концепции является как раз необходимость заново продумывать все понятия (и я к этому еще не раз вернусь), которые должны гармонизировать с понятием аутопойесиса, и в невозможности ее непос-

редственного эмпирического применения.

Если рассматривать отношение между системой и окружающим миром с точки зрения этих теоретических предпосылок, то, как мне кажется, в поле зрения попадают два понятия – и, возможно, этого уже достаточно, во всяком случае, на данный момент мне больше нечего предложить. Эти два понятия облекают в форму отношения между системой и окружающим миром. Первое понятие – это взаимопроникновение. Кое-что о нем я уже сказал в предыдущей лекции. Сейчас я хочу лишь резюмировать сказанное, чтобы вы увидели взаимосвязь со вторым понятием – понятием структурной сопряженности. Я не совсем уверен, что необходимо постоянно разграничивать эти понятия. Они берут начало в разных теориях, у них разная история, но они очень близки. Однако для меня сейчас важно разделять эти две вещи. Когда речь идет о взаимопроникновении, однозначно не следует представлять себе смешение, пересечение, проникновение одной системы в другую, как можно было бы предположить при упоминании этого понятия (терминология, как я уже говорил, представляет собой большую проблему); речь идет о том, что операция системы в своей реализации зависит от обеспечения комплексных показателей или значений в окружающем мире, но при этом последние не могут участвовать в операции, т.е. условия окружающего мира не могут быть включены в систему и стать самостоятельной операцией.

Очевидно, это касается и участия сознания в коммуникации. Коммуникация в принципе функционирует только тогда, когда присутствует сознание, когда внимательно следят за разговором или уделяют внимание процессу коммуникации. В самой коммуникации это не всегда упоминается. Иногда говорят: «Послушай!» или что-то в этом роде или подают сигналы, призванные мотивировать внимание со стороны другого, но, разумеется, невозможно предвирать каждое предложение призывом «Послушай!». Тематизация взаимопроникновения – это аварийный случай, исключение, которое не является постоянной составляющей коммуникативной ситуации. На внимание невозможно воздействовать коммуникативными сигналами таким образом, чтобы сознание напрямую обращалось к другому сознанию. Система может регистрировать взаимопроникновение и совершать соответствующие операции, если имеют место

нарушения, если происходит что-нибудь особенное, но ни одна операция системы не может перескочить в другую систему.

То же самое верно и для обратной перспективы, если смотреть на это со стороны психической системы. Если мы решаемся заговорить, мы предполагаем, что язык может быть понят. Связанные с этим сложные процессы, сложные грамматические структуры, смысл слов, то, что большинство слов не поддается определению, и так далее – все это нас вообще не волнует, когда мы думаем о том, какое предложение нам сказать. Мы принимаем функционирование социального порядка как данность, а в конкретном случае опять-таки можем об этом поразмыслить, если кто-то не понимает какое-нибудь слово или если неожиданно выясняется, что кто-то не понимает языка. Предположим, мы имеем дело с иностранцем, заговариваем с ним на своем родном языке и видим, что он не понимает. Тогда мы пробуем заговорить с ним на английском; если и это не срабатывает – на французском, и в какой-то момент вообще прекращаем говорить, но в любом случае у нас в сознании зафиксированы определенные возможности, как вести себя, если возникают сложности понимания. Но и здесь верно то, что мы никогда не можем мысленно актуализировать все необходимое для того, чтобы язык вообще функционировал. Ведь сознание, так же как и коммуникация (если смотреть в обратной перспективе), воспринимает данности окружающего мира комплексно, как я это иногда формулирую¹³⁰, не расшифровывая ее, не желая и не имея возможности воздействовать на нее в деталях или как-то ее менять. Вот что я имею в виду, говоря о взаимопроникновении.

Понятие структурной сопряженности, как уже было сказано, очень близко к этому, но оно сформулировано скорее с точки зрения внешнего наблюдателя, который рассматривает две системы одновременно и задается вопросом, как они связаны между собой: как это вообще возможно, что система, несмотря на то, что является аутопойетической, т.е. воспроизводит себя посредством собственных операций и либо делает это, либо, в противном случае, вынуждена прекратить оперировать, т.е. прекратить существовать, действует в окружающем мире. У Матураны, к которому восходит это понятие (я уже коротко говорил об этом в

¹³⁰ См., например: Luhmann Niklas. Soziale Systeme [F/M 1984], S. 289 и далее).

общем разделе курса), понятие структурной сопряженности означает, что структурное развитие системы определяется структурной сопряженностью постольку, поскольку в ходе этого развития не могут возникнуть никакие другие структуры, кроме тех, которые совместимы с окружающим миром, хотя его влияние и не является решающим. Если использовать термин Матураны, это понятие «ортогонально» аутопойесису системы.

Примеры из биологии найти сравнительно просто. Например, птицы могут сформироваться только в том случае, если есть воздух. Если бы не было воздуха, птицам было бы сложно сформировать крылья. Им бы просто не пришло это в голову. Или эволюции не пришло бы в голову создавать такие сложные аппараты, когда с их помощью нельзя летать. И это несмотря на то, что химический состав клетки и аутопойесис воспроизводства жизни могут вынести полеты и совместимы с ними, но сами они не могут летать и не могут постоянно участвовать в создании условий полета, т.е. воздуха. Аутопойесис – это одно, а структурная сопряженность – другое, и эволюция идет в двух направлениях: аутопойетические системы либо не существуют, т.е. не могут развить последовательность операций, к которой присоединялись бы следующие операции, либо существуют как раз в отношениях совместимости с окружающим миром, но при этом приспособление не является направляющей директивной операций. Они могут вести себя в высшей степени неприспособленно или же сформировать совершенно другие структуры. Крылья, например, не являются воздушным феноменом, это нечто совершенно иное. Эта инаковость соответствия по отношению к определенному окружающему миру возможна за счет структурной сопряженности плюс аутопойесиса плюс аутопойетической эволюции.

Отталкиваясь от этой мысли Матураны, я хотел бы сейчас сделать акцент на одном факторе. Я не знаю, встречается ли он у Матураны в этом значении, но мне кажется, что во всяком случае тогда, когда мы переходим к смысловым системам, т.е. к сознанию или системам коммуникации, нужно подчеркнуть избирательность структурной сопряженности. Используя понятие формы Спенсера Брауна, о котором я уже рассказывал, можно сказать, что в случае структурной сопряженности речь тоже идет о форме, которая что-то включает, а что-то исключает. Для

этого типа методологии или теоретической ориентации в целом характерен вопрос о том, что в каждом конкретном случае не имеется в виду или исключается, а также вопрос о том, каким образом мы можем себе позволить что-то исключать или игнорировать или же, наоборот, спрашивать о том, что нам это дает.

В отношении структурной сопряженности социальных и психических систем основной тезис, вероятно, заключается в том, что социальные системы сопряжены только с сознанием и ни с чем иным, что, таким образом, коммуникация может быть полностью независимой от того, что происходит в мире, как образуются атомы и молекулы, как дуют ветра и как ураганы хлещут море, или как выглядят буквы, или как шумы складываются в слова. Все это не играет никакой роли; значимо только то, что опосредовано сознанием. А сознание – это, конечно, то, что способно воспринимать. Сама коммуникация, и это нужно всегда четко осознавать, вообще не может воспринимать. Она в некотором смысле функционирует в темноте и тишине. Нужно обладать сознанием, чтобы через восприятие трансформировать внешний мир в сознание, и только после этого сознание может решить затратить кинетическую энергию, чтобы что-то написать или сказать. Сама коммуникация не может ни слышать, ни видеть, ни чувствовать. Она не способна воспринимать. Я не знаю, ясно ли это каждому, кто говорит о коммуникации. Если не уловить суть этого тезиса, то будет непонятен смысл разделения психических и социальных систем. И тогда особенно непонятным будет также теоретическое решение рассматривать сознание прежде всего с точки зрения его функции восприятия и считать главной именно эту функцию, а не мышление. Мышление так легко может ошибиться, что оно вряд ли может служить основой существования сознания или его аутопойесиса, а восприятие – это требующий выполнения очень многих условий, чрезвычайно комплексный механизм синхронного процессирования, зависящий, в частности, от мозга.

Если мы представим себе эту структуру с четким разделением социальных и психических систем, это повлечет за собой изменение классической концепции сознания. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что сознание способно мыслить, и точно так же вряд ли кто-нибудь захочет поспорить с тем, что сознание обладает фантазией, воображением, что оно в некотором роде

способно симулировать восприятие, но даже когда человек думает, чрезвычайно сложно отключить восприятие или даже симулируемое восприятие слов как акустического или оптического явления. Попробуйте как-нибудь подумать какую-нибудь мысль, не допуская влияния того, что вы видите какую-то надпись или слышите какой-то звук. Мышление — это особая функция, которая не осуществляется сама по себе, когда человек с открытыми глазами идет по миру. Мышлению нужно каким-то образом научиться. Но зависимость мышления от восприятия, по-видимому, пронизывает весь процесс мышлеобразования до самых мелочей. Каждый может попытаться выяснить это путем эксперимента на самом себе.

Итак, мы имеем структуру, сообразно которой на коммуникацию можно влиять только через сознание, а не через звуковые явления и не через оптические знаки письма как таковые. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы уяснить себе это. Раньше я всегда предполагал, что существует прямая структурная сопряженность между физическими явлениями, такими как шумы, и коммуникацией. Но я думаю более последовательно было бы утверждать (и вы можете сами в качестве эксперимента поразмыслить над этим), что физика не имеет непосредственного влияния на коммуникацию, разумеется, за исключением деструктивного. Все, что входит в коммуникацию, должно пройти через фильтр сознания в окружающем мире системы. Коммуникация в этом смысле полностью зависит от сознания и одновременно с этим полностью исключает его. Само сознание никогда не является коммуникацией.

Я не знаю, быстро ли вы приноровились к этой запутанной теоретической структуре, но я думаю, что это логически следует из того факта, что в какой-то момент мы начали трактовать самореферентные системы, аутопоietические системы с точки зрения временной операции, а не просто как сеть, структуру отношений и тому подобное. Когда задается вопрос, какая операция производит какую систему, какая операция создает какие системные границы, то диапазон возможностей в структуре теории сужается, и в конечном итоге мы приходим к вопросу о том, нельзя ли с помощью таких понятий, как структурная сопряженность, сделать выводы относительно взаимосвязи сознания и коммуникации.

Если подумать о том, что это дает, то можно увидеть преимущества этой формы структурной сопряженности. Действительно, было бы совершенно немыслимо, если бы коммуникация должна была учитывать все то, что происходит на физическом, химическом или биологическом уровне в участниках коммуникации. Сходным образом дела обстоят с темами, о которых мы коммуницируем. Абсолютно невозможно себе представить, чтобы все условия, которые должны обеспечиваться для функционирования коммуникации в окружающем мире, включались бы в коммуникацию в виде сообщения или информации. Невозможно себе представить, что та свобода, темп, в котором одна тема сменяет другую, и та фантазия, которая может быть присуща коммуникации, когда она контролируется исключительно своими внутренними условиями, исключительно возможностями понимания и принятием или отклонением сообщения (а все это считается эмерджентным уровнем), могли бы быть достигнуты, если бы все это должно было обеспечиваться одновременно в физическом, химическом, биологическом и в полном смысле слова оперативно-психологическом плане, т.е. должно быть включено в операции. Мы имеем дело с исключением практически всего, что происходит в мире, и с компенсацией этого исключения за счет тотальной зависимости коммуникации от сознания, которое, в свою очередь, полностью зависит от собственного мозга, тогда как мозгу, в свою очередь, необходимо, чтобы организм жил, так как он способен пережить свой собственный организм в лучшем случае на несколько секунд. Даже если организм удастся реанимировать, мозг уже восстановить невозможно. Эта структура последовательности структурных сопряженностей с необычными ортогональными соотношениями, с абсолютной зависимостью при абсолютной автономии в оперативном отношении была бы невозможна, если бы не было структурной сопряженности.

Такова теория, которую я хотел вам представить. Если сформулировать это упрощенно, как одновременность полной зависимости и полной независимости, то мы получим парадокс. И, как всегда в случае парадокса, он имеет смысл только тогда, когда известно, как из него выйти. Различение понятий аутопойесиса и структурной сопряженности позволяет придать различию системы и окружающего мира в значении целостности

единства и различия, в том числе в этой искусственной формулировке полной зависимости и полной независимости, удобную для научного теоретизирования форму.

Я придаю большое значение тому, чтобы каждый раз заново проигрывать строение теории, так как одна из целей данного курса лекций – показать своеобразную строгость и своеобразную методику построения теорий, которая среди прочего оказывает также дисциплинирующее воздействие. Начиная работать с определенными понятиями, мы уже ограничиваем свою свободу, независимо от их эмпирической верификации. Хотя, конечно, и я тоже говорю о фактах, например, о том факте, что коммуникация не может воспринимать. Но кто-нибудь может прийти и сказать: «Отчего же!» и показать мне это. В этом случае мы, вероятно, имеем в виду разные понятия и должны это тоже обсудить. Эта не та методика, которая полностью абстрагируется от реальности. Она постоянно контролирует себя в отношении того, что может утверждаться в качестве реальности, однако это происходит не в смысле эмпирической верификации выдвинутых гипотез. И если в эпистемологии и в социологии наблюдается движение в сторону конструктивизма, мы должны быть внимательны и в вопросе построения теории видеть больше методологических проблем, распознавать больше *constraints*, больше ограничений.

Вышеприведенный экскурс должен был объяснить, почему мне представляется целесообразным сделать понятие структурной сопряженности очень сильным – кстати, гораздо сильнее, чем оно было в моей книге «Социальные системы», поскольку тогда мне это не было еще так ясно – и предложить его в качестве замены понятия «субъект». Если коммуникацию, действие или какую-либо операцию атрибутируют какому-то носителю – в таких случаях обычно говорят: «Ведь должен же быть кто-то, чтобы могло состояться действие!» – и ставят вопрос о том, кто же это, имея наготове субъекта, то тем самым перегружают атрибутивный момент теоретической конструкции. Потому что тогда приходится говорить, мол, хорошо, действует всегда человек, коммуницирует всегда ... А тут уже сложнее: два человека или снова один человек? В разделе, посвященном коммуникации, я к этому еще вернусь. Это означает, что [действия] всегда приписывают идентичности, которая должна быть

соответствующим образом сконструирована, должна быть достаточно сильной, чтобы нести соответствующую нагрузку или же она должна очень высоко цениться. Ей должно придаваться огромное значение: «Субъект мы не отдадим, от индивида в теории мы не можем отказаться», пока его нечем заменить. Самый радикальный способ замены заключается в том, чтобы представить себе различие вместо единства и указать на парадокс полной зависимости и полной независимости. Коммуникация протекает только через сознание посредством сознания, но на уровне операций никогда не является сознанием.

От этой исходной формулировки мы приходим к понятию структурной сопряженности и можем закрепить эффект включения-исключения за этим понятием или явлением. Мы можем показать – я имею в виду, показать именно эмпирически, – что коммуникация обращается к сознанию и только к сознанию и поэтому может через сознательные процессы повысить восприимчивость или раздражимость. Это было бы вообще невозможно, если бы коммуникация должна была осмысленно реагировать еще и на физические явления или на химические изменения. Окружающий мир может действовать только разрушительно: достаточно мне пролить чернила на мою рукопись, и текст уже испорчен, но очень маловероятно, чтобы пролитые чернила или огонь добавили к моей рукописи нечто осмысленное. Даже если бы она загорелась, а я хотел бы дописать предложение до конца, я бы, вероятно, не потушил тем самым огонь. Если бы я описывал ситуацию, я бы тем самым не смог помешать огню жечь бумагу. Окружающий мир действительно оказывает разрушительное воздействие, но аутопойесис в ходе эволюции был выстроен и отобран таким образом, что это происходит редко, а если происходит, то все-таки не мешает эволюции. Бывает, книги сгорают, бывает, тексты портятся и их невозможно прочесть, иногда книжки падают в клей или куда-нибудь еще. Потери есть, но, несмотря на это, библиотеки растут, мы имеем доступ к книгам, человеческое мышление идет вперед с помощью книг, наука идет вперед. В этом смысле аутопойесис сильный и жизнеспособный, и только благодаря этому он вообще происходит, но суть в том, что эта дихотомия включения и исключения, эта форма с двумя сторонами включенного и исключенного ведет к уменьшению нагрузки, к высокой индифферентности, а на

внутренней стороне – к увеличению чувствительности. Сложно что-то игнорировать в ходе коммуникации, если это достигает сознания, будучи сказанным. Если коммуникация обращается к сознанию, что не обеспечивается одним фактом его наличия, почти неизбежно приходится заниматься этим явлением и поддерживать сознание в рабочем режиме.

Эти очень формальные рассуждения о структурной сопряженности между психическими и социальными системами еще ничего не говорят о том, как происходит структурное сопряжение. На очень абстрактном уровне это понятие применимо также к отношению между сознанием и мозгом или нейропсихологическими системами и организмом. В чем специфика нашего случая? Каков механизм структурной сопряженности между психическими и социальными системами, между сознанием и коммуникацией? Я попытаюсь ответить: это язык. «Язык» – вот ответ на четко сформулированную теоретическую проблему. Языку явно присуща двусторонность. Он применим как на психическом, так и на коммуникативном уровне и не мешает тому, чтобы оба способа оперирования – а именно распределение внимания и коммуникация – осуществлялись отдельно и не смешивались.

С точки зрения психики, язык – это улавливатель внимания. Язык зачаровывает. Это легко проверить. Сравнительно просто отличить звуки языка от других звуков, кстати, даже в том случае, если это иностранный язык, который вы вообще не понимаете. Если вы слышите звуки, произносимые с определенной постоянной частотой отдельными секвенциями, вы предполагаете, что речь идет о языке. Это может быть и музыка, но больше, собственно говоря, вариантов нет, даже если вы совершенно не понимаете слышимое. Другие звуки – проезжающие машины, шум поднимающегося лифта или что-то еще – никогда не заставили бы вас прислушиваться и попытаться понять, что говорится или что имеется в виду. Кроме того, язык настолько отвлекает, настолько сильно притягивает внимание, что когда говорят, практически невозможно делать что-то другое. Существует – и это довольно странное явление, суть которого я сам еще не уяснил, но которое относится к этому контексту – еще только один-единственный звук, который так же интригует, так же зачаровывает и приковывает внимание. Это телефонный звонок. Не

подойти к телефону просто невозможно. Даже если ты решил не снимать трубку, в конце концов ты это сделаешь, если на том конце провода проявят достаточно терпения. А почему, собственно говоря? Потому что за этим скрывается язык? Я не знаю. Звук телефонного звонка довольно примечателен сам по себе.

Феномен языка, как, я бы сказал, очень немногие звуки, действует зачаровывающее и не дает заниматься другими вещами, когда говорят. Вы можете записывать текст, который я произношу, но если вы сейчас захотите написать новеллу, вам будет тяжело, если я все это время буду что-то говорить. В Вене рассказывают, что, мол, писатели пишут в кафе и им якобы совсем не мешает, когда другие люди разговаривают. Мне это сложно представить. Может быть, это какой-то особый вид дарования или особый климат в этих кафе, в которых писатели и журналисты пишут свои статьи, а другие люди разговаривают, и никаких проблем это не вызывает. Обычно язык требует внимания и отвлекает его на себя, причем не столько благодаря смыслу, сколько за счет отличия в восприятии. Это может быть абсолютно пустая болтовня или что-то, что вы уже тысячу раз слышали, и все равно невозможно не прислушиваться. Во всяком случае если кто-то хочет сосредоточенно заняться чем-то другим, язык отвлекает. Отсюда возникают сложности в поезде, когда ты хочешь почитать или поработать: даже в просторных пассажирских вагонах люди сейчас стали так громко разговаривать, что мне постоянно приходится пересаживаться, чтобы найти такое место, где можно спокойно почитать.

Это одна сторона. Язык зачаровывает и таким образом гарантирует участие сознания, его постоянно сопровождающее присутствие. И наоборот, язык представляется мне незаменимым для передачи или фиксации смысла в коммуникации. Мы могли бы, если бы захотели достичь понимания без языка, вернуться к стандартизированным жестам, т.е. делать определенные, однозначные по смыслу жесты, покачать головой или что-то в этом роде, а помимо этого маленького диапазона возможной невербальной коммуникации есть еще целое множество воспринимаемых сигналов: мы можем наморщить лоб, поднять бровь, пожать плечами или сделать какое-нибудь едва уловимое движение, которое сигнализирует другому: «Осторожно!», «Смени тему!» или что-нибудь еще, но подобные жесты сложно пере-

давать в процессе коммуникации. На вопрос о значении жеста всегда можно возразить, что ты имел в виду не это. Если это не зафиксировано вербально, такое смысловое сообщение не является по-настоящему устойчивым для передачи. Это неудачное выражение, как вы сейчас увидите, потому что я откажусь от метафоры передачи, но без фиксации смысла для повторного обращения в коммуникации не обойтись. Во всяком случае, сложно себе представить, чтобы собственный аутопоисис коммуникации осуществился бы за счет одних невербальных поз и тому подобного. Для стабильности рекурсивного процессирования смысла в коммуникации язык представляется мне обязательным условием. И вы видите, что по сравнению с тем, что я говорил в отношении психических систем, я прибегаю к другому типу операций и к другому виду аргументации, когда рассматриваю коммуникативную систему.

Общий итог этих размышлений таков, что можно предположить, что системы коммуникации и системы сознания развивались коэволюционно в том смысле, что развитие языка выделило сознание в том виде, в каком мы его знаем, из области, наличие которой мы, скажем так, можем предполагать и у животных, тем более зная о тех комплексных функциях восприятия, которые они демонстрируют. С одной стороны, есть сознание в смыслоориентированном понимании, а с другой стороны, есть непрерывная коммуникация, так что нет нужды опасаться попасть в такую ситуацию, в которой никто уже никого не понимает и коммуникация просто обрывается. Коммуникация как аутопоиетическая система достаточно стабильна для того, чтобы пробиться в любой ситуации, что бы ни произошло: крах на бирже, война или что-то еще. Всегда остается еще возможность об этом поговорить, прокомментировать это. Даже если бы большая часть населения исчезла, оставшиеся жители по-прежнему бы говорили об этом и жаловались друг другу на произошедшее. Коммуникация, как и жизнь, — это очень устойчивое и, благодаря аутопоиесису, чрезвычайно эластичное по своей форме изобретение эволюции.

Я думаю, что эта пробивная способность систем, зависящих от смысла, стабильность их воспроизводства возникла в ходе эволюции благодаря языку. При этом я не утверждаю, что сознание или коммуникация сводится к использованию языка.

Это еще вопрос, только ли посредством языка может осуществляться коммуникация; если она уже возникла, тогда есть и невербальные возможности выражения, так называемая непрямая коммуникация. На эту тему проведено довольно много исследований, но невербальная коммуникация возникает только после того, как установилась система коммуникации, которая бы не возникла без языка и которая всегда позволяет переключиться обратно на язык. Точно так же можно было бы сказать в отношении сознания, что функции сознания являются и остаются функциями восприятия, такими же, как они представлены у животных, и чтобы уметь понимать и трактовать восприятие, слова не нужны. Об этом много спорят. Зависимость даже восприятия цветов от словесного выражения исследуется Матураной¹³¹, но как бы мы к этому ни относились, утверждение, что мы можем видеть только то, что можем сформулировать словами, в любом случае было бы неправильным.

С этих позиций я попытаюсь в нескольких словах прокомментировать отношение концепции, согласно которой язык есть структурная сопряженность и именно в этом состоит его задача, его функция, к традиционным теориям языка. Во-первых, это означало бы, что язык не является системой. Язык — это не система. Со времени основания лингвистики как самостоятельной дисциплины, которая по сути была создана Фердинандом де Соссюром на рубеже веков (лингвистика в современном понимании — это всегда соссюровская лингвистика, и не было другого такого случая, когда один автор или один курс лекций — ведь это была даже не книга — в такой степени определили бы целую дисциплину, как это имело место в данном случае¹³²), ученые вслед за Соссюром исходят из того, что язык — это система. Это происходит по самым разным причинам, но всякий раз используется понятие системы, которое не отсылает к операциям, а устроено, я бы сказал, проще: данное понятие системы соотносит друг с другом структуры, грамматику и различия, и при

131 См. Maturana Humberto R., Uribe G., Frenk S. G. Eine biologische Theorie der relativistischen Farbkodierung in der Primatenretina // Maturana Humberto R. Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig: Vieweg, 1982. S. 88-137.

132 См. Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. Публикация Шарля Балли и Альбера Сеше; критическое издание Туллио де Мауро — Paris: Payot, 1972.

этом неясно, в чем заключается операция системы. Соссюр различает «langue» и «parole», произносимые слова и сам язык, но с эмпирической точки зрения остается неясным, в чем состоит базовая операция. Разве что можно предположить, что имеется в виду коммуникация, но это решение заставило бы более четко разделять психическое и социальное, чем это обычно происходит в лингвистике.

Это один момент: язык не является системой. Следующий момент: язык не имеет своего способа оперирования. Не существует языковой операции, которая не была бы коммуникацией или вербальным мышлением. Это связано с глубиной понятия операции и с точностью, с которой формулируется вопрос об эмпирических референциях и о том, что должно быть исключено с помощью данного понятия. То, что язык *eo ipso* не является коммуникацией, связано с тем, что для коммуникации всегда необходимы как минимум два собеседника. Должен быть кто-то, кто может воспринять и понять сказанное. Понятие коммуникации, к которому я скоро перейду, пытается объединить эти два аспекта, тогда как то, что обозначается словом «parole», или словами, имеет тенденцию включать в поле зрения только действие, речевой акт.

Поэтому следующий отличительный момент такой: если ориентироваться на парадигму структурной сопряженности, то употребление языка тоже не является действием, акцией (Aktion), актом. Ведь для того, чтобы продолжаться, язык всегда нуждается в понимании. Различие между теорией коммуникации, во всяком случае, как я ее понимаю, и теорией речевых актов (speech-act-Theorie) или теорией коммуникативного действия заключается в вопросе о том, включается ли понимание в единицу коммуникации. Если коммуникацию понимают как действие, т.е. считают коммуникацией только сообщение (то, что я сейчас делаю), то понимание остается за ее пределами, и теория нуждается в корректировке. Действующий, тот, кто делает сообщение, если он действует разумно, следует условиям понимания. Он не станет говорить то, что, как он знает, не может быть понято. Или, если он заметит, что его не понимают, он не будет, несмотря ни на что, продолжать говорить. Это означает, что получатель сначала исключается из речевого акта или из коммуникации, а потом снова вводится в теорию

исключительно в качестве дисциплинирующего момента. То есть получатель или понимание не предполагаются изначально в самой коммуникации, а являются эффектом, на который рассчитывают. В этом случае возникает вопрос: кто рассчитывает? И тогда, разумеется, снова пришлось бы прибегнуть к субъекту. Человек осуществляет предвосхищающий самоконтроль, следя за тем, понятно он говорит или нет.

Когда я думаю, что отличает нашу концепцию коммуникации от теории коммуникативного действия Хабермаса¹³³, то мне представляется, что существует выбор: с одной стороны, можно понимать язык как действие, не включать понимающего в единицу действия, а встраивать в него элементы дисциплинирования или рационализации, расчет или — как у Хабермаса: нормативные — требования. Действие отягощается необходимостью размышления, подпадает под условия рационализации или нормативные представления, поскольку понимающий — это визави, которого необходимо как-то учитывать. Другая альтернатива — выстраивать теорию таким образом, чтобы понимание в коммуникации уже изначально было бы частью *unit act*, элементарной единицы системы. Тогда мы имеем дело с другой теорией, не обремененной нормативным содержанием и рациональностью. Как мне кажется, тогда нет также необходимости выделять разные типы речевых актов или коммуникативного действия, например, различать между стратегическим действием и действием, ориентированным на консенсус, на понимание, коммуникативным действием в собственном смысле слова, как это делает Хабермас. Тогда мы имеем более емкое понятие коммуникации. Такое сравнение теорий, если видеть в нем хоть какой-то смысл, не очень плодотворно, но оно показывает, что приходится принимать решения и вопрос всегда в том, в какой момент это происходит. Имеем ли мы дело с вопросами идеологии или же тут дело лишь в том, что разные авторы читали разные книги и поэтому считают важными разные вещи? Хабермас ссылается на теории речевых актов, хотя достичь согласованности с Сёрлем, автором этой теории, не так-то просто¹³⁴. Однако по сути вопрос заключается в том, как выстраивается понятие коммуникации, а это связано

133 См. Habermas Jürgen. Die Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.

134 См. Searle John R. Sprechakte: Ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971.

с теорией языка. В переписке, которую я вел с Хабермасом, он упрекал меня в том, что я в системной теории не учитываю достижений лингвистики. И это действительно так. Лингвисты исходят из определенной теоретической опции, из определенного понятийного аппарата, который я не использую, и все это приходится с большим трудом переводить. При этом что-то превращается в банальность, а что-то вообще теряется. Например, нормативную привязанность действующего придется снова вводить, но уже другим путем, не через понятие коммуникации.

Эти несколько замечаний должны послужить отходным маневром и уточнить границы между теориями. Если мы понимаем язык как механизм структурной сопряженности гетерогенных, абсолютно различных систем, то сам язык — это не система, у него нет своего собственного способа оперирования, а способ оперирования — это или коммуникация, или сознательное выявление смысла языка; язык — это также не действие, хотя атрибуции осуществляются относительно действия: сообщение приписывают кому-то и знают, кого нужно спросить в случае несогласия, кого нужно сделать ответственным или кому хотелось бы возразить, т.е. знают, на какие адреса ориентироваться. Это понятно, но речь при этом идет о вторичном феномене в аутопоиссе коммуникации, а не о первичной, базовой, элементарной единице коммуникации. Итак, мы должны отмежеваться от трех обычных аспектов теории языка: от системы, операции и действия.

Но один элемент, может быть, и можно перенять, если — и это опять-таки рассуждение из области теоретической тактики — соответствующим образом его переформулировать. Я имею в виду самое древнее в этом контексте представление о том, что язык — это использование знаков. Итак, язык есть использование знаков. Это представление восходит еще к античности, по крайней мере, к теории стоиков. При этом сначала работали с различениями слова и вещи, *verbum* и *res*. Язык в этом случае есть отображение вещей в сознании и возможность говорить о вещах с использованием правильных имен и правильных обозначений. Уже у Платона и, разумеется, в древней религиозной традиции знание истинных имен вещей всегда было важным качеством мудрецов. Оно требовало некой чистоты — я вспоминаю, что я читал это у Платона: нужно быть чистым, чтобы знать истинные имена. И, конечно же, оглашение имен вещей

было актом творения, который давал человеку жизнь и способность обращаться с миром самостоятельно и вместе с тем дистанцированно. Человек стоял вне и был либо достаточно хитрым, либо достаточно разумным, либо и то и другое, чтобы уметь воспринять дистанцию по отношению к вещам путем манипулирования знаками.

Таким образом, учение о знаках всегда было частью теории языка. Насколько я могу судить, положение изменилось после работ Соссюра или, во всяком случае, с возникновением современной семиотики или семиологии, если придерживаться французского словоупотребления, хотя сегодня французы тоже говорят о семиотике. Семиотика формулирует это еще сложнее, поскольку знак и обозначенное оказываются внутренне присущи языку. Если бы под словами ничего не подразумевалось, то их бы вообще не было, но подразумеваемое — это не вещи вокруг нас. Начиная с Соссюра, развитие шло в направлении конструктивистской теории, которая проводит различие между означающим (*signifiant*) и означаемым (*signifié*) и трактует само это различие как условие оперирования языком и того, что язык сам может делать различия, и реальность не мешает ему в этом. Можно придумать сколько угодно слов, обозначающих яблоко, можно разделить яблоки по сортам, можно придумать слова, обозначающие ветра, погоду и дома. В юридической сфере можно придумать понятия для обозначения форм исков, у которых тогда будут свои названия и которые можно будет различать, если в таком различии будет необходимость. Можно их наращивать, дополнять, различать, уточнять путем дифференциации знаков, но это не будет удваивать или умножать реальность. Вводя новое слово для обозначения определенного сорта яблок, мы еще не получаем яблоки. Скорее, повод для образования нового слова появляется тогда, когда выясняется, что есть яблоки, по вкусу или по времени созревания отличающиеся от других яблок.

Этот конструктивистский поворот в теории языка означает, что теперь перед нами более сложная структура различения и встает вопрос о том, что, собственно говоря, обозначает знак. Он обозначает то, что он означает в употреблении языка, т.е. смысл яблок, но при этом не обращается к самим яблокам. Или же он обозначает, делая тем самым неоднозначной теорию зна-

ков, то, что думал субъект, когда он использовал это слово: он обозначает внутреннее состояние говорящего. Когда кто-то говорит об определенных вещах, то естественно предположить, что он думает об этих вещах. Отсюда амбивалентность референции в употреблении знаков. Это одна из трудностей, которая у меня возникает в связи с теорией знаков, хотя я не то чтобы в курсе всех ее дел, а скорее слежу за ними с удаленных позиций неверующего. Так что отнеситесь к этому как к приглашению самостоятельно ознакомиться с литературой.

Это что касается двойной референции к субъекту и объекту языка. Другой момент, напротив, прочно утвердился в литературе. Его можно реконструировать с помощью теории различения. Начиная с работ Чарльза С. Пирса, американского философа, которого сегодня преподносят как семиотика, ясно, что всегда имеет место триадная структура, т.е., с одной стороны, есть то, что обозначает нечто; затем есть обозначаемое – имеется ли в виду вещь вовне или образ, так что представление, смысловое содержание этой вещи, при этом не играет особой роли; и есть «прагматический» – на жаргоне рубежа веков – эффект, для кого и для чего используется знак, обозначающий нечто. Эта триадная структура, сообразно философским вкусам того времени, была сформулирована в духе прагматизма. Поэтому и сегодня в литературе по семиотике и теории языка по-прежнему встречаются эти вопросы, относящиеся к прагматическим компонентам. Согласно знаменитому делению, синтактика занимается структурой, семантика – обозначением чего-либо, а прагматика отвечает на вопросы «Почему?», «Чего этим хотят добиться?», «Кто хочет это понять?», «Для кого это предназначено?» и так далее.

Эту триадную структуру можно переформулировать с помощью рассуждений о различениях, формах и повторном вхождении (*reentry*), если вы это еще не забыли. Можно представить, что различение означающего и означаемого в качестве различения и есть знак. По-французски или по-английски это легче сформулировать, чем по-немецки, потому что слово «означающее» («*Bezeichnendes*») трудно произносимо. В немецком языке всегда появляется соблазн сказать, что знак что-то означает, и тем самым свести триадную структуру к двойной, к знаку и тому, что обозначается. Но для чистоты теории правильнее иметь триаду терминов, в частности, «*signifiant*», «*signifié*»,

«*signe*» или «означающее», «означаемое», «знак». Если последовательно придерживаться этой терминологии, то понятие знака можно употребить для обозначения – здесь я намеренно говорю: обозначения – различения. Знак есть единство различения означающего и означаемого. Знак одновременно сам является знаком. Слово «знак» есть знак для обозначения единства различения. На основе этого размышления сейчас появляются идеи о семиотике второго порядка. Они весьма интересны, но пока еще находятся в зачаточном состоянии и ограничиваются семиотикой, т.е. пока не могут распознать междисциплинарные связи¹³⁵. С этих позиций следовало бы, наверное, сравнить семиотику второго порядка с кибернетикой второго порядка или с наблюдением второго порядка. Я наблюдаю наблюдателя, я обозначаю знак. И если я говорю, что я обозначаю знак, то я обозначаю различение, которое я или другой использует между обозначающим и обозначаемым. Таким образом, я отсылаю к различению и в этом случае тоже предполагаю теорию слепого пятна. Это означает, что тот, кто использует знак, не может использовать единство означающего и означаемого как единство; ему понадобилось бы понятие знака, чтобы обозначить понятие знака, т.е. чтобы оперировать рефлексивно, как наблюдатель второго порядка.

Тогда – и я уже подхожу к концу этого абстрактного отступления – можно также ввести фигуру *reentry*, т.е. говорить о повторном вхождении различения в различное и сказать, что старое различение *verba* и *res*, т.е. слов и вещей, теперь копируется в язык в виде различения означающего и означаемого. Происходит расстыковка с внешним миром; вместе с Соссюром мы делаем систему безразличной по отношению к изменениям в мире и используем ее только для того, чтобы создавать различия и работать с ними внутри семиотики, внутри учения о знаках, внутри языка. Первоначальное различение, с которым работала старая европейская теория, теперь снова используется только в форме *reentry*, т.е. оперирует исключительно в языковой сфере или в семиотике. Следует полагать, что этот язык совместим с любым внешним миром и реагирует только на внутреннюю не-

135 См. MacCannell Dean, MacCannell Juliet Flower. The Time of the Sign: A Semiotic Interpretation of Modern Culture. Bloomington: Indiana UP, 1982.

обходимость дополнительных или накопленных знаковых запасов. Система сама себя контролирует относительно того, какие слова больше не встречаются, не используются, а какие добавляются, какие референции в языке – и если бы я переводил это на социальные системы, то я сказал бы: в коммуникации – еще имеют значение, а какие нет.

Если это правильное видение ситуации, то в семиотике прослеживается тенденция развития, параллельная тому, что происходит в кибернетике второго порядка или в теории наблюдающих систем, а именно переход к формулировкам, работающим через *reentry*, через повторное вхождение различения в то, что было им различено. В словесной сфере, если исходить из *verba* и *res*, *verba* суть знаки в значении различия означающего и означаемого.

Я сейчас упомянул об этом только потому, что в теории искусства, но также и в других сферах сейчас идет дискуссия о том, как объединить системную теорию с семиотикой. Я думаю, для того, чтобы это действительно можно было осуществить, необходимо снова вернуться к указанному уровню абстракции. Тогда, возможно, результатом этого теоретического строительства станет интеграция, но это всегда связано с соответствующей перестройкой в интегрированных частях. Что это даст социологии, мне самому пока неясно. Я думаю, что для достижения зримого результата еще потребуются многие другие теоретические достижения, и к важнейшим из них относится, несомненно, то, что я связываю со структурной сопряженностью и как раз с теорией языка, а именно эксклюзивность или эффект исключения и эффект повышения (*Steigerungseffekt*), взятые в совокупности.

Это обсуждается на более конкретном уровне, как вы сможете убедиться, если поинтересуетесь, например, дискуссией, которая шла или еще идет в области экологии. При этом нужно исходить из того, что об экологии можно только говорить, однако нам в обществе сложно изменить что-либо непосредственно в экологической сфере, независимо от ритмов коммуникации, от ее медлительности и системной дифференцированности. Система вынуждена оперировать посредством коммуникации, но, разумеется, может переживать катастрофы, которые действуют не через канал коммуникации или возбуждения, а просто вызывают разрушения. Система, как вы можете понять из этого рассуждения, чрезвычайно чувствительна к сознанию. Если

полагать, что любая структурная сопряженность организована через сознание, то способность сознания к восприятию оказывается узким местом: что видит человек, когда он идет по лесу, если он, скажем, не лесник? Видит ли он тогда повреждения деревьев или он их не видит, а если он их видит и идентифицирует как повреждения деревьев, говорит ли он об этом или нет? Если это происходит через сознание и с деревьев просто опадает хвоя, тогда с деревьев действительно опадает хвоя, и только и всего, а если пахнет выхлопными газами, то ими пахнет и не более того. Долгое время считалось, что вонь от выхлопных газов – это свойство машин, а если их много, то вонь тоже усиливается. Эта взаимосвязь казалась нерасторжимой и воспринималась как единое целое. Если же меняется восприятие, то это политическим путем, через социальные движения может вызвать необходимость принятия решения в социальных системах, которые должны справиться с этим опять-таки путем коммуникации и, как можно видеть, им довольно сложно это сделать.

Я привожу этот пример только для того, чтобы показать, что если проследить эти цепочки различений, то довольно быстро приходишь к установлению феноменов, представляющим интерес для всех и в первую очередь для социологов.

Я думаю, что на этом я прервусь. В последующих двух лекциях я намереваюсь представить вам довольно специфические рассуждения об операции, конституирующей социальную систему, т.е. о коммуникации. Во-первых, речь пойдет о том, как мы должны приспособить понятие коммуникации, чтобы оно нам подходило. «Подгонка» (*fitting*) понятий – это одна из техник, на которых я делаю особый акцент в данном курсе. Это не делается произвольно или без учета устоявшихся практик или традиций теоретизирования. В этой области нужно уметь сознательно формулировать опции. Структура теории обязывает нас дать определение операции, производящей социальную систему, а также утверждать, что это может быть только одна операция, что это не может быть смешение операций, так как только одна операциональная форма может производить определенный системный тип. Так же, как жизнь определяется через круговорот биохимических реакций или как сознание определяется через фокус или, лучше сказать, потенциальность внимания, так же и

здесь встает вопрос о том, можем ли мы реконструировать нашу социологию в соответствии с теоретическим предписанием, что это должна и может быть одна и только одна операция. Если мы будем действовать таким образом, то возникает вопрос, что же это может быть за операция. Я думаю, что в качестве подлинно социальной операции годится только коммуникация, так как только коммуникация включает или, если угодно, предполагает в качестве условия своего осуществления одновременное присутствие, взаимодействие как минимум двух систем сознания. Социальность уже встроена в элементарные свойства операции и не является, в отличие от действия, неким эффектом, который может наступить, а может и не наступить. Ну, хорошо, на этом я останавливаюсь и на следующей лекции буду говорить о коммуникации. Тогда и посмотрим, как далеко мы продвинемся в своих выводах применительно к социологии.

VI. Коммуникация как самонаблюдающая операция

Тринадцатая лекция

Дамы и господа, у нас впереди еще две пары, и я снова сужаю круг тем. на этот раз ограничивая его социальными системами. Это не означает, что мы уходим с теоретического уровня – просто возникает своеобразный эффект воронки. После короткого вступления, в котором говорилось о ступоре в развитии социологической системной теории, мы на самом общем уровне обсудили новейшее развитие системной теории в последние 20-30 лет, потом следовала часть, в которой мы, отталкиваясь от понятия смысла и времени, сравнивали психические и социальные системы, т.е. применяли свои познания к двум совершенно различным типам систем, а теперь, в последней части курса, я хотел бы сосредоточить внимание на социальных системах. Это будет своего рода переход к курсу лекций, который, вероятно, будет называться «Социальные системы». При этом те теоретические опции и установки, которые были приняты на прошлых лекциях, остаются в силе. Это относится прежде всего к главному моменту, который в литературе редко встречается в таком явном виде, а именно, что система производится целиком и полностью операциями и таким же образом определяется в наблюдении. Производитель системы – операция, и теорию мы должны разрабатывать таким образом, чтобы она ориентировалась на эту операцию, т.е. системная теория и теория коммуникации должны мыслиться вместе. Ведь, как я уже говорил, эта операция – коммуникация.

Таким образом, системная теория и теория коммуникации оказываются тесно связанными. Это означает, что сначала мы должны обратиться к нашему имеющемуся уже пониманию коммуникации и затем изучить обширную литературу – ведь сейчас уже есть целые кафедры «науки о коммуникации», и самые разные дисциплины занимаются коммуникацией – на предмет используемых в ней понятий, и тогда, как мне кажется, наша позиция будет позицией меньшинства. Дело в том, что вы – а если почитать литературу, то эту точку зрения можно

встретить и там – обычно думаете о коммуникации как о процессе передачи. Вы сами являетесь автором или получателем коммуникации, а другой, ваш партнер, перенимает сообщение, новость, информацию, как бы мы это ни называли. Сначала она здесь, потом она там, а вы активно или пассивно в этом участвуете. В литературе по кибернетике в 1950-х гг. эта предпосылка тоже не подвергалась сомнению. Многие технические исследования были направлены на то, чтобы рассчитать чувствительность к помехам и объемную мощность подобных процессов передачи.

Между тем уже высказывается критика, хотя и скрытая, этой модели передачи. Например, Матурана совершенно однозначно утверждает, что он понимает коммуникацию или использование языка, как он это называет, не как процесс передачи, а как сверхкоординацию координации организмов.¹³⁶ Есть и другие возражения, которые, на мой взгляд, сосредоточены на двух моментах. Один момент, пожалуй, довольно поверхностный. Всегда было очевидно, что в процессе коммуникации никто ничего не отдает. У того, кто что-то сообщает, знание не пропадает из головы. Это не так, как в экономическом процессе: если ты заплатил, то этих денег у тебя уже нет, или если ты переуступил в собственность какую-то вещь, ты уже ею не владеешь. Здесь мы имеем дело с процессом, который явно носит мультипликативный характер. Сначала это есть только у одного, потом это знают двое или больше, или сотни, миллионы, в зависимости от того, какую сеть мы имеем в виду. Даже если придерживаться метафоры передачи, то здесь мы сталкиваемся с необычным процессом передачи, при котором ничто не утрачивается, а только преумножается.

У Грегори Бейтсона в различных работах, статьях, докладах вы найдете идею о том, что в случае коммуникации речь идет о создании избыточности, т.е. излишнего знания, излишнего с точки зрения того, кто хотел бы его узнать¹³⁷. Если А сообщает

136 См. Maturana Humberto R. *Biologie der Realität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000. S. 121 и далее и S. 361 и далее.

137 См. Bateson Gregory. *Ökologie des Geistes: Anthropologie, psychische, biologische und epistemologische Perspektiven*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. S. 524 и далее. [На русском языке см.: Бейтсон Г. Шаги на в направлении экологии разума. Антропология. Избранные статьи. М., 2005].

что-то В, то С может уже спросить об этом или у А, или у В. Если что-то было показано по телевизору, то вы можете спросить об этом практически любого. Создается переизбыток знания, знание преумножает само себя, и, соответственно, увеличиваются показатели забывания или деактуализации коммуникативного содержания. Вчерашнее знание сегодня уже никого не интересует. Это создание избыточности описывает коммуникацию, но ничего не дает для понимания операции. С какой же операцией мы имеем дело? Как мы опишем операцию, которая вызывает этот эффект излишка, а затем – избирательного обращения, т.е. избытка и селекции? Об этом в данных критических замечаниях относительно модели передачи ничего не сказано.

Другая критика менее распространена, но, на мой взгляд, она более существенная. Здесь рассматривается вопрос о том, не предполагает ли модель передачи применительно к наблюдателю или также к участнику, что состояние участвующих лиц известно, т.е. известно, что именно означает знание определенного рода в голове А и что означает знание в голове В. Ведь чтобы иметь возможность установить, что это одно и то же, нужно знать, что там вообще внутри. И если знание в голове В и знание в голове А совершенно различны, то, наверное, в этом случае сложно говорить о коммуникации. Но как вы узнаете, что знает кто-то другой? Или как вы узнаете, что определенная информация, например, на каком автобусе можно доехать до университета, одинаковая у всех? Одни предпочитают ездить на автобусе, другие не любят ездить на автобусе. Одни все время забывают номер, вынуждены спрашивать и злятся на самих себя. У других нет этой проблемы. Чем более конкретно системно-теоретическое представление о системах, чем больше оно соотносится с их конкретными эмпирическими состояниями, тем сложнее представить себе, что существует некое тождество или хотя бы сходство. Или, если сформулировать это иначе, возвращаясь к наблюдателю: конечно, наблюдатель может сказать, что это одно и то же. Так, сообщение о переносе лекции из одной аудитории в другую мы можем рассматривать как полученное нами в готовом виде. У нас состоялась коммуникация, и то, что мы знаем, – это то, что у нас состоялась коммуникация. Я не знаю, как вы воспримите то, что вам придется перейти на другое место, или с какими затратами в вашей психической

экономике связано понимание этого, хотя в прошлый раз было сказано, что лекция состоится в той же аудитории. Мы помним о коммуникации. Почему бы тогда с самого начала не ограничиться коммуникацией, тем более, что если бы коммуникация должна была каждый раз выяснять, в каком конкретном эмпирическом состоянии находятся субъекты, индивиды или целые социальные системы, например, профсоюзы, участвующие в коммуникации, то это бы чрезвычайно ее усложнило. В каком состоянии находился профсоюз в момент подписания договора? Зачем это знать? Скольких трудов это стоило бы и какую задержку во времени это означало бы, если бы нужно было выяснять это как в психической, так и в социальной сфере? Может быть, необходимость постоянно заниматься своими собственными предпосылками загнала бы коммуникацию в тупик? Но, возможно, в этом нет никакой необходимости.

Таковы два аргумента, к которым добавляется третий, но он, правда, отпадает, как только мы переходим к письменной коммуникации. Здесь предполагается, что коммуникация осуществима только при одновременности сообщений и понимания. То есть не бывает так, чтобы я что-то говорил, а другой понимал бы это с определенной задержкой во времени. За счет того, что акустика, звук раздается сразу же, я слышу, как я говорю, в момент своего говорения. Задержка минимальна и не регистрируется психикой. Я исхожу из того, что и вы слышите то, что я говорю, в тот момент, когда я это говорю. Синхронность коммуникации является ключевым моментом по крайней мере для устной коммуникации (а о ней автоматически думают в первую очередь), и по этому моменту можно выявить единство операции. Коммуникация синхронна и происходит в пространстве, которое обозримо или устанавливается посредством коммуникации. Кто бы что ни слышал, кто бы ни сидел перед телевизором, в тот момент, когда что-то говорится, он понимает то, что говорится. Так что, собственно говоря, в дальнейших размышлениях о единстве нет необходимости.

И лишь когда мы задумываемся о том, является ли коммуникацией сообщение из текстов давно минувших дней (когда мы читаем Аристотеля или Гомера, даже не зная наверняка, жил ли он на самом деле), у нас появляется проблема, связанная с установлением единства коммуникации с такими далекими вре-

менами. Но прежде всего здесь идет речь о гарантии единства, а именно о замещении аналитического единства пространственно-временным отношением. Это важный момент в коммуникации, который не очевиден в теории передачи.

Разумеется, любая критика теории или модели работает только в том случае, если есть встречное предложение: если это не передача, то что тогда? В концепции, которую я сейчас хочу представить и которая более подробно рассматривается в книге «Социальные системы», используется классификация, уходящая корнями в античность. По крайней мере, у стоиков она уже была, а в современной дискуссии она стала известна в 1930-е гг., прежде всего благодаря теории языка Карла Бюлера. Затем она переместилась в Америку и там отчасти растворилась в типологии речевых актов.¹³⁸ Суть ее заключается в делении коммуникации на три части, которые по-разному именуются, но в принципе обозначают одни и те же аспекты коммуникации. Договоримся о терминах: я говорю об «информации» (то, о чем идет речь), о «сообщении» и о «понимании». Существуют различные теоретические трактовки этой триады. Если исходить из теории актов, то можно выявить различные типы, в зависимости от того, что выходит на первый план: информация, экспрессивное поведение или получение [сообщения] адресатом. Этому посвящена обширная литература, которую объединяет ключевое слово «speech act». В этой связи можно указать на работы Остина и Сёрля¹³⁹. Впрочем, сейчас это уже развернутая лингвистическая теория, которая во многих аспектах выходит за рамки лингвистики, например, в дискуссии об интенциональности. Здесь мы встречаем представление о том, что данную триаду можно разложить на типы или акты в зависимости от основного элемента. Бюлер говорил только о функциях языка, т.е. не о различных актах, а о том, что язык должен выполнять все три функции: предлагать возможности для сообщения, фиксировать информацию и предусматривать эффекты передачи, праг-

138 См. Luhmann Niklas. Soziale Systeme [F/M 1984], тл. 4; Bühler Karl. Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. Berlin: Fischer, 1934.

139 См. John L. Austin. Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words). Stuttgart: Reclam, 1972; [Рус. пер.: Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Дж. Избранное. М., 1999]; Searle J. R. Sprechakte.

матические эффекты или эффекты понимания.

Если мы сформулируем этот вопрос с точки зрения того, что такое коммуникация, в чем заключается ее единичное действие (unit act), в чем состоит элементарное единство системы, то это различие информации, сообщения и понимания тоже можно использовать, но только в качестве компонентов единства. Это означало бы, что коммуникация возникает только тогда, когда возникает это единство, состоящее из сообщения, информации и понимания — а это маловероятно с точки зрения эволюции. Если вы вспомните наши рассуждения по поводу языка, вам станет ясно, что коммуникация предполагает язык, который, во всяком случае, необходим для того, чтобы она осуществлялась регулярно и не ограничивалась отдельными, всем понятными жестами. Это также означает, что данное единство и его компоненты — информация, сообщение и понимание — не могут появляться изолированно, а всегда представляют собой аспекты оперативно осуществляемого единства, но при этом не являются элементами, атомами или какими-то заданными состояниями, которые нужно просто скомпоновать.

Это можно проиллюстрировать на примере понятия «информация». Здесь мы снова сталкиваемся с теми аспектами, которые разработал Матурана с целью критики общепринятой, в том числе биологической теории информации, в которой говорится, например, о «генетической информации»¹⁴⁰. Информация, если мы рассматриваем ее в этом контексте, — это всегда аспект коммуникации, то, что действует только внутри системы в качестве информации и внутри аутопойесиса тоже функционирует таким образом, что может дать какой-то повод или, другими словами, всегда присутствует, когда нужно придумать следующую операцию. Это сравнительно просто, если поразмыслить над тем, что мы понимаем под информацией. В разговорной речи мы употребляем слово «данные» и «информация», как если бы это было одно и то же, и при этом автоматически представляем себе листочки, записочки, маленькие частички или элементы, передаваемые туда-сюда. Информацию откуда-то получают и передают дальше, предварительно добавив к ней что-то свое, деформировав ее, извратив или сделав с ней что-то еще, но

140 См. Maturana Humberto R. Information – Mißverständnisse ohne Ende // Delfin VII. 1986. S. 24-27.

это всегда своего рода готовый продукт, переходящий из рук в руки. Это, конечно же, вписывается в теорию передачи информации. Однако, если приглядеться повнимательнее к тому, как определяется информация, то можно увидеть, что здесь всегда имеет место удивление или выбор из нескольких возможностей¹⁴¹. Когда мы произносим какое-то конкретное предложение, оно является выбором из множества предложений, которые можно было бы произнести, и этот выбор ограничен тем, что было сказано до этого. Когда мы узнаем новость, например, читаем в газете новость из области спорта, что кто-то выиграл или проиграл или был настолько болен, что не смог участвовать в соревновании, мы с самого начала имеем дело с контекстом, в котором может произойти нечто подобное. Мы не знаем заранее — когда, не знаем — кто выиграет, а кто проиграет, но теннисист не может выиграть футбольный матч, так что горизонты отбора информации всегда каким-то образом и обычно довольно узко определены, и нам не приходится прощупывать весь диапазон возможного, прежде чем мы поймем новость. Речь всегда идет о двухчастном процессе: о диапазоне возможностей и затем об отборе, в соответствии с которым происходит это и ничто другое.

Это, кстати, ведет к отмежеванию понятия «смысл» от информации, о чем я уже говорил в разделе, посвященном смыслу, поскольку информация — это всегда своего рода удивление в результате выбора. Если некто повторяется, то информация здесь в лучшем случае еще содержится в том, что этот некто считает нужным повторять одно и то же. В армии, когда солдату отдается приказ, он всегда должен повторить то, что ему сказали, и тогда информация касается того, понял ли он приказ или нет, или же только делает вид, что понял, подчинится ли он указанию или нет — ну или что-то в этом роде, что может быть информацией в данном случае. Но при этом всякий раз нужно выстраивать новый контекст ожиданий и проводить новую реконструкцию.

Это сильный аргумент в пользу тезиса о том, что все это может происходить только внутри системы, потому что как иначе мы можем гарантировать, что горизонт ожиданий, число возможностей

141 См. определение в: Shannon Claude E., Weaver Warren. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: Illinois UP, 1963. S. 31.

и, следовательно, информативная ценность, эффект неожиданности одинаковы внутри и снаружи или в одной и в другой системе? Если представлять себе некие частички, передаваемые от одного к другому, то это еще можно каким-то образом помыслить, но если более внимательно изучить структуру понятия «информация», эту дуальную структуру горизонта отбора и собственно выбора, то уже сложнее представить себе, как это должно происходить. Тогда, если мы хотим наблюдать, нам нужно уметь распознавать информационный горизонт (а это, разумеется, возможно) для того, чтобы установить, что для конкретной системы является информацией.

Если, к примеру, мы хотим наблюдать за тем, как бывшие социалистические политико-экономические системы создавали информацию об экономике, мы должны видеть, что это делалось посредством производственных планов: столько-то тонн того-то и того-то должно быть произведено и доставлено туда-то. Потом обнаруживалось, что план недовыполнен или что система не работает. Таким образом, плановики рассматривали показатели, которые сами же и задавали, как аппарат для сбора информации. В этом аппарате не было информации об экономической рациональности. Была только информация о плане, и если вы хотите установить, какая информация об экономике обсуждалась в политике, вы должны наблюдать политическую систему. У нас, как мы уже говорили, другие способы получения информации об экономике, но та же самая проблема, только в другой форме. Если мы ориентируемся, к примеру, на показатели безработицы, валовой общественный продукт или стоимость валюты на внешнем рынке, то все это действительно обобщенные экономические показатели, но я не думаю, что крупные предприятия тоже ориентируются на них. Рамки, очерчивающие то, что имеет значение для экономического баланса предприятия и поэтому в значительной мере определяет экономическую рациональность, с одной стороны, и рамки, очерчивающие то, что является политически релевантной информацией из области экономики, с другой стороны, существенно различаются. Нужно всегда знать, каков контекст, исходя из которого данные, раздражения (Irritationen), новости – называйте это как угодно – приобретают информационную ценность.

Теперь мы должны отмотать это обратно к нашему более абстрактному вопросу относительно того, что информация есть ас-

пект коммуникации. Если вы хотите знать, какая именно информация, какие предпосылки и изначальные ограничения горизонта возможностей релевантны, вы должны наблюдать систему, в которой все это эффективно осуществляется. И если у вас другая система, то у вас и другая информация. Это согласуется с тезисом оперативной закрытости и аутопойесиса в том смысле, что информация всегда является внутрисистемным процессом, аспектом операции внутри системы.

То же самое, по-видимому – и здесь не требуется дополнительных доказательств – относится и к сообщению, потому что без сообщения не возникает информации и без сообщения также не возникает понимания. Таким образом, кто-то должен установить сопряженность с информацией и при этом быть доступным для наблюдения. Не думаю, что есть необходимость в более подробном объяснении: вряд ли кто-нибудь может представить себе коммуникацию без сообщения, если согласиться с тем, что речь может идти и о непреднамеренных сообщениях и что конструирование намерений, бывает, требуется для определенных целей, но, как правило, оно не нужно.

Наконец, третий компонент – понимание. Здесь тоже с самого начала очевидно, что понять можно только то, что было сказано, т.е. понимание не является чем-то таким, что может рассматриваться отдельно от коммуникации. Конечно, эту ситуацию можно изменить, если иметь в виду герменевтическое представление о понимании и, следовательно, покинуть сферу используемых для коммуникации тестов и трактовать мир как проблему понимания или что-то в этом роде¹⁴². Герменевтик имеет тенденцию начинать с текста, но потом расширять это понятие далеко за пределы того, что используется для коммуникации. Соответственно, возникает другое понятие понимания. Начиная, самое позднее, с Шлейермахера здесь прослеживается тесная связь с психическим пониманием. Если вы хотите понять, почему кто-то действует так, как он действует, то вам необязательно нужна коммуникация и вы не зависите от нее в своем понимании. Вам необходимы знания, и то, что вы наблюдаете, в частности, поведение, вы должны уметь соотносить с внутренним горизонтом другого, с тем, что

142 См., например: Gadamer Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr 1965. [Рус. пер.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988].

он или она, по всей вероятности, имели в виду и почему он или она видят это так, а не иначе.

Расширение понятия «понимание» допустимо и в других научных контекстах, но если мы хотим создать теорию коммуникации и в этой связи говорим о понимании, мы всегда имеем в виду один компонент, без которого коммуникация не может быть завершена и который способствует ее реализации или актуализации. Здесь, как и в понятии информации, подразумевается не внешнее состояние, т.е. не психическое состояние самого понимающего, а условие продолжения коммуникации. Это означает, что следует различать понимание и непонимание. Если кто-то не понимает того, что было сказано, например, в силу того, что не знает языка, коммуникация не продолжается или продолжается на самых простейших основаниях. Собеседники пытаются говорить по-английски — это тоже не получается, тогда они пытаются изъясняться знаками и кое-как понимают, что не понимают друг друга, и все это может продолжаться довольно долго, если удастся перевести коммуникацию на другой уровень. Однако обычно непонимание служит поводом для встречных вопросов и выяснений внутри коммуникативного процесса, т.е. само, в свою очередь, подпитывает коммуникацию. Если кто-то сказал что-то слишком тихо и остальные услышали, что он что-то хотел сказать, но неотчетливо поняли, что именно, они переспросят, и тогда есть возможность исправления.

Следовательно, понятие понимания включает в себя недопонимание (*Mißverstehen*), коль скоро оно не прерывает аутопойесис. На основании недопонимания можно коммуницировать очень долго. Это совершенно не необходимо и даже сильно обременило бы коммуникативный процесс, если бы всякое недопонимание приходилось прояснять. Иногда это не так важно, поскольку следующий акт так и так определяет [дальнейший ход коммуникации]. Хотя я могу видеть, что я неправильно понял или что есть вероятность, что что-то не так, достаточно просто предположить, что дальше будет так-то и так-то. Или наоборот, тот, кто что-то сказал, замечает, что другой вложил в его слова другой смысл, но он не считает нужным постоянно его исправлять. По характеру или в силу социализации он не склонен учительствовать, а думает так: «Ничего, мы разберемся, несмотря на эти недоразумения». Так что вопрос о том, будет ли продол-

жаться настойчивое докапывание до истины и исправление, когда коммуникация как бы в состоянии простоя направлена на эту проблему, решается внутри системы. Будучи наблюдателем, в этом отношении легко распознать определенные закономерности, если проявить к этому интерес.

После того, как мы рассмотрели три этих компонента, основной вопрос касается того, как конституируется единство операции или что делает коммуникацию единством. Ведь для этого недостаточно просто информации, сообщения и понимания; должно произойти нечто такое, что обеспечит синтез. Как это происходит? Если мы не предъявляем слишком высоких требований к правильному пониманию, полагая, что сообщающий не должен на самом деле обнаруживать свое внутреннее состояние и что необязательно нужно знать, из каких горизонтов осуществляется выбор информации, если согласиться со всеми этими прагматическими послаблениями, по-прежнему остается неясным, как образуется единство. И здесь я начал бы с понимания, что довольно четко отличает нашу теорию от любой теории действия. В структуре теории, которая строится на дифференциалистском подходе, теории различения и концепции наблюдателя, эта триадичность всегда бросается в глаза. С какой стати их три? Ведь мы, как правило, имеем дело с двумя сторонами: хороший и плохой, маленький и большой, общий и особенный и что бы то ни было еще, а третий компонент мы склонны исключать. И вот теперь мы неожиданно оказываемся перед тройственным различием. Как это понимать? Может быть, задача третьего фактора — позволить увидеть два других в диаде, как различение, а потом свести их вместе? Тот, кто любит уровневые модели, сказал бы, что это происходит на другом уровне. Но это не должно нас вводить в заблуждение. Пока мы можем лишь удивляться тому, что создание единства организовано как бы на одном уровне с диадой: что из трех компонентов один, так сказать, отвечает за трактовку диады — различения информации и сообщения — в качестве единства. Происходит своеобразный скачок в единство, обеспечивающий возможность продолжения [коммуникации].

Вы, наверное, еще помните, что при рассмотрении теории знаков или семиотики я столкнулся с аналогичной проблемой. Есть означающее и означаемое, а что является единством это-

го различия? Что такое знак? Здесь мы тоже имеем триаду, которая широко обсуждалась в литературе, начиная с Пирса, и развивалась в направлении прагматики. С точки зрения подхода, основанного на теории различения, дифференциалистской теории и теории наблюдения, обращает на себя внимание то, что один компонент как бы наблюдает два других или, другими словами, занимает в этой модели позицию наблюдателя. Таким образом, если на уровне понимания не будет проводиться различение между сообщением и информацией, коммуникация не состоится. В компоненте «понимание» коммуникация как раз и создает двойственность информации и сообщения, которая и делает ее коммуникацией. Простите мне сложный способ изложения, но я полагаю, что здесь важна точность.

Перед нами вопрос, как возникает единство, и мы не можем возложить ответственность за это на какой-то внешний фактор, который, как высшая инстанция, проявляет благосклонность, вмешивается и соединяет компоненты. Нет, это должно происходить в рамках аутопойесиса в самом способе оперирования. Идея в том, что это достигается в понимании; насколько это понимание эксплицитно, это уже другой вопрос, но коммуникацию мы воспринимаем, только когда видим, что кто-то что-то сказал и что этого «кого-то» и это «что-то» можно различить. Это предполагает, что кто-то говорит о себе, что он говорит: «Ну я сегодня и устал», или «Мне неохота», или «Я очень хотел бы это сделать». В этом случае он сообщает информацию о себе самом, и мы обладаем достаточно изощренным умом, чтобы не принимать информацию, которую кто-то дает о самом себе, просто на веру, а сразу начать думать: как это он сейчас этого хочет? Почему это он в таком состоянии или почему это он обозначает себя как человека, находящегося в состоянии желания чего-либо? Пределы этой изощренности определяются лишь временем и способностью. Если нам это важно, мы можем реагировать весьма утонченно; если же, как это обычно бывает, нам все равно, то и реакция соответствующая.

Мой тезис таков, что различие по отношению к информации и сообщениям в понимании является основополагающим. В противном случае мы переживаем только поведение. Оно тоже может сообщить некоторые сведения о других людях, но это не коммуникация. В понимании достигается взаимосвязь меж-

ду информацией и сообщением, причем в значительной мере за счет языка, потому что если кто-то выражается вербально, ясно, что он хочет сообщить то, что он говорит. Тогда содержание фиксируется благодаря языку, а сам факт говорения показывает, что он хочет это сообщить. Говорение не случается с кем-то, по крайней мере, в нормальном состоянии: человек сам хочет что-то сообщить, причем именно то, что он говорит — с определенными допущениями неточности. Конечно, это может быть ложь, или тот, кто что-то говорит, может дать понять, что на самом деле он хотел бы сказать нечто другое, чем то, что он сказал. Таким образом, мы получаем доступ к тонкостям повседневной коммуникации, но это ничего не меняет в том факте, что синтез достигается в понимании и за счет того, что понимание включает в себя самое себя. Понимание, если угодно, понимает, что оно понимает. Оно понимает, что оно кладет начало чему-то, что речь идет не просто об объяснении мира, а об условии участия в коммуникации или, если смотреть с точки зрения коммуникативной системы, об условии продолжения коммуникации. Если вы извлекли из сказанного недостаточно для того, чтобы самому отреагировать или чтобы следить за дальнейшим ходом коммуникации, вы отключаетесь и сами выводите себя из коммуникации. Тогда коммуникация теряет часть своей мощности в отношении вовлечения (инклюзии) участников. И это осознается в понимании. Мы внимательно слушаем, следим за мыслью, думаем, пускай вяло (конечно, все это зависит от контекста), пускай зачарованно, и постоянно создаем возможность совместно обеспечивать продолжение коммуникации. Это описание кажется психологическим, но и здесь, как всегда, имеется в виду уровень коммуникации. Это означает, что если коммуникация осуществляется, то можно исходить из того, что понимание присутствует в достаточной степени, хотя и всегда с достаточной степенью недопонимания.

В этом заключается причина того, что коммуникацию можно также описать как самонаблюдающую операцию. Вы помните, как абстрагируется понятие «наблюдение». Речь идет об использовании различия для того, чтобы что-то обозначить. Различение, используемое в процессе коммуникации для самонаблюдения коммуникации, есть различение сообщения и понимания. Без этого встроенного самонаблюдения коммуника-

ция вообще не могла бы состояться. Это во многих отношениях нетипичный признак, потому что обычно мы четко различаем операцию и наблюдение. В нормальные жизненные процессы, в биохимические процессы и в органическое поведение самонаблюдение не встроено таким образом. Существуют сложные механизмы обратной связи, которые предполагают возможность дискриминации каких-то состояний. Если называть это наблюдением, то получится другое понятие наблюдения, и тогда можно будет представить себе самонаблюдение, например, иммунной или нервной системы, однако разница очевидна. В коммуникации самонаблюдение неизбежно. Если мы таким образом распределяем понятия, то нам не избежать представления, что операция и наблюдение могут осуществляться только *in actu*, только одновременно. И вопрос в том, для чего это предусмотрено, почему это так или какую выгоду имсет система от того, что оперирует подобными ситуациями.

Ответ на эти вопросы связан с вопросом о том, чего добивается коммуникация, к чему она приводит, каков эффект или функция коммуникации. И здесь мы снова сталкиваемся с ситуацией четкого расхождения – с одной стороны, обычного понимания, общепринятых воззрений и, с другой стороны, распространенной теории, утверждающей, что смысл коммуникации заключается в установлении согласия (консенсуса). Согласно этой теории, речь здесь идет о попытке кого-то в чем-то убедить. Человек пытается что-то передать, перенести какую-то информацию, которой он сам обладает, в голову другого человека и потом считать эту же самую информацию отправной точкой для общего мировоззрения или совместного действия. Функция коммуникации здесь состоит в установлении согласия. Поскольку обычно это сделать не удается или это сложно проконтролировать, это превращают в норму, утверждая, что даже если этого не происходит фактически, все равно так должно быть. Люди стремятся к взаимному согласию. И только это является «коммуникативным действием» в терминологии Хабермаса: существует много разных типов коммуникативного поведения, но коммуникативное действие всегда ориентировано на достижение консенсуса¹⁴³.

143 См. Habermas J. Die Theorie des kommunikativen Handelns [F/M 1981].

Если же исходить из концепции аутопойесиса, то становится страшно при мысли о том, что же произойдет, когда консенсус будет достигнут. Тогда, по идее, коммуникативное действие тоже должно прекратиться. Хельмут Шельски однажды задал этот вопрос Хабермасу: «Что будет после достижения согласия?» Разумеется, по мнению Хабермаса, в мире столько проблем, что невозможно себе представить, что мы когда-нибудь придем к полному согласию всех людей по всем вопросам. Жизненный мир как предполагаемый консенсус по-прежнему содержит в себе такой объем разногласий, что угроза того, что когда-нибудь мы сможем удовлетворенно откинуться в кресле и сказать: «Ну вот мы этого и добились, теперь в коммуникации нет необходимости, теперь мы единомышленны», вряд ли существует. Но если проблемы комплексности или объема настолько ужасны, настолько драматичны, то какой тогда смысл требовать противоположного и таким образом встраивать в понятие коммуникации стремление к консенсусу, как будто все остальное уже и не является коммуникацией? Почему мы превращаем невозможность в норму? Иначе говоря, кто скажет нам, в каких случаях это должно осуществляться, если оно не может осуществляться ни в каких случаях?

Эти представления связаны также с «коммуникативным действием» и с представлением о действующем лице как о ком-то таком, кого можно подвести под нормы, т.е. кто соответствует нормам и в процессе коммуникации ориентируется на взаимопонимание, на консенсус, или наоборот, не ориентируется на него, но в обоих случаях совершает действие по своему усмотрению. В своем коммуникативном действии он ориентируется на норму.

Но все меняется, когда мы встаем на другую почву и говорим, что коммуникация есть отдельный независимый процесс, который хотя и может определять сообщение как действие, но этим не исчерпывается коммуникация в целом, а в лучшем случае только обозначаются адресаты (К кому мы должны обратиться, когда возникнут какие-то сомнения? К тому, кто это сказал!) или ответственность (Кто обработал информацию таким образом, что мы на нее купились, а потом выяснилось, что все было искажено, что-то важное упущено, риски недооценены или как это еще называется сегодня?). Коммуникация – это процесс, поднявшийся над действием; он атрибутирует, приписывает, конструирует

действия, но сам действием не является. В таком случае отпадает и представление о том, что [коммуникативное] единство можно осуществить в качестве действия и что это дает возможность нормативного контроля над тем, является ли какое-то действие стратегическим или инструментальным, происходит ли ущемление чьих-то прав или все было этически корректно, имеет ли место ориентация на категорический императив или нет.

Чтобы четко показать вам разницу, скажу, что вместо этого теория, считающая завершением коммуникативного акта, единого коммуникативного события, коммуникативной операции понимание, оставляет абсолютно открытым вопрос о том, что происходит после этого, а особенно вопрос о том, какой будет реакция на понятое – «да» или «нет». Ведь для чего тогда в нашем языке существует слово «нет»? Результат – не консенсус в нормальном или идеальном случае или его отсутствие и досадные отклонения во всех остальных случаях. То, что возникает в результате, – это бифуркация. Процесс, достигший точки понимания, может или принять то, что понято, в качестве предпосылки дальнейшего коммуницирования, или отклонить. Сначала коммуникация, если понимать ее совершенно абстрактно, без добавлений вроде указания на истинность, открыта в отношении «да» или «нет». Было бы скверно, если бы коммуникация уже сама по себе дискриминировала «нет» и склоняла бы нас к тому, чтобы считать ее правильной просто в силу того, что это коммуникация. Хотя впоследствии это было изобретено под видом риторики или техники убеждения – я к этому еще вернусь. Опция «да или нет» открыта. Это означает, что результат сообщаемой информации – или «да», или «нет» – включен в качестве предпосылки последующей коммуникации.

В книге Джеймса Г. Марча и Герберта А. Саймона об организации, которая была издана в 1958 г. и стала классической в теории организации, основанной на концепции принятия решений, есть одна или полторы страницы о поглощении неопределенности («uncertainty absorption»), где говорится о том, что информация обрабатывается, что результаты сообщаются и что другие, окружающие, ориентируются только на результат, а не на источники, из которых были сделаны выводы¹⁴⁴. Это касает-

¹⁴⁴ «Поглощение неопределенности имеет место тогда, когда из совокупности данных сделаны выводы и предметом коммуни-

ся организаций, и возможности обобщения этой идеи пока не обнаружены. Но мне кажется, что эта мысль имеет большой радиус действия и в данном контексте может помочь нам продвигаться дальше. Поглощение неопределенности означает, что у нас обычно нет возможности всякий раз начинать с самого начала, всякий раз спрашивая у говорящего, почему он сказал именно это, а не что-то другое, каким был его горизонт выбора и так далее. Мы не можем каждый раз зарываться в то, что уже прошло. Время убегает от нас, но мы можем сказать «да» или «нет». Поэтому нам, по-видимому, уже не нужно заниматься изысканиями, каким образом что-то состоялось, почему информация стала текстом или была произнесена вслух, почему это теперь стоит на повестке дня, приводится как факт и так далее. Вместо этого мы можем сказать, что мы этому не верим или попросить объяснений в каком-то ограниченном объеме. Но сам процесс коммуникации в каком-то смысле спешит вперед. Он всегда разворачивается последовательно. Он не может постоянно запутываться в самом себе. Так что опция да/нет является совершенно абстрактной; она сокращает коммуникацию и предопределяет последующие шаги – в зависимости от того, продолжается ли коммуникация и дальше в русле сказанного «нет» и развивается в сторону конфликта или же, невзирая на сказанное, сообщение берется за основу для дальнейшей коммуникации.

Кстати, есть очень хорошее определение «авторитета», которое я как-то предложил Хабермасу в качестве замены его трактовки «господства». Его автор – Карл Иоахим Фридрих, а найти его можно в первом томе «Nomos», американском издании материалов конференций, где авторитет определяется как «capacity for reason elaboration», т.е. как способность указывать причины, которая, однако, действует уже в качестве способности¹⁴⁵. Если постоянно спрашивать, какие есть причины для того или иного, а потом искать причины уже полученного обоснования, неизбежно столкнешься с невозможностью бесконечного уг-

кации становятся уже эти выводы, а не данные как таковые».

См. March James G., Simon Herbert A. Organizations. New York: Wiley, 1958. P. 165.

¹⁴⁵ См. Friedrich Carl Joachim. Authority, Reason, and Discretion // Friedrich Carl Joachim (Ed.) Authority (Nomos I). Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1958.

лублиния в прошлое. В этом случае авторитет служит поглощению неопределенности, своего рода упрощению, которое позволяет продолжать коммуникацию на основании допущения, что кто-то может указать причины, почему он выбрал эту тему, а не какую-то другую. Можно спросить, сможет ли Хабермас, если он уже обходится без господства, т.е. без потенциала давления, обойтись и без авторитета. Эти идеи об авторитете и поглощении неопределенности, об упрощении и редукции комплексности как предпосылки дальнейшего аутопойесиса, т.е. присоединения операций должны, на мой взгляд, занять основополагающие позиции в теории коммуникации. Сюда же относится опция *да/нет*. Она выполняет направляющую функцию в отношении дальнейшей коммуникации, но, как правило, не приводит к тому, что участники коммуникации еще раз повторяют или просят других повторить или расширить основания, т.е. процесс поглощения неопределенности как таковой.

Для такой обратной перемотки коммуникации может быть два разных повода: неправильное понимание и отвержение. На неправильное понимание тот, кто считает, что его неправильно поняли, может отреагировать, дав разъяснения. Он может как бы приостановить процесс и сказать: «Я уже вижу, что мои слова неправильно поняты; вообще-то я хотел сказать то-то и то-то». Или наоборот, он реагирует на «нет», задавая встречный вопрос: «Почему ты это отвергаешь?». Или же он предвосхищает «нет» в своем сообщении и уже заранее приводит аргументы, преодолевающие вероятное «нет», которого он опасается или которое считает возможным. Но все это лишь модификации ключевой фигуры – бифуркации. Мой тезис заключается в том, что существует связь между аутопойесисом, т.е. открытостью непрерывного продолжения (*Immerweitermachen*) и нелинейностью присоединения операций, в соответствии с которой коммуникация не протекает всегда в одном и том же русле, а всегда имеет две возможности. Это упрощение за счет бинарности служит компенсацией непостижимой сложности самого процесса.

Но если это так, то возникает вопрос, не должно ли в итоге получаться равномерное распределение «да» и «нет»? Почему же тогда «да» больше, чем «нет»? И так ли это на самом деле? Как направляется эта опция? Этот вопрос можно проработать с разных точек зрения. Одна возможность заключается в утверж-

дении, что коммуникация с точки зрения логики начинается, если можно так сказать, с понимания, а не с сообщения. Тот, кто что-то сообщает, уже заранее предугадывает, будет ли он понят и будет ли то, что он скажет, приятно или неприятно, приемлемо или неприемлемо. Так что в сообщении условие понимания циркулярным образом уже предусматривается; участники в достаточной степени социализированы и сам процесс коммуникации достаточно прозрачен, чтобы можно было оценить, будешь ты иметь успех или нет. Я думаю, что эта предпосылка является базовым условием коммуникации, потому что в противном случае вероятность того, что будет достигнуто понимание, которое не будет постоянно вызывать несогласие, действительно ничтожна. Потому что всегда приходится исходить из того, что сколько людей, столько и разных умов; и что процесс коммуникации всегда избирателен вследствие того, что он трактует информацию, а за счет того, что он трактует смысл, он всегда указывает на выбор из других возможностей, которые тоже представлены в коммуникации. Как бы это работало, если бы в коммуникацию не был включен своеобразный упреждающий самоконтроль?

Это тем более относится к элементарной ситуации интеракции. Если коммуникация происходит между присутствующими, довольно скоро можно заметить, доходят твои слова до другого или нет. Некоторые люди невосприимчивы к этому, но и они когда-то замечают, что их слова не доходят до других, и могут по выражениям лиц приблизительно определить, как идет разговор – нормально или нет. Интеракция, одновременность и восприятие, которое тоже имеет значение, представляют собой некий контроль за тем, что то, что говорится, допустимо, или что можно понять, когда участники настроены на конфликт. Это, разумеется, тоже вполне возможно с точки зрения интеракции. Всю коммуникацию можно выстроить в направлении конфликта. Мне кажется, это тоже понятно и тоже работает в рамках коммуникации. Приятно это или нет и какие это может иметь последствия – это уже другой вопрос, но пока мы остаемся на уровне процесса коммуникации, «нет» или конфликт здесь вполне понятны. Если имеет место непонимание, то коммуникация так и так прекращается, независимо от того, приятно это или нет и как это идет – через «да» или «нет».

Эта нормальная ситуация (и сейчас я вынужден забежать вперед, к завершающей части сегодняшней лекции), пока не появляется письменная коммуникация. Это само по себе странно, но я, как уже было сказано, очень скоро к этому еще вернусь. Пока же нам достаточно знать, что несколько тысяч лет назад возникла письменность и люди привыкли (потому что сначала это было не так) использовать ее в том числе в целях коммуникации, а не только для фиксации текста. Тогда мы имеем ситуацию, в которой тот, кто пишет, остается один. Вы можете заметить это в любой ситуации, когда вы сидите вместе с другими людьми и вдруг начинаете писать, пишете все больше и больше, а остальные сидят и ждут, когда вы закончите и снова будете доступны для коммуникации. Письмо, как и чтение, изолирует. Со своим текстом можно быть только один на один. Другие при этом не играют никакой роли. Возможно ли это в ситуации интеракции, это другой вопрос. Иногда это позволительно, как сейчас, когда вам, разумеется, разрешено записывать. Иногда это сложно делать. Но, конечно, особенно интересна возможность изготавливать текст, когда никого нет рядом и никто не протестует, никто не исправляет, никто не вмешивается. И наоборот: впоследствии хорошо иметь читателя, для которого верно то же самое, читателя, который задумывается над своими собственными мыслями, который может нормально читать, который обнаруживает противоречия, неправдоподобные пассажи и так далее.

Есть интересные романы на основе любовных писем, в которых рассказывается о соблазнении в процессе переписки¹⁴⁶. Дама получает письмо, в котором сигнализируется известный интерес. Она возмущена и не отвечает. Потом приходит второе письмо. Кавалер хочет осведомиться, получено ли первое письмо, и она пишет: «Да, письмо получено, но я прошу вас немедленно прекратить переписку». А потом приходит следующее письмо: «Большое спасибо за Ваш ответ». Она прячет все в свою шкатулку, снова и снова перечитывает эти письма, по крайней мере, он на это надеется, и когда-нибудь она оказывается в ситуации, когда ей нужно сказать «да» или «нет». И в

146 См. Friedrich Carl Joachim. *Authority, Reason, and Discretion* // Friedrich Carl Joachim (Ed.) *Authority (Nomos I)*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1958.

этих французских эпистолярных романах любой выбор будет роковым: если она скажет «да», она будет несчастна, потому что, разумеется, он не даст ей той стабильности, какую обещал, а если она скажет «нет», она тоже будет несчастна, потому что все время будет думать об упущенной возможности. Это основано; темой этих романов является соблазнение через письменный текст. То, что можно соблазнить миловидной внешностью и любезностью в кругу присутствующих, это другое дело, это само собой разумеется, но то, что это работает и через письменный текст, это интересно. В соблазнении через письмо выбор между «да» и «нет» приобретает уже другой оттенок.

С точки зрения истории культуры, наверное, можно было бы сказать, что письменность подтолкнула не только к более точному выражению (к этому я еще вернусь), но и к тому, чтобы преодолеть новую вероятность «нет» – почему я должен воспринимать текст, когда он лежит передо мной, как информацию, которую я могу использовать? – посредством контрмер. Это может быть, например, связанная форма в поэзии, ритмика или, как сказал бы Платон, рапсодическая организация, напевное течение, которое, как в устной коммуникации, подхватывает в свой ритм, и человек уже особо не задумывается, а в конце концов принимает все как есть. Или же это достигается с помощью изощренной риторики, которая возникает в то же время, после установления алфавита. Здесь язык, как правило, на основе написанных ранее текстов стилизуется для достижения большей убедительности, т.е. так нагружается мотивами, выражениями и так далее, что есть надежда услышать скорее «да», чем «нет», и это даже в том случае, если мы говорим о речи в суде или когда приходится рассчитывать на столкновение противоположных интересов и сопротивление. Эта риторическая традиция, как предстоит узнать некоторым из вас, сыграла огромную роль в европейской истории в качестве воспитательной программы, своеобразного тренинга ораторского мастерства для дворянства, которое должно было уметь отстаивать свои интересы не только при помощи оружия, но и при помощи слов. Главный вопрос заключался в том, должен ли оратор обладать знаниями, может ли он использовать дезинформацию или он может иметь успех просто в силу большего знания. В этой связи стоит упомянуть, например, Цицерона или Квинтилиана.

Но это только одно направление реакции на письменность — в области устной речи. Когда появляется письменность, устность вынуждена формировать себя заново, и в связи с этим возрастает вероятность «нет». Другие возможности лежат в сфере, которую я называю «символически генерализованные медиа коммуникации». Здесь речь идет о символах, которые обуславливают, что можно сказать, чтобы мотивировать. Таким образом, в саму коммуникацию встраивается новое равновесие обуславливания (*Konditionierung*) и мотивации. Обуславливание означает, что власть имущий должен уметь угрожать, держать наготове возможность физического насилия и уметь это убедительно показать, и тогда он сможет формировать у подчиненного мотивы покорности, неудобного послушания, которые он желает получить, но которые не возникают сами по себе. Или деньги как другой медиум, в котором человек предлагает оплату, чтобы получить что-то взамен, что в другом случае он бы не получил. Или же истина как возможность добиться признания нового знания, не того знания, которое было и так уже известно всем и каждому, а нового или невероятного знания. Тут нужно иметь доказательства или аргументы, нужно уметь что-то показать. Так что дискурс истины тоже является обусловленным в направлении преодоления сначала высоковероятного «нет», когда речь идет о нововведениях или об отклонении от привычного понимания, например, когда в античной Греции религиозно ориентированная медицина была дополнена эмпирической естественнонаучной медициной.

Важно то, что этот параллелизм предупреждающего контроля, который необходим всегда, и повышения шансов на положительный отклик мы можем осмыслить с помощью одной-единственной теоретической концепции, а именно с помощью теории бифуркации, равномерного распределения «да» и «нет», и представления о том, что коммуникация происходит и в том случае, когда еще не решено, для чего ее используют, направлена ли она положительно или отрицательно, есть ли потребность в ней как в основе для следующей коммуникации или нет, и что это повторяется в каждом акте. Как только добавляется новая коммуникация, снова образуется эта вилка, и мы снова можем сказать «да» или «нет». Мне представляется, что эта ситуация была своего рода программой культурной эволюции в

том смысле, что приходилось постоянно прилагать усилия для уменьшения вероятности несогласия, хотя поначалу эта вероятность высока. В этом месте теория переходит в историческое исследование, посвященное вопросу о том, каким образом формируются политика или экономика, которая впоследствии в какой-то момент уже может работать с чеканными деньгами.

Это было первое размышление по поводу реакции на *да-нет*-бифуркацию. Другой вопрос, о котором я сейчас лишь упомяну, но над которым, на мой взгляд, стоит подумать ввиду сегодняшней ситуации, касается того, можно ли достичь рефлектируемого понимания на основании «нет»: нет ли в политической сфере, но также, например, во всех вопросах, касающихся брака, возможности позволить другому человеку придерживаться своих убеждений, не обращать его в свою веру, не принуждать его к чистосердечному «да», а достичь такого взаимопонимания, которое как бы нейтрализовало именно эту толерантность «нет» на данный момент и впредь до отмены. «Нет» сохраняется в качестве вероятности, но достигается взаимопонимание: мы будем делать то так, то так. Правым будешь считаться то ты, то я. Мы настолько повышаем неопределенность в отношении правильного, что сделать что-либо становится возможным только с прагматических позиций и что, в конечном итоге, это безразлично, коль скоро позиции остаются опровержимыми. Мне кажется, такие построения сегодня начинают появляться в сфере исследования рисков.

Алоиз Хан недавно снова делал доклад в Билефельде по результатам своего исследования брака, а именно панельного исследования молодоженов, основанного на технике циркулярного вопроса: «Как ты считаешь, что думает твой муж (твоя жена) по этому вопросу, и считаешь ли ты, что он или она думает то же, что и ты?»¹⁴⁷ Результаты этого опроса показали большие расхождения при действующем взаимопонимании. Очевидно, молодые пары нашли возможность забывать или игнорировать, что они на самом деле думают о том, что думает другой. Они уже не договариваются на этом уровне, а говорят совершенно конкретно: «Значит, сегодня мы идем в кино»; или: «Сначала

147 См. Friedrich Carl Joachim. *Authority, Reason, and Discretion* // Friedrich Carl Joachim (Ed.) *Authority* (Nomos I). Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1958.

нужно заплатить за это, а потом за то», или решают таким образом какие-то другие вопросы, возникающие в семейной жизни.

В Санкт-Галлене в Швейцарии проводится исследовательский проект по особому методу риск-менеджмента – диалогу, на котором встречаются представители промышленности, страховых компаний, политики или активисты гражданских инициатив или просто какие-то люди, заинтересованные в протесте. Там тоже исследуется вопрос о том, можно ли выработать такую политику или линию коммуникации, при которой каждый участник будет соглашаться с тем, что другой думает иначе, чем он сам¹⁴⁸. Взаимопонимание строится по аналогии с прогнозом: будущего не видно, но зато видна та точка, в которой его необходимо изменить. Участники четко проговаривают, на каких предпосылках основывается их консенсус («При таких-то и таких-то условиях – то-то и то-то»), составляют сценарий – можно назвать это как угодно – и затем договариваются о следующих шагах. В дальнейшем они могут вспомнить, что основанием сделки было то-то и то-то и теперь это основание «отпало», если использовать юридическую формулировку.

Так что вполне возможно, что наша прежняя, если можно так сказать, культурная программа риторики, техники убеждения, аргументации, господства, денег или даже любви (как коммуникативного явления) достигла своих пределов и теперь нам придется с трудом учиться работать с таким взаимопониманием, которое не задумано как воздействие на фактические мнения. В свое время люди с таким же трудом учились религиозной толерантности.

А теперь я хочу сказать еще несколько слов об устности и письменности, чтобы уже сегодня пройти этот раздел. Я полагаю (во всяком случае, так мне подсказывает мой обычный опыт), что когда речь идет о коммуникации, вы тоже всегда представляете себе двух человек. Один что-то говорит, другой слушает и потом тоже что-то говорит, и тогда первый, в свою очередь, слушает. То есть вы представляете себе устную коммуникацию. Насколько я знаю историю слова «коммуникация», оно всегда фокусировалось прежде всего на этом. То, что Аристотель об-

щается со мной, является скорее кабинетным представлением и вряд ли сможет стать частью обычного разговорного языка. Это характерно и для начала Нового времени. Я имею в виду те пассажи у Галилея, где он выражает свое удивление по поводу того, что благодаря книгопечатанию – тогда речь шла именно об этом – мы общаемся с индийцами, с теми, кто уже давно умер, и с теми, кто еще даже не родился. Его удивление обусловлено тем, что обычная ситуация устной коммуникации этого лишена. Как я могу говорить с кем-то, кто еще даже не родился? Как я могу услышать то, что сказал Данте? Отсюда возникает вопрос, как мы приходим к такому понятию коммуникации, которое охватывает и этот феномен? Или же мы будем считать это «паракоммуникацией», т.е. не коммуникацией в собственном смысле слова? Я не знаю, удалось ли Хабермасу включить письменность в свою теорию коммуникации. Действительно ли он полагает, что вся масса текстов читается? Но кто что читает? Ведь по сути коммуникация, согласно Хабермасу, должна гарантировать, что все как минимум читают одни и те же тексты, но этого невозможно добиться даже в рамках одного семинара, не говоря уже обо всем человечестве. Собственно говоря, вся письменная коммуникация ускользает от этих рассуждений и модельных построений.

Но чего же в таком случае достигает письменная коммуникация? Ее достижение заключается в том, что исчезают пространственные и временные границы, что в принципе, если текст стабилен по своим физическим свойствам, не распадается и не разрушается, можно вступить в коммуникацию с удаленными территориями. Сейчас, конечно, это можно сделать и по телефону, но вы видите, что посредством факса это снова обретает письменную форму, потому что люди ведь никогда не берут трубку, когда им хотят дозвониться. Их тогда просто нет на месте, а факс быстро приходит им на аппарат. Таким образом, письменность преодолевает большие расстояния и, разумеется, временные дистанции, если вспомнить о книгопечатании и тому подобном. И теперь возникает вопрос, не теряется ли при этом единство? Вы помните, что я определил единство [коммуникации], исходя из понимания и предвосхищения (антиципации) понимания. Тот, кто делает сообщение, должен позаботиться о его понятности. Если он с трудом манипулирует лингвистически воз-

148 Königswieser Roswita, Haller Mathias, Maas Peter, Jarmai Heinz (Hrsg.) Risiko-Dialog: Zukunft ohne Harmonieformel. Köln: Deutscher Industrieverlag, 1996.

возможным, коммуникации довольно скоро наступит конец. Но что происходит с антиципацией понятности, с антиципацией горизонта приема, условий смысла, при которых коммуникация может продолжаться, если речь идет о веках или о передаче в абсолютно случайные, неизвестные горизонты приема? Коммуникация через время и расстояния происходит как бы на авось или наугад.

Существуют различные возможности представить себе эту ситуацию. Одна из них заключается в том, что всегда есть специфицированные способы коммуникации. Например, наука разделена таким образом, что ты всегда точно знаешь: ты что-то прочитал и получателей своих собственных творений представляешь таким образом, как будто они тоже это читали и имеют соответствующую подготовку, и поэтому не разбрасываешься на другие дисциплины. Этот принцип действует не только в науке. Если посмотреть на экономику, то у отдельных фирм есть свои рынки, они знают эти рынки и их представителей и на других рынках вообще не смогли бы действовать. Условия коммуникации высоко специализированы. Это одна из сложностей, возникающих при перестройке экономики, скажем, при переводе военно-промышленных предприятий на выпуск товаров потребления: они просто не знают тех, с кем вступают в коммуникацию, не могут оценить условий приема их продукции, платежеспособность, критерии выбора и так далее. Для них это неизведанная территория.

Такие вопросы можно в какой-то мере скорректировать путем спецификации, но, наверное, еще важнее, чтобы тексты были поняты сами по себе. Есть много исследований о том, как письменность и впоследствии книгопечатание повлияли на грамматическую структуру текстов и предложений, и они показывают, что предложения должны быть поняты сами по себе или из предыдущих и последующих предложений, но не зависеть от ситуативных референций. Конечно, есть книги, предназначенные для специалистов. Это как раз случай первой группы коррективов, но и они не должны быть напичканы «indexical expressions», как это принято называть. У нас уже был один такой пример, когда я говорил об идее времени у Аристотеля, у которого в тексте еще используются такие слова как «вместе с тем» (zugleich), а «теперь» субстантивируется в «to nu» («das Jetzt») и так потом и встречается в тексте, и тогда приходится

усиленно размышлять над тем, что же такое существительное «теперь». Но когда говорят: «Теперь уже без пятнадцати шесть», все знают, что имеется в виду. Такого рода намеки на ситуацию должны исчезнуть, текст должен строиться совершенно иначе. Это одно из тех явлений, которые встречаются в школе или у людей с низким уровнем формального образования: у них еще есть ситуативные референции и они даже не замечают, что другой человек, с которым они говорят, вообще не понимает, о чем речь. Они привносят в предложения типичный язык низших слоев общества, эту неписьменную культуру и жонглируют такими словами, как «теперь», «вот только что» или «эта штука». При этом неизвестно, о какой штуке идет речь, и это дает понять, что они были социализированы не через письменную речь. При общении с крестьянами, живущими в швейцарских горах, мне бросилось в глаза то, что они в своем швейцарском немецком тоже пропускают глаголы и существительные, если смысл и так ясен; и если вам вообще удастся расслышать хоть что-то, то получаются совершенно неполные предложения, но этого, очевидно, достаточно для их коммуникации между собой. Это показывает, как письменная культура – а часть пожилых крестьян практически не ходила в школу, потому что летом они должны были быть на пастбище – проникает также в обычную членораздельную речь, так что нужно быть понятным для людей, которых ты не знаешь, и использовать такую же речь и для следующих поколений и людей, от которых нас отделяют большие расстояния. По этим вопросам сравнительно много написано. По средневековым текстам, возникшим из традиции устного рассказа, можно увидеть, что они предполагают знание рассказываемой истории. Слушатели уже слышали ее тысячу раз. *Chansons de gestes* или известные вам истории о Роланде¹⁴⁹ – вся их заслуга состоит в украшении деталями. Что-то добавляют, история удлиняется в том или ином направлении, а потому, как создаются тексты, можно понять, что создатель не рассчитывает на их распространение через книгопечатание. Так что письменная коммуникация имеет иную структуру, и этой структуре понадобились столетия, чтобы утвердиться.

149 «Песнь о Роланде» – самая древняя из так называемых «Chansons de gestes» – рыцарских поэм французского средневековья.

Последний и совершенно открытый вопрос, на который я не знаю вообще никакого ответа, касается того, можно ли еще говорить о коммуникации в случае отказа от последовательности (Serialität), когда у нас есть компьютерные информационные системы, в которых мы от случая к случаю что-то выискиваем и затем сами по-новому это комбинируем и в которых одно предположение не следует за другим, а информация уже есть, и затем просто дается спектр ссылок на другую информацию. Человек сидит, прокладывает себе траекторию и выводит на экран то, что ему нужно, и при этом уже не может провести различие между информацией и сообщением. Таким образом, мы снова оказываемся наблюдателями первого порядка. Мы нажимаем на определенные клавиши, появляется определенный текст, который нужно прочитать и потом что-то из него сделать, может быть, вернуть его обратно в машину. Новый текст в этих современных гипертекстуальных системах не подписывается новыми именами, и таким образом формируется множество стимулов с огромным скрытым поглощением неопределенности и создается настолько же огромная неопределенность в выборе. Кто с кем коммуницирует? Адекватно ли вообще это понятие в данном случае? Или мы теперь стоим на пороге, откуда можно увидеть, что важные способы обработки информации в нашем обществе уже нельзя классифицировать как коммуникацию? Или же мы должны по-новому сформулировать это понятие, но как?

Я завершу эту часть замечанием о том, что, разумеется, все зависит от общества. Существуют ли подобные компьютерные системы, существует ли письменность или книгопечатание или нет и, соответственно, какое понятие коммуникации нам нужно, чтобы отразить то, что происходит, — все это обусловлено эпохой, обусловлено исторически и связано с тем, что нам предлагает общество.

VII. Двойная контингенция, структура, конфликт

Четырнадцатая лекция

Дамы и господа, мы начинаем последнюю лекцию, и я хочу попытаться по-новому проинтерпретировать некоторые социологические понятия или, другими словами, получить доступ к типично социологическим темам с новых, измененных точек зрения. При этом для меня также важно соотнести понятийную сторону теоретической работы с классическими спорами 1960-х гг. за или против системной теории, чтобы можно было получить примерное представление о том, что изменится в этой дискуссии в области критики идеологии или идейной политики, если требования к точности понятий будут более высокими.

Первый момент касается «двойной контингенции». Это имеет отношение к теме, которую я рассматривал в своей книге «Социальные системы», и мое сегодняшнее изложение будет в общих чертах совпадать с тем, что написано там.¹⁵⁰ С исторической точки зрения, вероятно, следует обратить внимание на то, что за странным выражением «двойная контингенция» скрывается новая формулировка старого вопроса, а именно: «Как возможен социальный порядок?» Хотя этот вопрос тоже не очень старый, потому что речь здесь идет о кантовской технике вопрошания, когда спрашивают не о том, что имеет место, а о том, как это возможно. Как вообще возможно то, что существуют такие вещи, как познание, эстетическое суждение или тот же социальный порядок? К кантовскому триединству познания, разумной практики и эстетического суждения теперь добавляется еще один вопрос: «Как возможен социальный порядок?»

В предшествующей традиции ответом на этот вопрос были положения о природе человека — о его социальной или, в более древней традиции, «политической», т.е. неизбежно связанной с жизнью города природе. Человек вынужден жить вместе с другими людьми, и это имеет свои последствия. Это происходит не как угодно, а только с помощью политико-этического или предписанного богом регулирования совместной жизни. Потом, в

¹⁵⁰ См. Luhmann Niklas. Soziale Systeme [F/M 1984], Глава 3.

XVI-XVII вв., после религиозных войн произошел поворот и человека стали оценивать более скептически ввиду его жажды борьбы и взаимного уничтожения, и тогда потребовалась идея социального контракта. Это продолжалось не более ста лет, но людей, очевидно, так измотало их желание калечить и убивать друг друга, причем с перспективой, что так всегда будет и в будущем, что они теперь заключили договор и подчинились суверену, который мог делать все необходимое или же все, что он считал необходимым, — вспомните хотя бы Папу Римского. Социальный порядок на договорной основе считался возможным. Это породило множество логических проблем и изощренных дискуссий. Начиная с XVIII в. происходит возврат к идее о том, что порядок устанавливается насильственным путем. Кто-то силой подчиняет себе другого, и постепенно этот процесс становится все более цивилизованным за счет того, что в этом какую-то роль играет рассудок.

Понятие двойной контингенции пытается снова поднять эту проблему на другом понятийном уровне. Парсонс говорил о «гоббсовской проблеме социального порядка»¹⁵¹, т.е. открыто ссылаясь на Гоббса, но, разумеется, не мог принять договор за отправную точку, потому что он, как впоследствии и все остальные, понимал, что договор уже предполагает существование порядка, который ведет к тому, что договор нужно соблюдать. Поэтому сам договор нуждается в социальном объяснении. Инициированная Дюркгеймом тенденция полагать, что социальный порядок существует уже до всяких договоров, верна также и по отношению к Парсонсу. Естественно, семьи существовали еще до того, как появилось семейное право. Религия существовала еще до того, как появились какие-то догматы или регламентации со стороны церкви. И так далее. Но это лишь отодвигает вопрос о том, как возможен социальный порядок, на шаг назад, и тогда по-прежнему нужно искать ответ на вопрос о том, как в процессе эволюционного дрейфа возникает социальный порядок с потенциалом постоянного усложнения, выработки все более сложных механизмов регуляции. Понятие двойной контингенции, насколько мне известно, было придумано в

151 См., например: Parsons Talcott. The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers. New York: Free Press, 1937. P. 89.

связи с междисциплинарными проектами по созданию нового факультета в Гарвардском университете, а именно факультета социальных отношений, т.е. в связи с попытками объединить в общих теоретических рамках представителей различных дисциплин — культурных антропологов, психологов, социологов, политологов и так далее, в общем всех, кто имелся в наличии. С помощью понятия двойной контингенции ученые, очевидно, пытались еще раз проникнуть внутрь ценностной перспективы или структуры ожиданий, чтобы объяснить, как складываются общие ценности, как происходит символическое кодирование социального поведения и как культурные антропологи, психологи или социологи могут вычленивать различные аспекты и, соответственно, по-разному над ними работать.

Автором этого понятия был, по всей вероятности, Роберт Сирс, однако широко известным оно стало благодаря «*general statement*» [общему положению] в изданной Талкоттом Парсонсом и Эдвардом Шилзом книге «*Towards a General Theory of Action*» («К общей теории действия»)¹⁵². Парсонс по разным поводам обращался к этому *general statement*, однако понятие двойной контингенции так и не стало основополагающим в его теории, потому как могло объяснить лишь возникновение социальных систем, а не общую систему действия как таковую. Потом это понятие пропадает, потом периодически снова появляется, но не имеет того значения, того места в понятийном аппарате, которого можно было бы ожидать, исходя из того, что оно в состоянии объяснить, как возможен социальный порядок. На этом этапе развития теории контингенция понимается как зависимость, в значении английского выражения «contingent on». Это представление о зависимости имеет теологическую традицию, которая уже не заметна в словоупотреблении. Понятие, явно относящееся к теории модальности и означающее, что что-то возможно и по-другому, т.е. не необходимо и не невозможно, а где-то посередине, в рамках теологических рассуждений получило новое значение зависимости от бога, который в

152 См. Parsons Talcott, Shils Edward A., Allport Gordon A., Kluckhohn Clyde, Murray Henry A., Sears Robert R., Sheldon Richard C., Stouffer Samuel A., Tolman Edward C. Some Fundamental Categories of the Theory of Action: A General Statement // Parsons Talcott, Shils Edward A. (Eds.) *Toward a General Theory of Action*. Cambridge, MA: Harvard UP, 1951. P. 3-29, здесь P. 16.

принципе мог обустроить мир как-то иначе. В англо-саксонской традиции представлены обе эти смысловые составляющие понятия «contingency»: с одной стороны, «contingency» в значении «зависящий от» (в разговорном языке используется выражение «contingent on») и, с другой стороны, «contingency» в значении возможности быть также другим, т.е. как отрицание невозможности и необходимости. Я уже вкратце рассказывал об этом.

В этой первой попытке построить социальную теорию на понятии двойной контингенции содержится модель, согласно которой друг другу противостоят *Alter* и *Ego* (это может быть человек или группы людей), каждый со своими потребностями и способностями. Первый зависит от результатов деятельности второго, а второй – от результатов деятельности первого. Каждый может осуществлять действия или воздерживаться от них. Тогда возникает вопрос, как найти такой путь, при котором будет установлена взаимодополнительность ожиданий и деятельности, а не просто расхождение одного и другого.

Позднее эта модель была перенесена на конфликты, в частности, в анализе ситуации, когда к одному острову одновременно подходит военное и торговое судно. Остров лежит между ними, и военный корабль хочет задержать торговый корабль. Если торговый корабль обходит остров с севера, то и военный должен идти с той же стороны. Но если он так и сделает, то торговый корабль обогнет остров с другой стороны. И вот они ждут перед островом. Парсонс на это отвечает, что есть «shared symbolic system» или общая ценностная ориентация, которая, однако, не функционирует, когда речь идет о конфликте и можно говорить разве что о положительно-отрицательной установке по отношению к одной и той же ценности: прорыву или задержанию.

Преобразование данной модели в теорию конфликта показывает, что необходим более абстрактный механизм решения чем тот, который предлагает Парсонс – в стиле социологии Дюркгейма по направлению к общей ценностной ориентации. Предложение Парсонса, если вы вспомните лекцию, посвященную его теории, связано с тем, что Парсонс различает культуру и социальную систему и ставит культуру на более высокую позицию в иерархии, т.е. исходит из того, что социальные системы невозможны без регламентирующего воздействия культуры, без общего признания ценностей или норм, которые он не очень четко различает. К

этим ценностям или нормам относится также язык, являющийся как бы нормативной кодировкой, как можно говорить и как говорить неправильно, если хочешь быть понятым. В этой мыслительной модели язык, культура, ценности и нормы расположены очень близко друг к другу и выполняют по отношению к подсистеме более низкого уровня, а именно к социальной системе, функцию регулирования двойной контингенции.

Ну, с этим можно согласиться, тем более что в эмпирической реальности вряд ли найдутся общества, в которых не было бы хотя бы минимального ценностного консенсуса или общих нормативных основ в праве, морали или языке. Но, несмотря на это, не совсем понятно, как отсюда можно прийти к урегулированию проблемы двойной контингенции, которое бы работало в повседневной жизни. Если уже есть общие ценности, то тем более ожесточенным может получиться спор – при определенных обстоятельствах. Если мы посмотрим на наши ведущие партии – социалистов и христианских демократов, которые претендуют на способность управлять страной, и посмотрим на их список ценностей, мы не увидим почти никакой разницы; различия будут в лучшем случае в ранжировании ценностей. Одни сначала называют стабильность, потом свободу, другие – наоборот. Но в любом случае должно быть не больше трех ценностей, чтобы можно было успеть их заметить на плакатах, проезжая в автомобиле, если, конечно, соблюдать ограничение скорости, установленное в черте города. Ценности одни и те же, но невзирая на это по всем вопросам они не согласны друг с другом. Поэтому возникает вопрос: как от ценностной программы перейти к регулированию ситуации двойной контингенции, которое осуществимо посредством интеракций или операций? Если ответить на этот вопрос, то можно увидеть, что возникновение общих ценностей или общих бесспорных моментов происходит, пожалуй, во вторую очередь. Сначала [участникам] вообще неизвестно, какие у них ценности, и лишь когда на протяжении какого-то времени им удастся оперативно решать проблему двойной контингенции, т.е. образуются взаимодополняющие ожидания, совершаются совместимые действия, последовательности действий, тогда, наверное, можно сформулировать консенсус, который был как бы продемонстрирован.

Эти размышления подвели меня к вопросу о том, не явля-

ется ли здесь решающим моментом чисто временной аспект, асимметрия во времени. Кто-то действует первым и тем самым устанавливает срок, который ставит другого (помните, что мы говорили о понятии коммуникации?) перед выбором – сказать «да» или «нет», принять или отклонить. Он не может сделать что-то совершенно произвольное, поддаться своему настроению, а должен руководствоваться тем, как началась ситуация. Чтобы утвердиться в этой ситуации, ему достаточно сказать «да» или «нет», но он не может сделать что-то другое. Если это так, то логической посылкой или ответом на вопрос, как возможен социальный порядок, пожалуй, следовало бы считать не ценностный консенсус, а временной аспект (*Zeitlichkeit*), временную структуру. Социальный порядок образуется тогда, когда кто-то задает время, запускает действие, делает предложение или самопрезентацию и тем самым ставит других перед необходимостью реагировать. Они должны принять это предложение или отклонить его. Они могут запустить процесс уточнения, но только по отношению к тому, что уже имеет место, что уже установлено, так что асимметрия, которую мы видим в этой модели, является в первую очередь временной, а не иерархической. Дело не обстоит так, что существует некий высший уровень ценностей, который в общем и целом работает, мотивирует и который можно слегка модифицировать, в зависимости от того, как достигается взаимопонимание или же как ведется противостояние (предметно-иерархическая модель). Вместо этого мы имеем дело прежде всего с временным порядком. Как в ситуациях двойной контингенции устанавливается последовательность, которая действует по принципу воронки, направляя систему или на путь конфликта (к этой теме я еще вернусь), или на путь сотрудничества и закрепления определенных моментов, которые затем станут отправными точками для совместного будущего, для построения общей истории? Мне представляется, что здесь нужно пройти путь от парадигмы Дюркгейма-Парсонса до теории, уделяющей больше внимания вопросу о том, как возможны операции, к которым могут присоединиться следующие операции, или как возможны операции, способные формировать системы и, следовательно, способные проводить границы и отличать системы от того, что к ним не относится.

В основе этого лежит модель, начинающаяся с саморефе-

ренции, с цикличности, так как двойная контингенция – круговое явление: «Если ты сделаешь то, что я хочу, я сделаю то, что хочешь ты». Но кто инициирует разрыв этого круга? Кто создает асимметрию? Ответ следующий: время или тот, кто действует первым. Самый быстрый перехватывает инициативу. Необязательно, что тем самым он добьется того, что другие за ним последуют, но он определяет *issues*, темы, пункты, которые затем обсуждаются на предмет принятия или отклонения и тем самым в какой-то мере задает тон или устанавливает тип системы, которая может образоваться в результате присоединения последующих операций.

Данная модель составлена таким образом, что можно подумать, что сначала существует двойная контингенция, а затем возникают системы. Теорию социального договора тоже часто понимают и, соответственно, критикуют таким образом: как будто сначала жили дикие люди, все они были вооружены и мечтали только о том, чтобы перебить всех остальных, пока те спят, и лишь потом, по прошествии времени, они увидели, что жить, потакая естественным наклонностям, не очень приятно, и тогда появился договор. Точно так же можно было бы сказать, что сначала возникает проблема двойной контингенции, и лишь потом кому-то приходит в голову идея сказать, что же, собственно говоря, должно теперь произойти, как обстоят дела или в каком направлении они должны развиваться. Конечно же, в обоих случаях такое представление ошибочно. Никому не удалось доказать, что в истории человечества было «естественное состояние», как его понимал Гоббс, хотя, наверное, можно отличить общества цивилизованные от обществ явно менее упорядоченных. Так же и вопрос двойной контингенции следует рассматривать не в рамках модели *До/После*, а исходить из того, что всякий раз, когда ставится и развивается проблема социального порядка, т.е. последовательно раскрываются его предпосылки, в конечном итоге мы приходим к вопросу о том, как решается проблема двойной контингенции. Любую социальную ситуацию можно изучить на предмет того, каким образом получается так, что она не попадает в порочный круг, ведущий к полному бездействию, потому что никто не знает, как формировать ожидания, чтобы другой формировал такие ожидания, которые первый бы одобрял и хотел бы оправдать.

Таким образом, это модель реконструкции условий, делаю-

ших возможным социальный порядок, а не историческая модель. Это верно, пожалуй, и в отношении кантовского вопроса, как возможно познание, разумное практическое деяние или эстетическое суждение. В этом случае тоже вряд ли кто-нибудь стал бы утверждать, что люди сначала жили без всего этого, а потом в один прекрасный день наступило трансцендентальное озарение и они стали разумными. Здесь тоже вопрос касается того, к чему мы приходим, если будем последовательно раскрывать предпонятые (*vorverstandigt*), предпонятные (*vorverständlich*), известные, общепринятые предпосылки. Вопрос такого рода тесно связан с переходом к обществу Нового времени, когда люди уже не одобряли иерархический общественный порядок и не соглашались с тем, что некоторые от рождения и благодаря рождению лучше остальных. Но когда происходит коллапс иерархии, возникает вопрос, как возможен социальный порядок. Когда у современного территориального государства больше нет социальной опоры в стратификации или в религии и оно может опираться только на себя, это приводит к вопросу о том, как возможен социальный порядок. Если проанализировать это с точки зрения социологии знания, то можно увидеть, что вся эта постановка вопроса была придумана для того, чтобы разобраться с конкретными ситуациями неопределенности или переходными ситуациями и выработать соответствующие концепции. Наверное, неслучайно теория двойной контингенции возникает в обществе, которое не берет на себя смелость ссылаться на какие-то естественные константы, некие абсолютности или априори в социальном порядке, а практикует то, что мы сегодня называем «постмодерном», т.е. не принимает такой ситуации, в которой нельзя было бы задать вопрос, почему кто-то использует именно эту схему. В любой ситуации должна быть возможность спросить, как этот кто-то обосновывает свои причины. Никто не может сослаться на то, что в какой-то момент достигается некая точка, в которой все в конце концов приходят к полному согласию.

Это также означает, что понятие двойной контингенции не приемлет никакой метафоры истока, никакого возвращения к первоначалу и что эта модель совместима с эволюционной теорией, которая не в состоянии, да и не желает ничего сообщать о том, как все начиналось. Эволюция в каком-то смысле порождает сама себя. В рамках данного курса у меня нет возможности

подробно рассматривать эволюционную теорию, но идея заключается в том, что в какой-то момент возникает разрыв между вариацией и отбором, и это дает импульс к развитию и изменению структур. Эволюция сама дает импульс к построению порядка, и это невозможно объяснить наличием первичного бульона или исходными условиями возникновения жизни или языка и общественного порядка. Если мы рассматриваем понятие двойной контингенции как вопрос проблематизации или как изобретение проблемы референции применительно к функциональному анализу, то у нас появляются определенные параллели с эволюционной теорией и с другими попытками отделить объяснение общественного развития от вопроса о том, как все возникло или каковы исторические первопричины. Конечно, можно задавать этот вопрос снова и снова, но это не приведет к истокам. Можно спрашивать, в чем причины особого пути Европы в эпоху позднего средневековья, в отличие, скажем, от Китая, и указать на такие факторы, как географическая диверсификация или что-то еще, но любой ответ уже предполагает какую-то предшествующую историю, т.е. представляет общество уже существующим и уже упорядоченным, и вопрос тогда заключается лишь в том, как, например, в этом случае технически гораздо более развитое, гораздо более богатое, гораздо более упорядоченное китайское общество с гораздо более многочисленным населением не смогло перейти в Новое время.

Я думаю, этого достаточно о понятии двойной контингенции. Вы видите, что в это понятие приходится вкладывать огромный труд, для того чтобы, с одной стороны, вписать его в теорию, а не оставлять болтаться относительно бессвязным фрагментом (а именно такая судьба, как мне кажется, постигла его в теории Парсонса), и, с другой стороны, чтобы поместить его в контекст, знакомый нам из других областей, в частности в контекст эволюционной теории или кантовской техники вопрошания.

Мой следующий пример касается понятия структуры. Если вы на секунду задумаетесь над тем, что вы себе представили, когда я сказал «понятие структуры», то у вас перед глазами, вероятно, возникнут такие сущностные свойства, как долговечность и устойчивость. Это также связано с традицией, в которой принято обозначать системы или какие-либо другие взаимосвязи понятием отношения (*Relation*). Есть элементы, и есть отноше-

ния между ними, и эти отношения в каком-то смысле неизменны во времени. Конечно, они могут меняться, но об отношении (реляции) говорят только тогда, когда имеет место не однократное событие, а типичное соединение А и В. В этой традиции отношения имеют более низкий онтологический статус, потому что сначала есть релатумы, элементы, души, что угодно, а потом уже есть отношения, которые в некотором роде вторичны.

Итак, с одной стороны, есть эта связь понятия «структура» с понятием отношения, обуславливающая момент устойчивости. В позднем структурализме, прежде всего у Клода Леви-Стросса и у французов эпохи 1950-1960-х гг., и, если угодно, у Парсонса к этому добавляется еще один момент – когнитивный или аналитический.¹⁵³ Структуры являются в том числе условиями познания, кем бы ни был познающий – наукой или участником социальных отношений, социальных сетей, социальных групп, социальных систем и так далее. Нужно уметь распознавать, с чем ты имеешь дело, уметь определять типы, нужно знать, где ты находишься – в университете, в пивной, в трамвае или где-то еще. Если бы все можно было увязать между собой, если бы структурные образцы не содержали определенных обещаний в отношении познания и ориентации, то, согласно этой трактовке, нельзя было бы говорить о действующих структурах. Если бы мы последовали совету Уильяма Блейка и перенесли пивную в церковь, чтобы улучшить церковные песнопения¹⁵⁴, то определенные ориентации оказались бы под вопросом. Структуры нужно разделять хотя бы для того, чтобы знать, как себя вести в том или ином месте. Вот те предзаданные величины, которые, на мой взгляд, в качестве определенной теоретической парадигмы сегодня проходят под именем структурализма: реляциональность, относительная устойчивость отношений и все это в целом в качестве условия познания.

В этой дискуссии наблюдается определенный прогресс или тенденции развития, две из которых я хотел бы выделить. Первая касается согласования структуры с ожиданием. Это относится именно к психическим или социальным системам, а не к поня-

¹⁵³ См., в частности: Леви-Стросс К. Понятие структуры в этнологии // Леви-Стросс К. Структурная антропология. [Рус. пер.: М., 1983. С. 241-285].

¹⁵⁴ См. стихотворение У. Блейка «Маленький бродяга» из сборника «Песни опыта» (1794).

тию структуры в самом общем виде. Возникновение этого понятия (я сейчас повторяю то, на что уже указывал в предыдущих лекциях) связано с тем, что у ученых была модель *Input/Output*, т.е. они представляли себе живую систему, которая вынуждена прибегать к ресурсам окружающей среды и, в свою очередь, выполняет для нее определенные функции или выделяет какие-то побочные продукты, а в промежутках в ней происходят процессы, которые не совпадают один в один с процессами окружающего мира. То есть внутри системы, очевидно, есть структура, которая не является точным отображением различий, присущих окружающему миру, а демонстрирует определенные обобщения. Мы хотим купить фрукты, но еще не знаем, какие именно. Тогда мы смотрим, что нам предлагается. Что-то уже подгнило, что-то слишком дорого, в чем-то нет витаминов, а что-то не относится к модным сегодня «биофруктам». Таким образом, есть критерии, которые устанавливают дистанцию по отношению к тому, что конкретно мы видим, и позволяют формировать мотивы покупки или воздержания. Этот внутренний порядок обработки, отделенный от различий, воздействующих через восприятие на психическую систему, был сформулирован где-то в 1930-х гг. с помощью понятия ожидания, а отсюда представление о комплементарном ожидании проникло и в теорию Парсонса.

При этом проблема заключается в определенной привилегированности будущего. Ведь ожидания относятся не к прошлому, а к будущему. С формальной точки зрения, отсюда возникает сложность (которую мы неоднократно обсуждали на семинарах) с пониманием того, почему понятие структуры соотносят с будущим. Возможно, потому, что при этом исходят из систем, прошлое которых так и так завершено или в инвариантном виде зафиксировано в форме фактов и воспоминаний, так что эластичность или способность к обобщению нужны только для определения будущих моделей поведения. В любом случае это нужно иметь в виду: когда структуры соотносят с ожиданиями, тем самым в теории в целом отдается очень сильное предпочтение будущей перспективе. Если вы вспомните парсонсовскую парадигму четырехкратного деления, то там было то же самое. Там тоже была сторона инструментального, которая была ориентирована на будущее, и сторона консуматорного или эффективного удовлетворения потребностей, которая была ориенти-

рована на настоящее. А прошлым была сама система – или что бы то ни было еще. Это связано с данным понятием ожидания. Об этом стоит поразмыслить. Может быть, кому-нибудь придет в голову какая-то другая идея, но абстрагироваться от понятия ожидания не так-то просто. По крайней мере, мне не удалось найти удовлетворяющее меня решение.

Кроме того, эту тему следует отделять от так называемой субъективности структур, которые определяются исключительно через ожидания. Это возражение мы не раз слышали в ходе дискуссии с Йоханнесом Бергером.¹⁵⁵ Согласно модели ожидания, ориентированной еще на Карла Маркса, структура должна быть чем-то объективным, а не субъективным. Производственные отношения и тому подобное объективны независимо от того, делает ли их кто-то частью своих ожиданий или нет. Вопрос о том, видит ли, воспринимает ли их кто-нибудь вообще, оценивают ли их так же, как это сделал бы Маркс или какой-нибудь другой теоретик, является второстепенным. Тем не менее разработка понятия структуры, ориентированного на понятие ожидания, имела своей целью как раз высвобождение систем из их детерминированности окружающим миром. В этом случае «субъективно», вероятно, означает просто «относительно системы», а это неотъемлемая составляющая системной теории, если довести эту точку зрения до логического конца. Нет порядка, который не был бы выстроен и сконструирован системой как ее собственный или как порядок окружающего мира, т.е. который не существовал бы относительно системы. Это означает, что смещение в сторону будущего мне самому кажется проблематичным, хотя я и не знаю, как его можно исправить, а вот системную относительность я, напротив, считаю неотъемлемой составляющей системно-теоретического подхода.

Это была одна тенденция развития структурализма или формирования понятия «структура». Другая тенденция восходит к краткому, но важному замечанию Парсонса, которое встречается в статье, написанной в начале 1960-х гг., а также в лекци-

ях¹⁵⁶. Может быть, оно есть и в других работах, но мне сейчас не вспомнить, в каких именно. Это замечание касается различения. Парсонс говорит о том, что нужно различать два разных различения. Во-первых, это различение структуры и процесса: системы имеют структуру, и в системах происходят процессы, а это подразумевает, что нужно уметь различать между структурами процессов и процессами структур. В очень долгосрочной перспективе изменение структур, вероятно, можно рассматривать как процесс, например, как процесс эволюции. В обоих случаях нужно использовать различение: и когда говорят о структуре процесса, и когда говорят о процессе структурных изменений. Без этого различения невозможно сделать данное высказывание, потому как оно основывается на том, что структуру и процесс можно различать на абстрактном уровне. Это различение является ответом на критику в виду того, что структурализм якобы не способен ничего сказать об изменениях и тому подобном. Парсонс полагает, что это вполне ему по силам. Нужно только отделить различение структуры и процесса от вопроса о том, идет ли речь о структурах или о процессах как объекте процессуальных или структурных изменений.

С другой стороны, от этого необходимо отличать второе различение – различение стабильности и трансформации – или проблему изменения. Не имеет смысла выстраивать понятие структуры таким образом, как будто утверждается нечто неизменное. Это значит, что стабильность без изменения структур является предметом другого, поперечного различения. Можно изучать и размышлять над тем, используются ли структуры в неизменном виде и если да, то как долго, а можно, с другой стороны, исследовать структурную трансформацию, изменение структур, и тогда речь может идти также о сравнительно краткосрочном изменении, если имеется в виду, например, динамика развития в области компьютерных технологий, инструментов международного финансового рынка или изменения в тематических структурах общественного мнения. С помощью этого второго различения можно исследовать быстрые и медленные процессы структурных изменений. Тогда вопрос о том, является ли структурное изменение каким-то моментом в рамках процесса, будет

¹⁵⁵ См. Berger Johannes. Autopoiesis: Wie "systemisch" ist die Theorie sozialer Systeme? // Haferkamp Hans, Schmid Michael (Hrsg.) Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung: Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. S. 129-152.

¹⁵⁶ См. Parsons Talcott. Some Considerations on the Theory of Social Change // Rural Sociology 26 (1961). P. 219-239.

относиться к контексту первого различения. Можно зафиксировать изменение структуры, например, изменение конституции, но для этого необязательно выявлять процесс, который исторически, через последовательность эпизодов, привел к этому структурному изменению. Мы видим изменение в отношении *До и После*, но необязательно *относительно* процесса.

В ситуации конца 1950-х – начала 1960-х гг. Парсонсу было важно с помощью большей точности различений противостоять критике, утверждающей, что структурализм по природе своей консервативен. Перед ним все еще стоял вопрос о том, меняются ли структуры, в связи с чем и за счет чего они меняются, и в этом случае важно было различать между структурами и процессами. Структурализм нельзя упрекать в том, что он враждебен к процессам или игнорирует их. Это связано с переменами в самой социологии, в которой, как и в этнологии, антропологии, культурной антропологии и так далее, существовала мода, в соответствии с которой структуралистские тенденции, не принимавшие в расчет время, следовало заменить процессуальными тенденциями, как будто какая-то из этих тенденций была лучше или правильнее другой. В конце 1920-х гг. тема процессов была «в моде» в связи с теорией Уайтхеда¹⁵⁷ и другими философскими контекстами. Под эгидой понятия «процесс» проводились целые конгрессы. Социальная трансформация тоже стала темой дискуссий. Структуры остались без внимания, а в 1950-х гг. это снова изменилось, но, собственно, смысл этого различения различений заключается в том, что здесь нет никакого выбора и речь всегда идет лишь о том, как обращаться с различением структуры и процесса или как различать между непрерывностью и скачкообразностью или между стабильностью и изменением и как не перепутать одно с другим.

Вы видите, что, если оставаться на уровне явленного нам в виде книг или статей, дискуссия уже кажется довольно сложной и не допускает простой классификации по схеме «за общество / против общества» или «консервативный / критический». Но, как мне представляется, сейчас снова должно произойти изменение основ дискуссии с помощью концепции строго опера-

157 См. Whitehead Alfred North. Process and Reality, an Essay in Cosmology. New York: Free Press, 1979. [Рус. пер.: Уайтхед А.Н. Процесс и реальность // Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М., 1990]

тивной системной теории, которую я обрисовал в первой, общей части этого курса лекций. Вы помните, что согласно этой концепции системы всегда состоят из операций и существуют только до тех пор, пока могут актуализировать новые операции. Системы существуют всегда только в настоящий момент их реального оперирования, т.е. только тогда, когда происходит коммуникация или, в случае психической системы, только тогда, когда активируется внимание.

Применительно к нашей теме это означает, что структуры тоже реальны только тогда, когда их используют. Здесь нет такого уровня, стабильного самого по себе, который, подобно миру идей или чему-то бытийно-неизменному, возвышался бы над текущими событиями. Реально существует только само оперирование. И тогда вопрос заключается в том, как одна операция приходит к другой, следующей операции, и именно в этом состоит функция структур. Как операция находит подходящую следующую операцию? Или как она порождает саму себя в данной исходной ситуации? При этом одно уже прошло, т.е. уже больше не является реальностью, а другое – будущее – еще не является реальностью. Тогда реальность структур представляет собой не продолжительность как модус существования, а заключается в цитировании, в использовании этих структур. Только тогда, когда структуры используются, они существуют. Отсюда следует, что мы изымаем системную теорию из разделения на структуры и процессы. Нет структур *и* процессов, а есть тип операций, формирующий системы, которые реализуются посредством операций этого типа. Тогда те структуры, которые возникают, становятся необходимыми, о которых вспоминают, которые используют или не используют повторно, зависят от запроса и отзыва операций в соответствующей системе. Это дает более четкое представление о единстве системы в отношении тех или иных операций, в нашем случае коммуникации, и предотвращает те трудности, которые возникли бы, если бы мы представляли себе систему как состоящую из компонентов двух типов, а именно, с одной стороны, событий и процессов, а с другой стороны, структур.

И тогда можно сказать, что структуры – это используемое в системе отображение рекурсивных соединений операций. Операция обращается к прошлому и предвосхищает будущее.

Оказавшись в конкретной ситуации, мы обдумываем то, что произошло и что к этому подходит. У нас избирательная память и соответствующие представления о том, чего, собственно говоря, мы хотим добиться или чего нужно достичь.

Таким образом, перед нами теперь стоит вопрос о том, как используются рекурсивности, т.е. предвосхищения и обращения к прошлому, которые являются конститутивными элементами идентичности отдельной операции. Как возможно предложение, приказ, просьба, высказывание или констатация чего-либо в определенной ситуации, если не через предварительную ориентацию на то, что произошло до этого и что может к этому присоединиться? В этом случае структуры означали бы целокупное отображение постоянной активации рекурсивных ориентаций в той или иной системе, т.е. нечто текущее от одного момента времени к другому, что служит лишь для того, чтобы обеспечивать информацией и ориентирами продолжение, процессирование, дальнейшее оперирование системы.

Это имеет разные последствия. Одно из них касается вопроса о том, как происходит повторное использование одной и той же структуры. Изобретаем ли мы наше прошлое и наше будущее каждый раз заново или у нас есть что-то вроде памяти, позволяющей нам снова и снова использовать одни и те же структуры для оперативных целей? В свете этого вопроса можно представить себе ужас, который охватил общество, когда была изобретена письменность и все ранее единожды подуманное теперь можно было читать снова и снова, т.е. это не могло исчезнуть. Письменность – это своеобразное ограничение возможностей системы забывать, тогда как нормальная память складывается как из воспоминаний, так и из забывания. Если бы мы не умели забывать, о Господи, что за путаница возникала бы в каждой ситуации. Поэтому с точки зрения оперативного подхода встает вопрос, может ли общество отказаться от способности к забыванию и какое значение в этом контексте имеет письменность. Ситуация становится еще более драматичной в связи с компьютерами, которые все сохраняют и проблема которых в том, что они не умеют забывать. Нужно ли вырабатывать какой-то механизм, который бы стирал все, на что не поступало запроса в течение трех недель? Как избавиться от памяти в компьютере? В отдельных системах эта проблема решается блестяще, в

частности в денежной системе: когда я принимаю платеж, мне не нужно разузнавать, откуда эти деньги или кто дал их тому, кто отдает их мне. Точно так же я сам могу потратить деньги, не сообщая о том, как я их заработал. Даже украденные деньги легко переходят из рук в руки. С юридической точки зрения это всегда проблема, потому что если за украденными вещами еще можно проследить, и того, кто продает украденные вещи, можно призвать к ответу, за украденными деньгами проследить невозможно. В этом смысле у денег нет памяти, можно сказать, к счастью, потому как иначе любая операция с деньгами требовала бы огромных усилий, чтобы разузнать, откуда эти деньги и от кого их получил тот, кто дал их последнему в этой цепи. Аналогичные размышления возникают в связи с поземельной книгой. В английском праве нет поземельной книги, поэтому зачастую приходится отмагивать события на несколько столетий назад, чтобы выяснить, действительно ли тот, кто выдает себя за собственника и хочет продать земельный участок, является его владельцем.

Как избавиться от памяти? Мне представляется, что эта проблема может приобрести роковые масштабы в той мере, в какой мы храним информацию при помощи компьютеров, хотя я плохо разбираюсь в технической стороне вопроса.

Одно из преимуществ этого, соотношенного с операцией понятия структуры – это своего рода уравнивание воспоминания и забывания в их значении в зависимости от оперативной необходимости, а затем нарушение этого равновесия определенными культурными изобретениями, в частности письменностью, а затем, разумеется, книгопечатанием. Вы, наверное, сталкивались с этой проблемой, когда писали научную работу. У вас появляется такое чувство, что в какой-то научной книге есть что-то такое, что вы обязательно должны учесть, и так вы можете читать и искать до бесконечности и никогда не будете уверены, что использовали все, что хранится в памяти науки. Конечно, здесь есть возможности как-то улизнуть. Наука выработала формы обращения с фактической невозможностью использовать всю ее память. Это, например, критерий устаревания, согласно которому уже не стоит цитировать старые теории. Когда я однажды в примечании в качестве доказательства одного тезиса процитировал автора XVII-го века и Хабермаса, это

344 — было воспринято как неприкрытая дерзость. XVII-й век нужно забыть, это другая эпоха.

Тем не менее проблему эту нужно обозначить, потому что только тогда можно увидеть, какую нагрузку испытывают комплексные операции вследствие изобретений, которые сами по себе, конечно, приносят пользу, а иначе их вообще бы не было.

От всего этого следует отличать вторую проблему. Дело в том, что хотелось бы знать более точно, как происходит рекурсивность. Как возможно извлекать что-то из памяти, считать релевантным что-то из прошлого или сосредотачиваться на каком-то будущем, не реактивируя прошедшую ситуацию в целом и не зная будущую ситуацию? Не должен ли здесь происходить какой-то отбор? Не должны ли мы уже заранее иметь определенные идентичности, чтобы уметь идентифицировать, что нам нужно из прошлого, например, кого из ученых и для чего нам процитировать, не учитывая при этом его произведения в полном объеме, или что можно иметь в виду в обычной ситуации, когда кто-то просит нас захватить письмо на почту. «Почта»? «Письмо»? Как это так? Зависит ли это от того, что написано в письме, когда открыта почта и правильно ли оформлена оплата почтовых сборов? И, и, и.. С концепцией смысла можно уйти в бесконечные дебри отсылок и последствий, но каким-то образом срабатывает высокоизбирательное извлечение инвариант, смысловых моментов, которых достаточно для конкретных целей, для конкретной операции, чтобы связать прошлое и будущее.

Используя формулировку, которая у Спенсера Брауна служит совершенно другой цели, я называю это *конденсацией*¹⁵⁸: каким-то образом контексты смысла конденсируются вследствие повторной активации, облекаются в формы, которые можно пометить, обозначить, опустив почти все то, что имело ситуативное значение для их изобретения или прежнего использования. У Спенсера Брауна можно встретить интересное рассуждение (которое опять-таки имеет другую цель, но дало мне импульс, и поэтому я должен о нем упомянуть), что есть еще вторая операция, а именно *конфирмация, подтверждение*¹⁵⁹: если мы что-то повторно используем, это должно подходить к новой ситуации. Мы относим письмо на почту. Мы просим кого-то отнести письмо на почту. И

158 См. Spencer Brown George. Gesetze der Form. Lübeck 1997. S. 4.
159 Ibid., S. 10.

345 — вот неожиданно оказывается, что письмо может быть доставлено на почту даже в том случае, если мы не достаточно хорошо знаем того, кому поручаем отнести письмо, или не знаем, может быть, оно останется лежать в кармане — «poste restante», как иногда говорят французы — и обнаружится лишь спустя несколько месяцев. У нас есть своего рода подтверждение каждый раз в новых, совершенно различных от случая к случаю ситуациях.

Теперь вопрос в том, можно ли конденсацию и конфирмацию свести к одному понятию или же в ходе образования структур, идентичностей, возможностей неоднократного применения имеет место двухступенчатый процесс спецификации и генерализации, редукции и расширения, для которого не может быть единой формулы. Я склоняюсь к тому, чтобы работать со сложным отношением напряженности между конденсацией и конфирмацией, пока мне не придет в голову единая формула, что, конечно, существенно облегчило бы мою работу. Тогда можно было бы себе представить, что структуры через серию повторных применений образуют нечто, что с трудом поддается определению. Понимание того, для чего можно использовать ту или иную структуру, происходит на уровне чувства, его невозможно четко и ясно зафиксировать и передать другому в форме поучения: «Вот так это делается». Иначе говоря, если опыту применения придают форму поучения, то он редуцируется к словам, которые затем использует обученный человек, и к допущению какой-либо идентичности, тогда как контекст применения оказывается совершенно незначимым.

Большое значение ссылки на опыт можно оценить только тогда, когда подобное поучение не работает: в социальных отношениях у нас всякий раз возникает потребность опереться на свой личный опыт («Это можно делать, а этого делать нельзя»), но мы не отдаем себе в этом отчета, т.е. не владеем средствами, способными убедить того, кого мы потчуем своим опытом, что это правильно. Это типично для отношений между представителями разных поколений. Для меня, новичка в министерстве, было удивительно видеть, как непринужденно оперируют своим опытом те, кто проработал здесь не один год¹⁶⁰. Я вспоминаю свое первое выступление на заседании комиссии ландтага, к которому я ос-

160 Имеется в виду работа Лумана в министерстве по делам культов в Нижней Саксонии.

новательно подготовился и сказал все, что сочинил, а потом ко мне подошел один из министров, случайно присутствовавший на докладе, похлопал меня по плечу и сказал: «Вам нужно кое-чему научиться; Вы приготовились к «Дону Карлосу», а здесь играют «Тетку Чарлея». И для этого, по-видимому, нужно выработать особое чувство. В отношениях между поколениями та же самая проблема, когда кто-то охотно ссылается на свой личный опыт и строит на этом свой авторитет, но добиться от него аргументативным, так сказать, хабермасовским путем разумных оснований невозможно. От него нельзя этого требовать. За ним авторитет, и этому так или иначе верят. Я думаю, что это очень хорошо можно сформулировать с помощью данного понятия структуры, если понимать, что структуры всегда складываются из этих смешанных требований спецификации и генерализации, независимости от контекста, извлечения идентичностей, с одной стороны, и вписывания в контекст, зависимости от него, подтверждения повторного применения в новом контексте, с другой стороны.

И, наконец, несколько слов о контексте наблюдения. Насколько я помню, я уже говорил о том, что в структурализме, прежде всего у Леви-Стросса, структура всегда была также инструментом познания. Если вы хотите знать, в какой ситуации, в какой системе вы действуете, то структура – это именно то, о чем нужно спрашивать. Я вполне могу включить это в оперативную теорию, если представлю, что наблюдение тоже является операцией, т.е. ничто не заставляет нас утверждать, что за неуловимой реальностью каждого дня, за действиями или операциями есть еще что-то, нечто неизменное, которое необходимо обнаружить, чтобы понять. Мы говорим, что наблюдатель сам конструирует структуру. В тот момент, когда он наблюдает, он считает определенные вещи, определенные различия и идентичности решающими для идентификации объекта. Следовательно, наблюдателя, с одной стороны, можно рассматривать как систему, которая сама оперирует. Если нужно выяснить, какие релевантные прошлые в каких аспектах имеют значение для будущего, то система наблюдает сама себя в тот момент, когда оперирует, и делает это, как всегда, редуцированными средствами. Система сама познает свою структуру в процессе оперирования и фиксации на определенных предзаданных смыслах, которые можно применять не один раз. С дру-

гой стороны, точно так же можно сказать, что мы имеем дело с внешним наблюдателем, который идентифицирует системы с точки зрения структур, которые для самой системы недоступны для наблюдения или, как правило, не могут быть активированы, так как это потребовало бы слишком сложного механизма выяснения разных вопросов.

Если предметом нашего рассмотрения является операция наблюдения, осуществляемая на основании структур, то мы имеем дело с явлением, которое я обрисовал в разделе, посвященном наблюдению и наблюдению второго порядка. Мы имеем концепцию, которая формулируется исключительно относительно наблюдателя, но которую можно обезвредить, сказав, что система, которую наблюдают, сама тоже наблюдает. Наблюдатель системы, которая создает, формирует свои собственные структуры, не может понять систему, если он не знает, как она сама наблюдает. Он может увидеть за ней другие структуры, он может постулировать и обнаружить латентные структуры, но латентность должна относиться к модулю структурного наблюдения системы, которая в свою очередь наблюдаема. Таким образом, когнитивный аспект, относительность понятия структуры в зависимости от наблюдателя не утрачиваются, а становятся более сложными постольку, поскольку необходимо решать, кто, собственно говоря, является наблюдателем, конструирующим структуры, а также поскольку становится ясно, что без конструирования структур невозможен переход от одной операции к другой.

Наша последняя тема – это конфликт. Я выбрал ее, потому что здесь тоже интересен идеологический и теоретический спор 1950–1960-х гг. Дарендорф выстроил свою позицию, нападая на теорию Парсонса¹⁶¹, за ним последовали другие, которые «вчитали» в теорию Парсонса переоценку консенсуса и недооценку конфликта, чему есть подтверждения в его текстах. Однако проблема в том, можно ли вообще на уровне противопоставления консенсуса и конфликта или сотрудничества и конкуренции (это старая тема социологов Чикагской школы в 1920-х гг.) представить себе теории, которые бы выбирали одну или другую сторону, т.е. примыкали бы к точке зрения, что наше общество в основном является обществом конфликта, классовым обществом.

161 См., например: Dahrendorf Ralf. Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft. Stuttgart: Enke, 1957.

или наоборот, подчеркивали бы то обстоятельство, что консенсус есть условие *sine qua non* существования общества и что без какого-то минимального консенсуса вообще ничего бы не состоялось. Очевидно, что верны обе версии. Если вы помните мои рассуждения по поводу понятия коммуникации, в которых речь шла о том, что любая коммуникация порождает бифуркацию между «да» и «нет», коль скоро она была понята, то тогда вы увидите, что в самой операции конфликт и консенсус постоянно воспроизводятся в качестве альтернативы, дуализма. Это, в свою очередь, означает, что мы всякий раз навязываем теории односторонность, когда требуем от нее, чтобы она описывала общество преимущественно с точки зрения консенсуса или конфликта.

Здесь в теоретическом развитии тоже можно видеть явления адаптации. Проблема, связанная с тем, что всегда имеют место и консенсус, и конфликт, и сотрудничество, и конкуренция, должна учитываться в любой более или менее проработанной теории. Одна из возможных оценок теорий основывается на попытке посмотреть, как в них решается эта проблема. У Макса Вебера это происходит главным образом через отнесение к ценности, т.е. через плюрализм ценностей и через представление о том, что существуют определенные жизненные уклады (*Lebensordnung*), такие как уклад религии, любви, экономики или политики, которые выдвигают на первый план определенные ценностные априори, ориентируются на них и вследствие этого приводят к личностному конфликту, когда индивид должен решать, что для него важнее – политические соображения государственного благополучия или, скажем, любовь, и тогда королей вынуждают жениться не по любви, а исходя из интересов наследования или династии¹⁶².

Эту идею подхватил Роберт Мертон, предположив, что структуры в социальных системах, в частности в обществах, должны справляться с ценностными противоречиями¹⁶³. Существуют

162 См. Weber Max. Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher Erkenntnis // Weber Max. Soziologie, universalgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart 1973. S. 186-262. [Рус. пер.: Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990].

163 См. Merton Robert. Social Theory and Social Structure. New York 1949. [Рус. пер.: Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006].

латентные структуры, я бы сказал, парадоксальности или антинормии, которые, по выражению Мертона, действуют как «аномия». Так, например, общество зиждется на ожидании, что все могут делать деньги, все могут подняться в высшие круги общества, все могут стать президентом, хотя и не все сразу. Это ожидание настолько нереалистично, что если оно предлагается в качестве стиля жизни, мотивации или расположения духа, то оно постоянно разочаровывает. Это попытка так тематизировать вопрос конфликта или структурных противоречий, чтобы за этим могло последовать социологическое исследование. Мертон положил начало важным размышлениям относительно того, что есть, очевидно, разные возможности реагирования на конфликт и вопрос о том, какая возможность будет выбрана, нуждается в дополнительном социологическом объяснении.

Это лишь один пример того, как дихотомия конфликта и консенсуса не застряла на уровне жесткой альтернативы, а была предпринята попытка включить ее в социологические теории. И здесь мне тоже кажется, что все это очень хорошо и нет ничего, от чего следовало бы отречься, но, применяя представленную здесь системную теорию, мы могли бы продвинуться еще на один шаг, сказав, что именно конфликты, со своей стороны, являются системами. Конфликты – это системы, потому что если я нацеливаюсь на кого-то как на противника и веду себя соответствующе агрессивно или занимаю оборонительную позицию, я создаю ситуацию, которая помещает другого в ограниченный диапазон вариаций: он уже не может вести себя как угодно. Конечно, он может – если может – пожалеть плечами и уйти, сказав, что его это не интересует, но в типичных социальных ситуациях, в которых нельзя взять и удалиться, представление о том, что имеет место конфликт или просто упорное «нет» в ответ на предлагаемые смыслы, служит системообразующим мотивом, т.е. мотивом, который организует способности к присоединению, который ведет, например, к тому, что участники образуют коалиции, выискивают ресурсы, приходят к идее, что все, что наносит вред другому, выгодно мне, а все, что выгодно мне, наносит вред другому. Складываются отношения друг-враг, которые являются предельным упрощением реальных ситуаций. Это тоже старая тема. Из римлян, насколько мне известно, Цицерон первым занялся вопросом о том, должны ли

враги моих друзей быть также моими врагами или я могу сохранить своего друга, но при этом быть другом и его врагов, или же конфликты в структуре общества знатных родов с их домами и патрон-клиентскими отношениями настолько сегментарны, что нет возможности пригласить кого-либо, кто не был бы в ссоре с твоим другом¹⁶⁴. Здесь виден организующий потенциал конфликтов как в социальных коалициях, так и в темах. Если кто-то возражает мне по определенным вопросам, я обобщаю его оппозицию и предполагаю, что он будет возражать мне и по другим вопросам. С этой точки зрения моральные перспективы служат генерализации конфликтов, потому что если кто-то уже является гнусным человеком, то, разумеется, он таков во всех отношениях, а не только в тот момент, который привлек мое внимание. Если я аргументирую с точки зрения морали, то я всегда имею тенденцию генерализировать конфликты. Итак, мы имеем следующую формулу: конфликты представляют собой принцип системообразования *par excellence*, а системная теория может с равным успехом судить как о конфликтах, так и о сотрудничестве. Нелепо утверждать, что конфликтам в системной теории не уделяется должного внимания. Конфликты как раз являются высокоинтегрированными системами.

Это ведет также к переосмыслению понятия интеграции. Обычно под словом «интеграция» социологи понимают что-то хорошо отлаженное, приятное или гармоничное. Если все хорошо интегрированы, то благополучное будущее, сотрудничество обеспечены. Люди ладят между собой, на Земле царит мир и так далее. И все-таки, что такое интеграция? Если мы дадим этому понятию формальное определение, сказав, что интеграция есть ограничение степеней свободы компонентов (они интегрированы в той мере, в какой сокращено число опций, состояний, качеств — называйте это как угодно, которые может принимать система), становится ясно, что для конфликта характерна сильная интеграция, так как в качестве противника, врага в ситуации конфликта мы имеем гораздо меньше возможных вариантов ходов, гораздо меньше вариантов поведения. Приходится быть осторожным, думать о том, как заточить свое оружие, чтобы оно затупило оружие другого, как защищаться и уворачиваться, как нападать. Сначала

возможностей выбора меньше, а затем они постоянно расширяются за счет того, что ищутся новые темы, новое оружие, новые друзья и союзники для того, чтобы сохранить контроль над ситуацией в ходе конфликта или добиться окончательной победы. Теория конфликта должна изучать слишком сильную интеграцию социальной системы и тенденцию внедрять в конфликт дополнительные ресурсы для того, чтобы получить обратно урезанные возможности. Это своего рода раковая опухоль, которая разрастается в системе, потому что она слишком сильно интегрирована. Если бы развить эту идею (а я уже подхожу к временной границе нашей лекции), то получилась бы, на мой взгляд, интересная теория конфликта, работающая с инструментами системной теории. В дальнейшем темой анализа могло бы стать то, как формируются конфликты, каким образом предотвращается немедленный переход в ситуацию конфликта проблемы отрицания, отклонения в коммуникации, потому что любое «нет», разумеется, провоцирует вопрос: «Почему ты так говоришь?» Человек чувствует себя задетым, когда его всего лишь спрашивают, почему он не согласен с этим, и становится более резким. Тенденция возникновения конфликта из сказанного «нет» очень велика, и вопрос в том, как нам обычно удается этого избежать. Почему, например, конфликт не возникает, когда я выхожу из магазина без покупки?

Это один из возможных вариантов теории конфликта. Он затрагивает вопрос о том, как мы организуем нашу общественную систему таким образом, что вероятность конфликта не слишком высока. На эту тему есть хорошие исследования архаичных обществ, которые испытывают явное отвращение к конфликтам. Я имею в виду не поздние архаичные общества, а ранние племенные общества или же те, которые базируются на правилах домашнего уклада и предоставляют решение конфликтов главам семейств. В этих обществах всегда существует проблема сварливых женщин, которые начинают конфликты, не нужные мужчинам. Однако полностью их игнорировать мужчины по разным причинам тоже не могут¹⁶⁵. Это также издревле является темой легенд и сказаний. Я полагаю, что представление о женщинах как о сварливых существах стало антропологической мудрос-

164 Цицерон М.Т. Леллий, или О дружбе [Рус. пер. см. в: Цицерон М.Т. Избранные произведения. М., 1975].

165 См. библиографические ссылки в: Luhmann Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. S. 466 и далее.

тью именно в связи с этой ситуацией и вообще-то объясняется тем, что конфликты должны были улаживать мужчины и им это давалось нелегко. Как всегда, это чисто спекулятивное рассуждение, но оно заслуживает исследования. Есть отдельные исследования, посвященные расширенным семьям на Балканах, где муж и жена спят в одном большом помещении, где спят и другие семьи. Под одеялом они могут шушукаться, но жена потом не имеет права искать помощи на стороне или распространять плохие новости о других, которые спят в том же доме.¹⁶⁶

Контролирование конфликтов — дело социальной структуры. Обычно это понимают так, как будто речь идет о деструктивных воздействиях конфликтов, о возможностях повредить тела, разрушить вещи, поджечь дома или разорить целые области и изничтожить человечество, но здесь в объяснении не хватает одной промежуточной ступени. Без внимания остается вопрос, как это вообще может зайти настолько далеко, как вообще конфликт может набрать такие обороты, что уже не в состоянии остановить сам себя. Для этого необходима системная теория. Во всяком случае, ее можно применить, сказав, что конфликты являются сверхинтегрированными системами и поэтому вынуждены привлекать все новые ресурсы, поэтому они так экспансивны, безудержны и опасны, что бы они ни делали с людьми и другими ресурсами в окружающем мире.

Сюда же относится представление о том, что право можно понимать как институт по доместикации конфликтов. В своей книге «Социальные системы» я говорил об иммунных системах.¹⁶⁷ Это значит, что право как раз придает решимости для вступления в конфликт. Если ты собственник, а кто-то приходит и хочет взять твою вещь, ты можешь сказать «нет», и ему придется с этим согласиться, в крайнем случае, его в этом убедит суд. Это значит, что возможность сказать «нет» обостряется благодаря правовой структуре, и это, как правило, предотвращает превращение ситуации отказа в конфликт. С другой стороны, если конфликт происходит, право может способствовать его мирному разрешению. Целью моей брошюры о легитимации через процедуру было показать, как происходит абсорбция конфликтов,

166 См. Abalikai Asen. Quarrels in a Balkan Village // American Anthropologist 67 (1965). P. 1456-1469.

167 См. Luhmann Niklas. Soziale Systeme [F/M 1984], Глава 9, S. 504 и далее и S. 509 и далее.

как через участие в процедуре человек вынужден участвовать в урегулировании, излагать свою точку зрения, признавать процедуру как таковую, хотя он еще совсем не знает, чем все это кончится. И когда процедура завершается, он уже в системе и уже заранее согласился с тем, что согласится с принятым решением.¹⁶⁸ В этом случае он уже изолировал себя как участника. Это рассматривается также под тем углом зрения, что поглощение конфликтов является сложной задачей общества и, разумеется, необходимо разгрузить политику от конфликтов или уменьшить их опасность с помощью посреднических комиссий или чего бы то ни было еще, в том числе с помощью привычки постоянно ссориться и все равно как-то ладить друг с другом.

Я должен заканчивать и скажу, пожалуй, только еще об одном моменте. Эта проблематика конфликтов связана с комплексом понятий, которые сейчас появляются в дискуссии, а именно с различием *tight coupling* и *loose coupling*, т.е. жесткой, четкой сопряженности и слабой сопряженности. Если социальные процессы сопряжены жестким образом, то конфликты распространяются. Если они слабо сопряжены, конфликты легче изолировать. Если семейственность внедрена в политический порядок и имеет экономическую значимость, то конфликты в семье могут иметь далеко идущие последствия. Это известно из исследований, посвященных семейным предприятиям среднего бизнеса, в которых отец и сын перестают ладить друг с другом. Известно, какие это имеет последствия для рабочих и для той местности, где это предприятие является ведущим работодателем. Это лишь один возможный пример. Тезис, который отвергает положения старой системной теории и согласно которому стабильность основывается именно на прерывании взаимосвязей, на слабой сопряженности, на локализации (не-передаче) последствий, в свою очередь совместим с тезисом о вездесущности потенциальных конфликтов и о зависимости общества от самых разных возможностей держать эти конфликты под контролем.

Я надеюсь, что эти примеры дали вам какое-то представление о том, как с этих позиций можно разрешить разногласия вокруг понятий в социологии и все-таки прийти к теориям или гипотезам, которые можно было бы перевести на эмпирический

168 См. Luhmann Niklas. Legitimation durch Verfahren. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.

уровень. Однако главной целью данного курса лекций не было создание множества эмпирически проверяемых гипотез, чтобы затем поручить рабочим пчелкам от социологии все это верифицировать и повторить верификацию, чтобы удостовериться, обоснованна ли она. Скорее, моей целью было изложить идею о значении архитектуры теории, о значении дизайна и решений, которые могут быть приняты на этом уровне и которые могут быть по-своему разумны или обоснованны. Под «введением» я не понимаю нечто легкое для понимания, популяризированное или предназначенное для начинающих. По крайней мере, я имел в виду не это, когда выбирал название для данного курса лекций. Я попытался ввести понятийный инструментарий, т.е. не называть какие-то вещи, о которых написано в книжках, ничего к этому не добавляя, а по возможности представить понятия в контексте их употребления и в их смысловом содержании. Я подумал, что вы, наверное, сможете следить за тем, что я говорю на этих лекциях (хотя они и были непривычно абстрактными), опираясь на возникающие по ходу пояснения. Я надеюсь, что вам это в какой-то мере удалось. В любом случае, для меня, в том числе и в отношении теории общества, перед которой мы остановились и на которую нам не хватило времени, важно, чтобы существовала определенная методика или, я бы даже сказал, определенная шепетильность в обращении с понятийными и теоретическими вопросами и чтобы методология занималась не просто мелочным перебором эмпирических данных, но могла бы сделать прозрачными [методологические] решения и их последствия для теоретических диспозиций.

Со стороны теории производят такое впечатление — и как раз в отношении системной теории я снова и снова слышу подобные отклики, — что нужно или войти внутрь, или остаться снаружи, и в этом случае-де благоразумнее остаться, потому что как только ты окажешься внутри, ты уже не найдешь выхода или рычага, которым все строение можно было бы разрушить изнутри. И вот утверждается, что системная теория напоминает крепость, возведенную для самообороны и более или менее успешно выполняющую эту функцию. В этом утверждении, безусловно, верно то, что у тщательно сконструированных теорий нет высшей нормы, отрицания которой было бы достаточно, чтобы покончить с теорией в целом. Тщательно сконструированные теории — это

сложные построения, в некотором роде произведения искусства. Сложно пускаться в такие теоретические разработки и в то же время знать, как все это можно релятивировать или как от этого можно снова уйти. Такого рода опыт многие пережили в связи с Гегелем. Они настолько овладели его способами аргументации и формами развития теории, что знают их наизусть, могут говорить, как Гегель, но они уже не знают никакого другого языка, кроме этого языка диалектики. Мерой противодействия этому мне представляется максимально возможная прозрачность решений, т.е. нужно снова и снова в каждый момент показывать, какие есть варианты, что сопряжено с выбором того, а не иного понятия, где можно выйти и где есть свобода выбрать что-то другое. Это позволяет увидеть, что необходимо изменить, если пересматривается какое-то определенное решение.

Одной из целей сегодняшней лекции было объяснить это на социологическом материале, т.е. показать, что если мы характеризуем конфликты как высокоинтегрированные системы, то необходима более четкая трактовка понятия интеграции, чем это принято в социологической литературе. Это приводит к тому, что другие люди тоже вынуждены работать над своим понятием интеграции, если они хотят оставаться конкурентоспособными. То есть по сути здесь имеется в виду не эффект исключения, а сознание, учитывающее факт конструирования, факт принятия решений, а также сравнение теорий — с одной стороны, с другими теоретическими традициями в социологии или в области социальных наук, но также и даже в большей степени сравнение теории с староевропейским образом мышления, с образом мышления в русле онтологически-метафизической традиции с ее специфическим гуманизмом. В данной традиции гуманизм — это просто онтология в применении к человеку, если позволительна такая краткая формулировка. Если мы в этом контексте говорим о человеке, то мы представляем себе самоорганизующегося индивида во всем его своеобразии, эмпирической несравнимости и непрозрачности, а не то, что можно было бы как-то встроить в качестве абстракции «человека» в нормативную структуру общества. Смысл этой работы над понятиями заключается также в том, чтобы поставить вопрос: а обоснован ли этот разрыв с европейской традицией, необходим ли он и можно ли за него ответить, когда уже известно, к чему приводит такой способ аргументации? И это я хотел донести до вас в своем курсе лекций. Благодарю вас за терпение.

Предметный указатель

А

абстракция 9, 42, 82, 110, 158, 225, 296, 355
 актуальность и потенциальность 105, 150, 241, 244 и далее
 архитектура теории 8, 26, 354
 асимметрия 149, 150, 211, 332 и сл.
 аутопойесис 8 и сл., 66, 79 и сл., 103 и далее, 113 и далее, 130, 135 и далее, 148, 152, 166, 201, 211, 231, 267, 269 и далее, 277 и далее, 283, 285, 288, 292, 304, 307 и сл., 310, 313, 316.

Б

бессмысленность 255
 бог 75, 142, 157 и сл., 212 и далее, 219, 231, 326, 329

В

взаимопонимание 39, 196 и сл., 204, 313, 321 и сл., 332
 взаимопроникновение 40, 241, 271, 274 и далее
 внешняя референция 31, 84 и сл., 87 и далее, 91, 93, 140
 восприятие 31 и сл., 41, 72, 89, 102, 104, 106, 114, 127, 131, 138, 145, 163, 164, 210 и сл., 234 и сл., 237, 243, 251 и сл., 281 и сл., 287 и далее, 297, 317, 337
 временное измерение 208, 213, 225, 227, 247 и далее
 время 12, 14, 24 и сл., 32, 36, 43, 54, 66, 73, 83, 85, 87, 93, 99 и сл., 104 и сл., 112, 118, 122, 128, 132 и сл., 143, 147, 155, 159, 167, 177, 180, 182, 187, 192, 195, 199, 203 и далее, 231, 236, 238, 244, 248 и далее, 258, 267, 274, 276, 287 и сл., 302, 310, 316, 319, 322 и далее, 331 и далее, 340, 342, 355.

Г

генерализация 49, 111, 165, 168, 175 и сл., 179, 186, 345 и сл., 350
 герменевтика 38, 244 и далее, 307
 гуманизм 355

Д

двойная контингенция 12, 162, 250, 327 и далее
 действие 12, 19 и далее, 61, 79, 81, 106, 114, 118, 125, 190, 203, 246, 259 и далее, 271, 284 и далее, 290 и далее, 298, 304, 312 и далее, 322, 332

Е

единство 21, 32, 70, 75 и сл., 79 и сл., 94, 133, 150 и далее, 158, 163, 187, 194, 211, 213 и сл., 229, 237, 241, 256, 267 и сл., 271, 273, 284 и сл., 295, 302 и далее, 309 и сл., 314, 324, 327 и сл.
 естественные науки 130, 139, 184, 244, 320

Ж

животные 85, 118, 153, 191, 216, 243, 247, 256, 260, 288 и сл.

З

закрытость оперативная 60, 84, 89, 93 и далее, 102 и далее, 113, 115 и сл., 121 и сл., 126, 130, 148, 184, 186, 201, 209, 277, 307

И

изменение 12, 14 и далее, 47, 52, 56, 58 и сл., 68, 110, 113, 117, 122, 130, 169, 173, 177, 179, 199, 203, 205, 218, 224 и сл., 281, 285, 295, 335, 339 и далее
 индивид и общество 93, 102, 127, 141 и сл., 160, 180, 193 и сл., 204, 232, 256 и далее, 263 и сл., 267, 270, 272, 274, 285, 302, 348, 356

индивидуальность 110, 141 и сл., 193, 256

интеграция 23 и сл., 28 и сл., 32 и далее, 36 и сл., 40, 254, 296, 390 и сл.

интеллектуалы 17, 38, 168

интеллигенция 93

интеракция 81, 184, 237, 244, 317 и сл.

интерсубъективность 159 и далее, 232

информация 39, 46 и сл., 51, 53, 71 и сл., 84, 89, 97, 100, 106, 119, 123, 125 и сл., 130 и далее, 153, 180, 185, 199, 224, 240 и сл., 245 и сл., 270, 272, 300 и сл., 303 и далее, 317, 319

К

каузальность 54, 68, 96 и далее, 103, 115 и сл., 120 и далее, 144, 209, 217, 244

кибернетика 9, 41, 43, 50, 53 и далее, 65, 175 и сл., 185, 295 и сл., 300

коммуникация 35, 40, 47, 61, 64, 70, 80 и далее, 89, 91 и сл., 95 и сл., 100, 107, 109, 111 и сл., 114 и далее, 118, 126 и далее, 131, 134, 137 и далее, 143, 152 и далее, 167, 171 и далее, 180, 183 и сл., 203, 210 и сл., 220, 233, 237, 239, 243, 246, 251, 259, 265 и далее, 270 и далее, 275 и далее, 280 и далее, 296 и далее, 307 и далее, 322 и далее, 332, 341, 348, 351

комплексность 27 и далее, 47, 50, 59, 108, 125 и далее, 137, 139 и сл., 153, 162 и сл., 171, 174 и далее, 181 и далее, 190, 197 и сл., 200 и сл., 244 и далее, 260, 275, 313, 316

компьютер 65, 110, 113, 120, 148, 246, 271, 326, 339, 342 и сл.

контингенция 12, 162, 250, 327 и далее

конфликт 16, 52, 71, 138, 315, 317, 327, 330, 332, 347 и далее

кризис 11, 21, 176, 332

культура 29 и сл., 32 и далее, 36 и далее, 47, 57, 118, 121, 137 и сл., 140 и далее, 165, 211 и сл., 215 и далее, 223, 231, 255, 263, 274 и сл., 319 и сл., 322, 325, 329 и далее, 340, 340

М

машины тривиальные / нетривиальные 100 и другие, 108

медиум и форма 78, 148, 162, 168, 233 и далее, 240 и далее, 246 и сл., 254, 265, 320

модель Input / Output 41, 47 и далее, 51, 53, 101, 107, 175, 261, 337

мозг 30, 88 и сл., 125 и сл., 128, 153 и сл., 171, 184, 260, 270 и сл., 275, 281, 283, 286

мораль 151, 193, 263, 331, 350

мотивы 164, 167, 199, 252 и сл., 262 и сл., 268, 278, 319 и сл., 332, 337, 349

мышление 8, 31, 43, 72, 155, 158, 175, 190, 281 и сл., 285, 290, 355

Н

наблюдатель 8 и сл., 14 и сл., 52, 58, 60 и далее, 83, 85, 90 и сл., 93, 96 и далее, 105, 110, 121, 126, 133 и далее, 139 и сл., 143 и далее, 158, 161 и далее, 169 и далее, 173, 187, 203 и далее, 210 и сл., 229, 231 и далее, 250, 260, 267 и сл., 274, 279, 295, 301, 309 и сл., 326, 346 и сл.

Наблюдение 31, 58, 60, 63 и сл., 66, 75 и сл., 83, 90 и сл., 96, 105, 107, 121, 126, 143 и далее, 156 и далее, 161 и далее, 165 и далее, 172 и сл., 188 и сл., 204 и сл., 211 и сл., 219, 250, 299, 307, 310 и далее.

наблюдение второго порядка 145, 161 и далее, 165 и далее, 268, 295

нарушение 43 и сл., 51, 128 и далее, 167 и сл., 177 и сл., 199, 222, 252, 279, 343

настоящее время 24, 32, 104 и сл., 150, 205, 207 и далее, 218 и далее, 228, 249, 338, 341

наука 8 и сл., 11, 36, 41 и сл., 55, 61 и далее, 130, 134, 143, 145 и сл., 148, 154, 168, 175, 195, 225, 229, 232, 244, 268 и сл., 271, 285, 299, 324, 336, 343, 355

негэнтропия 45

О

обратная связь 53, 56 и сл., 312
 общество 8, 11, 13 и далее, 20 и далее, 28, 30, 36, 38, 42, 57, 59, 63, 68, 81, 86, 91 и далее, 97, 102, 118, 121, 127 и сл., 137 и далее, 145, 156 и далее, 166 и далее, 171, 173, 184, 192, 194 и сл., 199 и сл., 204, 206, 214, 218, 221, 227, 237, 242, 251, 255 и далее, 263 и далее, 272, 274, 296, 325, 328, 331, 333 и далее, 340, 342, 348 и далее, 353 и далее, 356
 одновременность 105, 208 и далее, 214, 283, 302, 317
 ожидание 47, 92, 105 и далее, 130, 133, 140, 171, 203, 260, 305, 329 и далее, 333, 336 и далее, 349
 онтология 69, 117 и сл., 143 и сл., 163, 206, 210, 220 и сл., 230, 233, 239, 241, 336, 355 и сл.
 оперативная закрытость 60, 84, 89, 93 и далее, 98 и далее, 102 и далее, 113 и сл., 116 и далее, 121 и сл., 126, 130, 148, 184, 186, 201, 209, 277, 307
 операция 8, 20, 37, 53, 60 и сл., 64, 72, 76, 79 и далее, 93 и далее, 100, 104 и далее, 111 и далее, 118 и далее, 125, 130, 135, 143, 145, 147 и далее, 152, 157, 175, 178, 186 и сл., 189, 201, 204 и далее, 220, 241, 243, 254, 265, 267, 271 и сл., 274, 276, 278 и далее, 297 и далее, 301 и сл., 306 и сл., 309, 311 и сл., 314, 316, 331 и далее, 341 и далее
 опция Да/Нет 182, 315 и сл.
 отчуждение 257

П

память 63 и сл., 87, 96, 105 и сл., 128, 142, 254, 342 и далее
 парадокс 76, 90 и сл., 94, 111, 150 и сл., 173, 185, 192, 200 и сл., 229, 271, 276, 283, 285
 парадоксальность 82, 112, 173, 349
 перекрестная таблица 22 и сл., 25
 письменность 33, 171, 191, 213, 236, 318 и далее, 326, 342 и сл.
 планирование 17, 134, 172 и далее, 178, 187 и далее, 198, 221 и далее, 244
 плановая экономика 134, 221, 306
 повторное вхождение 82, 87, 90 и сл., 99, 173 и далее, 200, 215, 294 и далее
 поглощение неопределенности 314 и далее, 326
 понимание 21, 38, 52, 68, 73, 76, 85, 87, 102, 104, 106, 120, 138 и сл., 178, 182, 196, 198, 206 и сл., 210, 231, 247, 255, 263, 270, 272, 279, 283, 287 и далее, 299, 301 и далее, 316 и сл., 320 и далее, 337, 345, 354
 популяция 257
 порядок социальный 13, 16, 19 и далее, 37, 48, 71, 179, 192 и сл., 253, 279, 327 и далее, 332 и далее
 право 50 и далее, 121, 176, 194, 199 и сл., 217, 257, 328, 352 и сл.
 предметное измерение 247 и далее
 принуждение к отбору 245 и сл., 265
 производство 15, 35, 44, 99, 110 и сл., 113 и далее, 121, 135, 166, 223 и сл., 226, 306, 338

Р

равновесие 30, 43 и далее, 51, 68, 129 и далее, 135, 142, 160, 320, 343
 раздражение 125 и сл., 129 и сл., 198, 306
 различие (дифференция) 15, 21, 33, 54 и далее, 59 и сл., 63, 65, 68 и далее, 72, 74, 76 и далее, 84 и сл., 88 и сл., 94 и сл., 98 и далее, 117 и сл., 133, 144, 147, 150, 158, 175, 197, 212 и далее, 216 и далее, 230, 234, 237, 241, 246, 249 и сл., 261, 265 и сл., 284 и сл., 289 и сл., 293, 295 и сл., 310, 331
 рациональность 39 и сл., 174 и сл., 178, 190 и далее, 261, 291, 306
 резонанс
 рекурсивность 60, 231, 265, 342, 344

риск 99, 160, 172, 178, 196 и сл., 221, 313, 321 и сл.
 риторика 314, 319, 322
 роль 32, 107, 259 и сл.

С

самоорганизация 9, 103 и сл., 109 и сл., 201
 самореференция 15, 41, 60, 74 и сл., 84 и сл., 87, 89 и сл., 93, 101, 114, 140, 155 и сл., 258, 265, 333
 свобода 21, 62, 154, 159, 178, 185, 193, 213, 227, 262, 283 и сл., 331, 350, 355
 синхронизация 209, 221, 228
 система
 - открытая 46, 59 и сл., 68
 - техническая 58, 98
 системная рациональность 197 и далее
 слепое пятно 150 и далее, 164, 166, 295
 смысл 12, 46, 48, 56, 68, 76, 89 и сл., 95, 98, 100, 107, 112 и далее, 126, 128, 130, 132 и сл., 136, 138, 141, 147 и сл., 155, 160, 180, 182, 203, 208, 211, 220 и сл., 228 и далее, 237 и далее, 250, 253 и далее, 261, 263, 265, 267 и сл., 275, 279 и далее, 283 и далее, 287 и сл., 291 и далее, 299, 305, 308, 312 и сл., 315, 317, 321, 323 и далее, 330, 340, 344, 347, 349, 354, 356
 сознание 9, 31, 46, 86 и далее, 96 и сл., 104, 114, 119, 126 и далее, 131, 134, 139 и далее, 145, 152, 155 и сл., 161, 164, 167, 211, 213 и сл., 216 и сл., 219 и сл., 228, 232 и сл., 239, 243, 245, 252, 254, 258, 265, 267, 271, 273 и сл., 278 и далее, 285 и далее, 296 и далее, 355
 социализация 40, 135, 140 и далее, 145, 274, 308
 социальное измерение 249, 252
 социальность 70, 249 и далее, 271, 298
 социология 7, 11 и далее, 15 и сл., 19 и далее, 31, 46, 59, 70, 86, 91 и далее, 101, 107, 117, 119, 123, 126, 154, 157, 160, 169, 171, 194, 211, 214, 221 и сл., 225, 237, 256, 258 и сл., 264, 268 и сл., 284, 296, 298, 329 и сл., 334, 340, 350, 354 и сл.
 стабильность 43 и далее, 54, 56, 58, 129 и сл., 215, 236, 288, 319, 331, 339 и сл., 353
 структура 12 и далее, 22, 24 и сл., 27, 47, 57, 68, 79, 83 и сл., 87 и далее, 93, 96 и далее, 102, 104 и далее, 111 и далее, 116, 120, 123 и далее, 136, 138, 141, 143, 176, 179, 182, 186 и сл., 218, 249 и далее, 274, 282 и сл., 289, 293 и сл., 297, 309, 325 и сл., 329, 335 и далее, 346 и сл., 348, 352 и сл.
 структурная сопряженность 78, 87 и далее, 103, 105, 110, 119, 121 и далее, 135, 137, 139, 142, 182, 234 и далее, 237, 274, 278 и далее, 289 и сл., 292, 296, 307, 353 и сл.
 структурный функционализм 12 и сл., 15 и далее, 22, 17 и далее
 субъект 19, 30 и сл., 61, 63 и далее, 87, 107, 147, 154 и далее, 158 и далее, 165, 170, 187, 232 и далее, 239 и сл., 157 и далее, 264 и сл., 284 и сл., 291, 293 и сл., 302.

Т

техника 224, 232, 244 сл.
 терапия 165 сл.